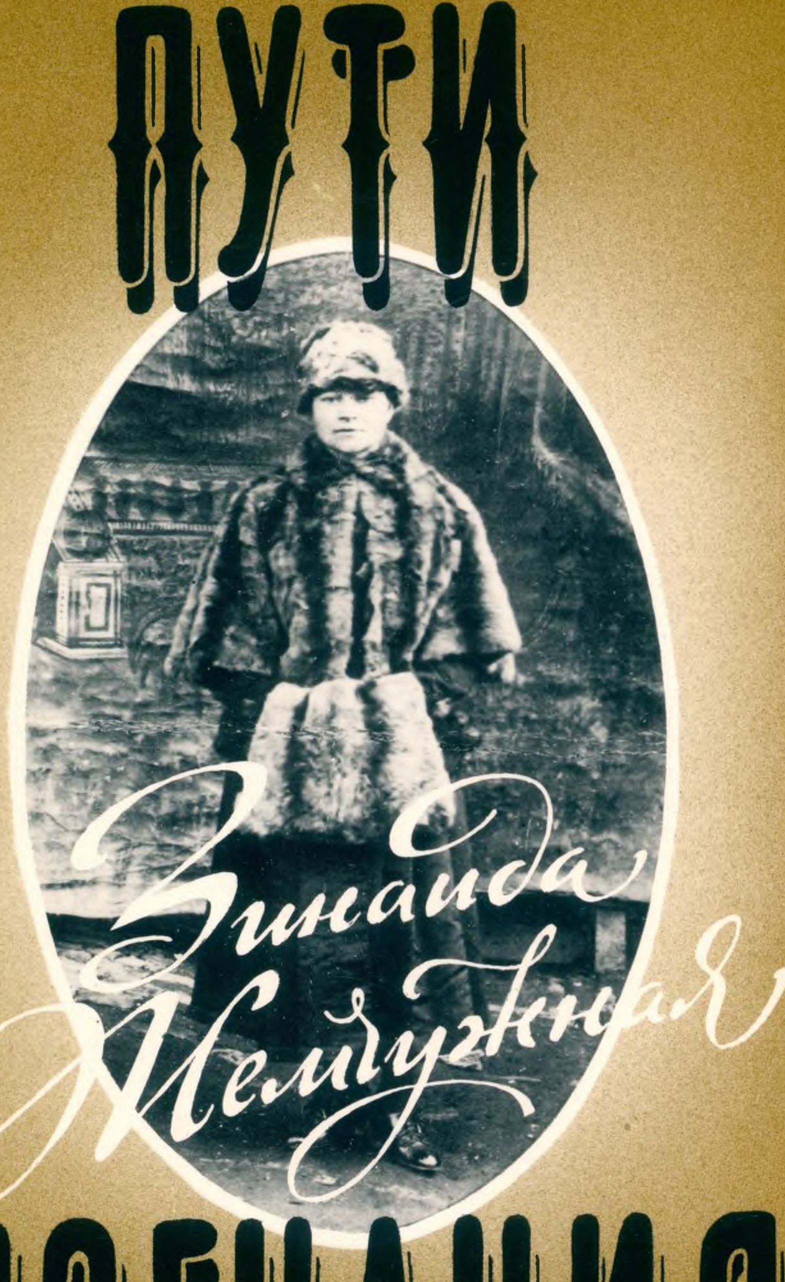
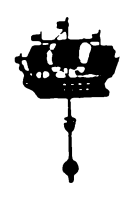
ПУТИ



Зинаида Жемчужная

ИЗГНАНИЯ





УРАЛ, КУБАНЬ, МОСКВА, ХАРБИН, ТЯНЬЦЗИН

ВОСПОМИНАНИЯ

Эрмитаж

1987

Зинаида ЖЕМЧУЖНАЯ

ПУТИ ИЗГНАНИЯ
(Воспоминания)

Zinaida Zhemchuzhnaia

PUTI IZGNANIIA
(*By the Path of Exile,* Memoirs)

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Zhemchuzhnai͡a, Zinaida, 1887-1961.
Puti izgnanii͡a.

Title on t.p. verso: By the path of exile.
1. Zhemchuzhnai͡a, Zinaida, 1887-1961. 2. Russian S.F.S.R.--Biography. I. Title. II. Title: By the path of exile.
CT1218.Z47A3 1987 947.08'092'4 [B] 87-8905
ISBN 0-938920-88-X (pbk.)

Обложка работы художника Владимира РЫКЛИНА

Cover design by Vladimir RYKLIN

Published by HERMITAGE
P. O. Box 410
Tenafly, N. J. 07670
USA

Предисловие

Елена Якобсон

Моя мать Зинаида Николаевна Жемчужная, урожденная Волкова, вышла из среды русского поместного дворянства, которое в конце прошлого и в начале нашего века создало новый класс профессионально подготовленных людей, готовых отдать силы и знания своему государству и своему народу. Это были уже не дилетантски образованные люди, проводившие большую часть жизни в путешествиях по Европе и посещении балов в столице, или жившие привольной жизнью у себя в имениях. Это были инженеры, земские врачи, адвокаты, научные работники, учителя, профессора.

Из воронежской семьи Волковых и их ближайшей родни, семьи Мануйловых, не вышли ни знаменитые полководцы, ни знатные сановники. Мой дед, воспитанный в народнических традициях 60-х годов, был типичным представителем русской интеллигенции того времени. Помимо веры в свой долг служить народу, он разделял и общую веру в науку, в то, что на основе научного рационализма будет создан справедливый мир равенства и братства. И не только поколение моего деда, но и современники моей матери верили в то, что человечество непреклонно движется по пути прогресса и что, благодаря их труду, и русское общество тоже ожидает светлое будущее.

Однако, несмотря на новые веяния, помещичий быт оставался незыблемо прочным, "дворянские гнезда" продолжали жить по заветам своих предков: соблюдались все церковные праздники, по заведенному ритуалу, по семейным рецептам готовились соленья, маринады, настойки и наливки. Принимали в этом участие все: и баре, и дворовый и деревенский люд. Патриархальный уклад этой жизни создавал веру в прочность Российской Империи, недостатки которой, конечно, могли бы быть устранены в дальнейшем прогрессивным развитием русского общества.

Октябрьский переворот и последовавшие за ним исторические катаклизмы, увы, показали, как призрачна была устойчивость этого помещичьего мира. Спаленное воронежское

имение, разоренное семейное гнездо — это и был первый этап "Путей изгнания" моей семьи.

Трагедия Белого движения, жестокость победителей, видевших в дворянской интеллигенции "классового врага" и тем приговоривших их или к уничтожению, или к изгнанию... Моя мать разделила горькую долю этих лет жизни своего народа, прошла все испытания революции и гражданской войны, но, уезжая из голодной, разоренной Москвы, она никак не хотела верить, что это — навсегда, что это не просто временный отъезд, а изгнание. Моя мать была глубоко русским человеком. Как и многим ее соотечественникам, ей казалось, что в России все опять как-то устроится, образуется и можно будет опять вернуться в родное гнездо.

Однако, оказавшись в эмиграции, мать, в отличие от многих своих знакомых, не сидела на чемоданах, ожидая этого счастливого часа возвращения, а весьма деятельно начала осваиваться в новой среде. Так, приехав в Китай, она стала членом этнографического общества Маньчжурии, работала в музее и ездила в экспедиции, стараясь познать быт и нравы страны своего изгнания. А затем, очутившись в Австралии, она написала большое серьезное исследование об австралийских аборигенах. При этом все русское ее прошлое оставалось в силе: так же справлялись церковные праздники, также по воронежским рецептам варилось варенье, сушились грибы. И все это, конечно, передавалось нам, детям. Надо сказать, что я сама всегда варю варенье из каких-то экзотических ягод и фруктов, собранных в заброшенных садах, и, к ужасу своих американских друзей, мариную грибы, растущие у меня на даче под Вашингтоном.

Следуя духу времени, мать избрала своей специальностью естественные науки, но по природе своей она была и музыкально, и вообще творчески одаренной натурой. В самых, казалось бы, неподходящих условиях эмигрантской жизни она написала три книги: большой роман "От 18-ти до 40-а", трогательную повесть "Повесть об одной матери" и интересное социологическое исследование о разрыве между различными поколениями эмиграции — "Мы и наши дети". Я помню ее в трудные минуты сидящей за роялем, вкладывающей в прелюды Скрябина или Шопена все наболевшее в ее душе...

Попадая в новую страну, мои родители всегда находили для себя подходящее общество своих соотечественников — писателей, музыкантов, поэтов. Мой отец тоже был незауряд-

ным поэтом (изданы три сборника его стихов и сборник рассказов). У нас дома часто устраивались литературные вечера, а моя мать всегда была председательницей какого-нибудь литературного Общества — Пушкинского или Чеховского, — которое ревниво следило за тем, чтобы не был пропущен ни один юбилей, ни одно событие русской культуры. Это делалось не только для удовольствия, но и по глубокому убеждению моей матери, что русскую культуру во что бы то ни стало надо сохранить, передать наследие прошлого грядущим поколениям, оградить их от советской псевдокультуры.

Моя мать заканчивает свою книгу приездом в Австралию. Австралия оказалась счастливым выбором, тихой пристанью, где закончились пути изгнания, о которых написал когда-то в своих стихах мой отец, Александр Жемчужный:*

Предчувствую: опять
скрипящие подводы,
Перебирать узлы и ящики,
опять идти...
Куда? К какому берегу?
народу?
Кубань, Москва, Маньчжурия —
лишь вехи
Тернистого пути
в незнаемый Китай.
И вот опять сбирать
дорожные доспехи,
И снова в приневольный
дальний край...
Не все ль равно — куда?
Невозвратимый
Родного Севера потерянный
уют
И люди, сердцу близкие,
незаменимы
Страной, где нас не знают
и не ждут.

Александр Жемчужный

* В своих воспоминаниях моя мать изменила имена мужа, назвав его Борисом, и младшей дочери Нины, назвав ее Таней.

Глава 1. Урал. Детство

В семье нас было четверо: две девочки и два мальчика. Я была средняя. Сестра Ася была на два с половиной года старше меня. В тени этого старшинства прошли мои детские и юношеские годы, и оно дало первый толчок к развитию комплекса неполноценности, которым я страдала всю жизнь. Ей было ''можно'' все, что было ''нельзя'' мне. Я изо всех сил тянулась за ней, чтобы не отстать, но на каждом шагу меня отталкивали как ''маленькую''. Особенно я страдала от Асиной подруги Маргариты. Когда мы были дома одни, Ася допускала меня к играм и разговорам, но стоило появиться Маргарите, как я переставала существовать. Обнявшись, подруги о чем-то бесконечно шушукались, и если Маргарита замечала меня поблизости, то, сморщив нос, отсылала прочь: опять ты, Зина, подслушиваешь... Иногда мне позволяли сидеть на качелях, но и тут Маргарита озорничала, раскачиваясь так высоко, что ослабевали веревки, за которые я держалась, и я сползала с одного конца доски до другого. Единственная игра, к которой я допускалась, была игра в театр. Занавесив от меня стул платком, девочки устраивали сцену. Затем занавес поднимался, и начиналось кукольное действо необычайной сложности и фантастичности. Сюжеты главным образом были мрачного характера: разбойники, бегства, похищения, убийства, ''актеры'' подвергались пыткам и истязаниям. Я смотрела и слушала, как зачарованная, и готова была просидеть перед стулом-театром целый день. Когда фантазия подруг истощалась и они убегали, я продолжала игру одна, развертывая действие перед воображаемыми зрителями.

Мне не было еще семи лет, когда сестру отправили в гимназию в ближайший к Алапаевску город Екатеринбург.

Алапаевский завод, где мой отец был старшим врачом, принадлежал французской компании. Быстрая, чистая река Нейва снабжала завод энергией, и его стальное сердце не переставало биться ни днем, ни ночью, и раскаленная домна извергала никогда не остывающее пламя.

Жители Алапаевска делились на два класса: низший — рабочие и высший — служащие и коммерсанты. Рабочие рабо-

тали по будням и напивались по праздникам. Редкое воскресенье обходилось без поножовщины и драки. Я помню, как пьяные фигуры появлялись у нас во дворе и требовали "дохтура", бухались перед отцом на колени и, ударяя лбом о землю, приговаривали: "Прости Христа ради, Миколай Миколаич, выпили". И таким образом успокоив свою совесть, расходились по домам.

Отца моего очень любили и почитали на заводе, и внизу, и наверху. Он был доктором по любви и по призванию, материальная сторона его интересовала мало, и в помощи своей он никогда и никому не отказывал.

Нейва делила Алапаевск на две части, соединенные мостом, старую и новую. В старой, главной, части была церковь, школа, магазины, площадь, где раз в год устраивалась ярмарка, клубы, где сосредотачивалась общественная жизнь "высшего" общества, дома купечества. В новом городе жили большей частью служащие и в поселках ближе к заводу — рабочие.

Наш дом стоял на площади, посреди которой возвышалась новая церковь, направо была больница, а позади — широкая, быстрая Нейва, до ее входа на завод.

Дом делился на две половины — парадную и жилую. В парадной была столовая с длинным столом, за которым иногда помещалось человек пятьдесят гостей, резным застекленным буфетом и стенным шкафом, который назывался "кабачок", так как там хранились вина, варенья, сладости. И непреодолимо было искушение, когда ключ оставался в замке, стащить "без спроса" горсточку изюма или пару шоколадок. Из столовой вела дверь в гостиную-залу, которая нам, детям, казалась огромной, но, вероятно, была на самом деле просто большая комната. Там помещались два комплекта мягкой мебели в разных концах, большой рояль, фикусы и китайские розы в кадках, и оставалось еще достаточно места побегать.

Помню одно пасхальное утро. Все взрослые еще спали после заутрени и разговенья. Меня к заутрене не брали, и я, встав и одевшись в приготовленное с вечера белое с голубыми лентами платье, носилась вприпрыжку по зале, от дверей кабинета до стола в столовой, сплошь заставленного куличами и холодными закусками: румяный поросенок с пучком зелени в пасти, окорок, индейки и гуси с гофрированной цветной бумагой вокруг ножек и, что было лучше всего, горки разноцветных яиц — золотых, серебряных, пестрых, красных... После мы будем играть, пуская их со специального

катка и сбивая друг у друга... В открытые в сад окна лился солнечный свет, запах цветущей черемухи и неумолкающий пасхальный перезвон колоколов. Такое чувство легкости, радости, счастья переполняло мое сердце, что я, как мотылек, должна была выразить его в движении. И я носилась по зале взад и вперед, взад и вперед...

Но с этой же залой связаны и другие воспоминания. Случалось, что, когда у нас были гости, отец посылал меня из столовой в кабинет за спичками. Я страшно боялась темноты, но не решалась об этом сказать и бежала по длинной комнате, холодея от страха: рояль был черное чудовище, из-за дивана и кресел протягивались чьи-то лапы. Я хватала со стола спички и неслась обратно.

Под роялем я любила сидеть, когда мама играла. Музыка приобретала особое очарование.

В кабинете отца стены, от пола до потолка, были заставлены книжными шкафами, у окна стоял письменный стол с отлитыми на нашем заводе чугунными фигурами Мефистофеля, всадника на коне и подсвечниками. В столе у отца был предмет, который притягивал меня своей запрещенностью так же, как и "кабачок" в столовой. Это была машинка для хранения золотых монет: четыре кружка по размеру золотых — пяти, семи с половиной, десяти, пятнадцати рублей. Нажималась пружинка, и золотой вставлялся в соответствующий кружок. Я потихоньку открывала стол и вытаскивала из машинки золотые. Совершенно не помню, что я с ними потом делала, вероятно, клала их обратно. Но противостоять искушению я была не в силах, хотя и знала, что делаю нехорошо. Вероятно, так же сорока таскает блестящие предметы. Позднее, когда я научилась читать, я потихоньку таскала из шкафов книги, которые, я знала, мне нельзя было читать.

Жилая половина начиналась входом со двора в "чистую" кухню. Там не готовили, только перед Пасхой в русской печке пекли куличи. Вечерами мы, дети, любили там пить холодное, прямо из погреба, молоко с черным хлебом. В кухне спали няня Аннушка и горничная Зоя. Рядом была большая комната, разделенная перегородкой. Одна половина была наша детская, другая — будничная столовая, с длинным столом и скамейками. Дальше шла спальня родителей с туалетом и большим трюмо. Мы любили смотреть на мамино отражение, когда она одевалась, собираясь в гости. Мама одевалась медленно, меняя платья, выбирая драгоценности и духи, в то время как папа терпеливо ждал в гостиной. Только когда уже становилось действительно поздно, раздавался его проситель-

ный голос: ”Сонечка, ты скоро? Мы опоздаем”. Мое любимое платье было изумрудно-зеленое бархатное с рукавами-буфами, длинным шлейфом и тонкой талией.

При спальне была темная комнатка, называемая больничкой. Если кто-то из нас заболевал, его переселяли туда. Там же стояла ванна, где раз в неделю нас по очереди купали, и после купания позволяли полежать на маминой постели. И какое это было блаженство лежать рядом с душистой, шелковой мамой на ее мягкой пружинной постели. Рядом со спальней была небольшая комната-библиотечка, где стояли шкафы с детскими книгами и журналами. ”Родник” и ”Задушевное слово” выписывались со дня их выхода. И последняя комната была спальня, куда нас переселяли из детской по мере того, как мы выростали. Потом приехала бабушка, мамина мама, и я спала вместе с ней.

Крытая стеклянная галерея вела на большую террасу, выходящую в сад. Сад был наш целый детский мир. Летним утром, проснувшись рано, в рубашонке и босиком, я выбегала на террасу. Луч солнца, пробиваясь сквозь густые лиственницы, золотил песок длинной аллеи, бабочки порхали над клумбами цветов и хлопотливо чирикали воробьи. Я любовалась цветами, нюхала резеду и левкои, а затем, оглянувшись по сторонам, совершала ”преступление”: просунув меж пальцами стебли георгинов и цинний, я обрывала их головки. Много раз я бывала за это наказана, но не могла остановиться. Яркие цветы притягивали меня так же, как и золотые монеты в папином столе. Желание обладать ими было неудержимо, а контролировать свои желания я еще не научилась.

За цветником шла длинная аллея лиственниц. Их мягкие светло-зеленые хвои имели горьковатый, но приятный вкус. Я любила их жевать и приготовлять из них кушанья для своих кукол. Аллея прерывалась четырьмя гигантами-кедрами. В тени их стояли стол и скамейки. Эти кедры были нашими ”домами”. У каждого из братьев и у меня был свой дом в ветвях деревьев. Мы сделали там столы и сиденья, ходили друг к другу в гости. Лазали мы, как белки. Я приносила туда своих кукол, а позднее свои книги. Когда поспевали орехи, смолистые шишки сбивали и клали в теплую печку, чтобы они раскрылись. Кедровые орешки и черемуха были единственные ”фрукты” нашего сада. С черемухой делали пироги и вареники, орешки варили в сахарном сиропе. В сезон черемухи мы ходили с черными пальцами и ртами.

За кедрами шла липовая аллея, которая, дойдя до забора, повертывала под прямым углом. Эта перпендикулярная

аллея была заброшенной. Она не посыпалась песком, хотя и очищалась от травы. Это были таинственные места, куда мы не решались ходить в одиночку, но как весело было с компанией ребятишек играть в прятки в траве выше нашего роста.

Рядом с лугом был огород, где выращивались все нужные нам овощи. Мы лакомились выдернутой из земли морковкой и репой. Огород подходил к забору, отделявшему наш дом от соседнего, где жил управляющий заводом господин Эллеро, у которого было два мальчика, Андрэ и Жорж, приблизительно такого же возраста, как и мои братья. Садовник хранил у забора горку хорошей земли, и она служила неофициальным сообщением между детьми обоих домов. Официально же мы входили через парадный ход, и мадам Эллеро угощала нас горячим шоколадом с булочками.

Посреди сада было озеро, предмет маминого постоянного огорчения. Озеро было глубокое, с обрывистыми берегами, на которых цвели красноватые метелочки Иван-чая. Хотя озеро было обнесено оградой и калитка была на запоре, это нас нисколько от него не отдаляло. Любимым развлечением было бегать друг за другом по доскам, перекинутым через ограду. Мы делали себе плоты и плавали, отталкиваясь длинной палкой. Два раза мой средний брат Алеша тонул и вытаскивался дворником. Зимой на озере устраивался каток и высокая горка, откуда мы катались на салазках.

За озером, ближе к дому, раскинулась березовая роща с холмиками, которые, говорила Зоя, были татарскими могилами. Ходить туда в одиночку тоже было страшновато, хотя наверху, на пригорке, была расчищена площадка для качелей и гигантских шагов. Качались мы отчаянно высоко. Просили кого-нибудь из старших "занести" и летели вокруг столба, заставляя партнеров делать отчаянные усилия, чтобы не отстать. Конечно, и тут не обходилось без катастроф.

Внизу, за рощицей, начинались парники, где выращивались между прочим зимние помидоры и огурцы.

Ворота из сада вели в большой двор, где помещалась кухня, людская, конюшни и коровник. Были пара серых рысаков для выезда в фаэтоне, вороной, который запрягался, когда папа ездил по больным, и смирная Рыжка, на которой нам позволяли ездить верхом. Кучер, здоровый, рыжий молодец, был предметом моего тайного обожания и восторга. Нам в людскую ходить не разрешали, но я всегда улучала минутку, чтобы сбегать на конюшню, где он чистил лошадей, или посмотреть, как он вываживал их на дворе. А когда он в бархатной шапке и кучерском кафтане подкатывал на паре

серых, мое сердце замирало от восхищения. Во дворе мы играли в серсо и в палочку-застукалочку, прячась за длинными поленницами березовых дров.

Мама не любила и не умела хозяйничать, и многочисленная прислуга поступала так, как находила нужным. Но когда мне было около пяти лет, появилась бабушка, и безвластию пришел конец.

Приезд бабушки — одно из моих первых ясных воспоминаний, особенно жестяные коробочки с пастилой и засахаренными райскими яблочками, невиданными раньше. Бабушке в то время было вероятно около 50-ти лет, но нам она казалась глубокой старухой. Она носила сборчатые длинные юбки, в карманах которых всегда находилось что-нибудь интересное, кофточки навыпуск и кружевную наколку в волосах. Бабушка была властная женщина с красивым, строгим лицом. Муж ее, священник, умер от белой горячки, но всем четырем детям она сумела дать образование. Один сын был врач, другой — математик, учитель в кадетском корпусе. Она не побоялась отправить дочерей на высшие курсы в Петербург, несмотря на общее предубеждение против высшего образования для женщин в конце прошлого столетия. Дочь ее, Варенька, вскоре после окончания курсов умерла от туберкулеза. Моя мама, пройдя несколько курсов естественного факультета, вышла замуж. У меня долго хранился прекрасно ею составленный и классифицированный гербарий.

Порядок водворялся не без борьбы: переменилась кухарка; нянька Аннушка, вынянчившая нас четверых и считавшаяся в доме "своей", не могла помириться с умалением своего престижа — после многих слез и жалоб ушла "на покой". Отец устроил ее в комнате при больнице, куда мы приходили к ней в гости, и она угощала нас безе, нашим любимым печеньем.

Авторитет бабушки воцарился. Дом заблестел чистотой, на дворе забродили стайки индюшек и кур, на озере заплавали гуси и утки. Двор потерял для нас свое очарование, потому что теперь нельзя было пробежаться, не наступив на цыпленка или индюшонка.

Моим персональным врагом был огромный индюк. Оттого ли, что его привлекала моя красная шубка, или он чувствовал, что я его боялась, но стоило мне показаться на дворе, как он бежал ко мне, растопырив крылья, распушив хвост, с налитым кровью гребешком и зобом. С торжествующим "блу-блу-блу..." он налетал на меня, пытаясь вскочить на спину, а я со всех ног спасалась бегством. Случалось, ба-

бушка посылала меня принести что-нибудь из кухни: враг уже подстерегал меня на дворе. Я неслась, отмахиваясь метлой, но обратно, если руки у меня были заняты, мне приходилось выдерживать его наскоки. Вражда кончилась, когда индюк попал, наконец, на пасхальный стол.

В конце девяностых и начале девятисотых годов идеи воспитания были очень несложны: с одной стороны требовался авторитет, с другой — послушание. Теория наследственности еще не получила развития, никто не доискивался в ребенке индивидуальных, наследственных задатков, ребенок не был "центром, вокруг которого вращался мир взрослых". Он занимал в семье скромное место и не мешал взрослым жить.

У нас был свой детский мир, где нянька Аннушка и горничная Зоя занимали большее место, чем родители. Отца мы вообще мало видели, так как он был очень занят, часто беспокоили его вызовами к больным и ночью. Иногда в свободные вечера он собирал нас у рояля и, аккомпанируя нам, пел вместе с нами песенки из "Гуселек". Иногда они с мамой играли в четыре руки.

Когда я стала немного постарше, отец брал меня с собой в поездки по уезду на заводы Синчиху и Сусанну. Я очень любила эти поездки. На полдороге мы останавливались у речки. Я собирала букеты ландышей и колокольчиков. Иногда мы останавливались послушать кукушку, и я спрашивала: "Кукушка-кукушка, сколько лет мне жить?" Лошади мягко бежали по проселочной дороге, позванивал колокольчик, пахло разогретой на солнце хвоей. Было так мирно и уютно, что на обратном пути я засыпала.

Зимой после обеда, если не было гостей, отец с мамой ехали кататься по замерзшей Нейве. Я приставала до тех пор, пока меня не брали. Мама завертывала меня в свою лисью ротонду, кучер погонял серых, и мы летели так, что захватывало дух. Я любовалась спиною кучера, наслаждалась его лихими покриками, отблесками заходящего солнца на крутых снежных берегах.

Летом часто все женское население нашего дома выезжало на линейках и в коробках за ягодами и грибами. Проезжали мимо завода, по крутой горе, изрытой рудниками, уезжали верст за десять-пятнадцать в особо грибные или ягодные места и там расходились, аукаясь время от времени, чтобы не потеряться. Нас обычно оставляли с Зоей у ручья, где мы плескались в воде и помогали Зое собирать кедровые шишки для самовара. Там же жарили в масле и сметане собранные

поблизости грибы. Сборщицы возвращались мало-помалу, нагруженные полными корзинами ягод и ведрами грибов. Бывало, бабушка брала меня с собой и учила откапывать прятавшиеся в земле под листьями грузди, отличать рыжики от сыроежек, отыскивать подберезовики и подосиновики. Маслят было так много, что мы брали только самые маленькие. Бабушка была великая мастерица приготовлять варенья, соленья и маринады, и скоро погреба наполнялись кадками и банками припасов.

Няня Аннушка была одной из тех старинных слуг, которые, не имея личной жизни, жили интересами своих господ и блюли их интересы, как свои собственные. Аннушка обожала отца и поваркивала на мать за то, что та не умела хозяйничать и, по ее мнению, плохо смотрела за мужем. Аннушка нас мыла, одевала, учила молиться, причем Бог ее был строгий, карающий Бог. ''Боженька накажет...'' На стене у ее кровати висела картина, изображающая муки грешников в аду. Эта картина очень привлекала меня, и чертики снились мне по ночам, прятались в углах темной комнаты и даже днем иногда затаивались за деревьями и за углами дома, а я неслась мимо, боясь оглянуться. Уложив нас спать, Аннушка рассказывала нам сказки. Как большинство народных сказок, они имели страшные сюжеты: ведьмы, колдуны; медведь приходил к старухе, которая ''пряла его шерсть, варила его мясо''; аленький цветочек вырастал на месте клада, который охраняла нечистая сила. В самых страшных местах я искала нянину руку, но отказаться от сказки я ни за что бы не согласилась.

Страхи мучили меня в детстве. Особенно я боялась темноты. В детской Аннушка зажигала перед иконами лампадку, но когда я перешла спать к бабушке, она требовала, чтобы свет был потушен, и долго, перед тем как заснуть, я переживала агонию страха. Теперь мы знаем, что страх — одно из самых сильных подсознательных переживаний, сохранившихся от древних времен, когда первобытный человек, окруженный враждебными стихиями, боялся всего. Но тогда старшие смотрели на мои страхи, как на капризы и ''воспитывали'' меня, не обращая внимания на мои слезы и просьбы не оставлять меня одну. Раз, не в силах выдержать этого ужаса в одиночку, я вскочила с постели, в темноте заблудилась, попала в залу, испугалась еще больше и рыдала, пока Аннушка, вопреки маминым наставлениям, не взяла меня на руки и не отнесла в постель. Я долго всхлипывала, держа ее руку, пока не заснула.

День именин был торжественным. Дом отдавался в распоряжение детей. А у нас было много знакомых детей. Накрывался стол в парадной столовой. С вечера перед кроватью именинника ставился стол, так, чтобы взгляд проснувшегося сразу падал на подарки. Подарки являлись своего рода компенсацией за визиты отца, так как он не брал денег со знакомых больных. К ним обычно относились "неинтересные" для нас золотые и серебряные вещи. Мы получали и различные игры: садовый крокет, кегли, комнатные качели и проч. У братьев была лошадка на колесах и полозьях, на которую Коля залезал с трудом. Была львиная голова с открытой пастью, куда надо было попасть мячиком, чтобы она закрылась. У меня была плитка с набором кухонной, столовой и чайной посуды и настоящий маленький самовар — я угощала чаем и взрослых. Бархатные и шелковые бонбоньерки и несессеры, так же как и нарядные куклы, хранились в стеклянном буфете в столовой. Я же больше всего любила маленьких куколок с подвижными руками и ногами — с ними удобно было играть в театр. Был у нас и большой картонный театр, с полными декорациями, "актерами" и текстом "Аскольдовой могилы". Он нас занимал некоторое время, но скоро стало скучно представлять все одно и то же. Собственная фантазия была изобретательней.

Часто устраивались детские вечера и спектакли в клубе. Мы отправлялись туда на санках, закутанные в платки и шубы. Я любила ехать, закрыв глаза. Казалось, что мы едем в обратную сторону и что вообще мы будем ехать и ехать, и никуда не приедем.

Самое веселое и занимательное время были святки. И взрослые, и дети готовились к маскарадам, обсуждали костюмы. Один раз отец придумал нарядить всех пузырьками от лекарств с разноцветными бумажными шапочками и ярлыками, на которых были написаны всякие забавные рецепты. Как-то нам с Асей сделали белые черкески с газырями, папахами и кинжалами, на зависть братьям, которых еще не брали на маскарад. Помню также мой костюм весны весь в цветах, которые не легко было достать зимой. Веселее всего было, когда ряженые приходили к нам домой. Папа садился за рояль, и медведи, трубочисты и маркизы отплясывали кадриль. Мы вертелись под ногами танцующих, стараясь угадать, кто скрывается под маской.

В сочельник в кабинет приносили пушистую, до потолка, елку. Ее украшали взрослые, при закрытых дверях. В зале собирались дети наших знакомых, и дворовых, и рабочих.

Когда елка была готова, нас выстраивали в ряд и под звуки музыки открывали дверь. Красавица елка сияла огоньками свечей, блестящими золотыми и серебряными нитями, разноцветными шарами и игрушками, хлопушками, золотыми орехами... Мы чинно проходили, водили хоровод, получали подарки и мешочки со сладостями, а потом начиналась вакханалия хлопушек, свистулек и буйных игр.

На Новый Год приезжали визитеры. Бедная мама иногда принимала до ста гостей, в то время как отец, кряхтя, облачившись в парадную форму, сам отправлялся с визитами. Визитеры присаживались на пять минут, заводили разговоры о погоде и последних местных новостях, затем подводились к столу с закусками и напитками, и уезжали. На смену им являлись другие. Иногда несколько человек сталкивались вместе, и к нам из залы доносился шум голосов. В редкие минуты перерыва мама в изнеможении вытягивалась на диване. Нас к гостям не звали, чтобы не удлинять время визита. Из окна детской мы наблюдали за непрерывным потоком саней, приезжающих и уезжающих со двора. Чтобы лучше видеть через замерзшие стекла, открывали форточки. Однажды Коля высунулся так далеко, что не удержал равновесия и выпал из окна на мощеный камнями двор. На его плач и наши крики сбежались мама и гости. Колю внесли в дом — из носа и ссадины на голове шла кровь, болела правая нога. Визитеры вызвались ехать искать отца и прислать его домой. Колю уложили на мамину кровать, и мама засуетилась с бинтами и лекарствами. Нас, по-видимому, это происшествие не особенно взволновало, так как мы продолжали стоять у окон и наблюдать с интересом, как поставленный у ворот дворник заворачивал визитеров обратно. Когда через два часа появился встревоженный отец, Коля уже весело играл с игрушками. У визитеров появилась новая тема для разговора. Так как телефонов тогда не было, то один из них приехал за новостями и затем объехал всех остальных с известием, что все благополучно.

На масленицу волна веселья снова заливала Алапаевский завод. Снова начинались ряженые и маскарады. Медленная процессия троек, пар и одиночек, в лучшей упряжи и сбруе, с колокольчиками и бубенцами двигалась по улицам. Выехав за город, они мчались по замерзшей реке, перегоняя друг друга. Кучер Семен украшал дугу ленточками и бумажными цветами, и наша пара серых вливалась в общий поток катающихся. В конце масленичной недели вывозили масле-

ничное чучело и, проехав с ним по улицам, сжигали на площади.

Бабушка наблюдала, чтобы блины были подрумянены именно так, как она хотела, и стол уставлялся ее затейливыми закусками. Икра и балык были своего засола, так как покупали целого мороженого осетра.. Я особенно любила навагу, которая появлялась почему-то только на масленицу.

Волна пьянства на заводе поднималась до высочайшего уровня, и редкая ночь проходила без того, чтобы отца не вызвали к несчастному случаю.

Веселье утихало так же быстро, как и вспыхивало. В Прощенное воскресенье приходили в нашу кухню все дворовые и, кланяясь родителям и нам в ноги, просили прощения. Мы отвечали им "Бог простит", а затем сами кланялись им, прося у них прощения. Таким образом очистившись от скверны, начинали великий пост. Бабушка брала меня с собой в церковь на длинные, заунывные службы, где долго надо было стоять на коленях. Потом я исповедовалась и причащалась. День причастия был почти такой же, как именины. С новым платьем, пышными лентами и подарками. И на душе было легко и светло, и даже Аннушкины чертики на стене не пугали.

К Пасхе открывалась заколоченная дверь на террасу, выставлялись двойные рамы, мыли, скребли, чистили, пекли, жарили, красили яйца. В саду посыпали песком дорожки. И расцветала черемуха.

Одним из наших любимейших удовольствий были поездки на лодке вверх по реке на Максимовку. Собиралось несколько лодок. Зою с самоваром, провизией и детьми заранее отправляли на линейке. Когда Асю отправили в гимназию и я стала старшей, меня стали брать в лодку. Прозрачная, быстрая была Нейва, с холмистыми, лесистыми берегами. В одном месте скалы отвесно подходили к берегу. Там мы пробовали эхо: кто боится мороза? — Роза, — отвечало эхо. Кто была первая дева? — Ева, и т. д. и т. п.

Максимовка была широкая поляна, выходившая прямо к реке. На другом ее конце уходила в гору прямая, бесконечная просека. Мы собирали шишки для самовара, прутья для костра. Варили пельмени, заготовленные накануне и замороженные. Кто-нибудь из компании становился рыбачить и с торжеством доставлял "к столу" трепещущего окуня или щуку. Зоя не особенно радовалась улову, так как не любила чистить рыбу.

Когда спадала жара, взрослые и дети играли в горелки. Вечером разводили огромный костер и пели под аккомпанемент гитары "Мой костер", "Накинув плащ...", "В темной аллее заглохшего сада..." и проч. Обычно мы, дети, опьяненные воздухом, движением и едой, засыпали, не дождавшись конца пения, и нас, сонных, доставляли на линейке домой.

Несмотря на то, что, казалось, было все необходимое для счастья, я не была счастливым ребенком. Когда приезжала на каникулы Ася, я была ее тенью и жила отраженьем ее жизни. Когда она уезжала, я оставалась одна. У братьев была своя буйная мальчишеская жизнь. Иногда я включалась в нее — бегала, играя в лошадки, лазала по деревьям, но надолго это меня не занимало. Я предпочитала сидеть над своим ящиком с куклами, нашептывая им то, что подсказывала мне моя фантазия. Я не искала общества других детей и, когда приезжали гости, пряталась в гардероб или в угол за кроватью. Это желание спрятаться осталось у меня на всю жизнь. Ася шла навстречу знакомым с радостной улыбкой и окликала, если они ее не замечали, я предпочитала перейти на другую сторону улицы и сделать вид, что никого не замечаю. Я была болезненно застенчива, и внимание взрослых приводило меня в замешательство до слез.

Один раз мама играла одному из своих поклонников Шопена, и я, как обычно, слушала под роялем. Вдруг он заметил меня, вытащил из-под рояля и, став передо мной на одно колено, спросил: "Зиночка, кто вам больше нравится — эта роза или я?" Я вырвалась и юркнула обратно под рояль. С тех пор я возненавидела этого человека, хотя он привозил мне конфеты и кукол.

И став взрослой, я должна была беспрестанно бороться с застенчивостью, желанием остаться незамеченной, спрятаться за спины других. В основном мы не меняемся. "Каков в колыбели, таков и в могилке" — метко определила народная мудрость задолго до того, как стало известно учение о наследственности. Наследственные задатки определяют нашу сущность. Воспитанием, т. е. усилиями над собой других или собственными, мы можем развить или подавить то или другое наследственное свойство, но ничего нового мы создать не в состоянии. Индивидуальное распределение наследственных задатков является причиной того, что дети в одной семье не похожи друг на друга.

Одно время у меня завелась подруга, главным образом благодаря усилиям с ее стороны. Она жила с матерью в маленькой квартирке в старом городе, и ей очень нравилось

приходить в наш просторный дом и сад. Она была на год-полтора старше меня, и с ней проникла струя ”улицы”, пошлости. У нее было необычайное любопытство к вопросам пола. Она подсматривала и подслушивала разговоры взрослых и передавала их мне. Один раз, заманив конфеткой четырехлетнего брата Колю и раздев его в кабинете за шкафом, объясняла мне разницу анатомии мальчика и девочки. Это не вызвало с моей стороны никакого интереса, может быть, потому, что я была еще слишком мала. Позже я как-то вбежала в спальню и увидела голого отца, стоявшего посреди комнаты. Он мне показался великаном, чудовищем, я в ужасе захлопнула дверь и долго не могла прийти в себя.

Скоро подруга стала мне положительно неприятна. Заслышав ее голос, я влезала на высокое дерево в глубине сада и, притаившись, не отвечала на ее зов.

Я рано научилась читать, и книги стали моим миром, заменившим мне окружающую жизнь.

Я едва могда дождаться очередного номера ”Родника”, чтобы читать продолжение ”Улли”. Я уверила себя, что и я тоже была приемышем в семье. Я следила за каждым словом мамы и папы и находила все новые подтверждения тому, что я действительно ”не родная”. В свете этого нового открытия вся моя жизнь представилась мне иной. Я часто плакала, стала очень послушной. Ведь я была чужая, и если не послушаюсь, меня могут отослать в приют. Наконец я не выдержала своей тайны и спросила об этом Зою. Она очевидно передала это маме, потому что та стала очень ласкова ко мне, и вскоре я поверила, что я своя.

Перечитав все книги в детской нашей библиотеке, я стала таскать книги из папиных шкафов. Спрятавшись поглубже в густоте высокого дерева, я поглощала страницу за страницей, не отвечая, когда меня звали кушать, пока Зоя не приходила и не стаскивала меня вниз. Я проглатывала пищу, не замечая, что я ем, вся во власти прочитанного, стремясь лишь поскорее вернуться к книге. Закончив книгу или когда становилось темно, я слезала с дерева с затуманенными глазами и затуманенной головой и бродила по дому и саду, бесчувственная к живому, снова переживая в воображении приключения героев.

Особенно поразил меня роман ”Грязь и золото”, где прекрасная графиня Арабелла была влюблена в своего конюха. Вспоминая кучера Семена, я прекрасно понимала чувства Арабеллы и негодовала на ее близких, ставивших препятствия на пути их любви. Вся ”грязь” этих глупых романов со-

вершенно не достигала меня, меня захватывала их приключенческая, романтическая сторона. Раз испробовав сладкую отраву чтения, я навсегда предалась ей. Мир идей всегда привлекал меня больше, чем мир вещей.

Читала я без разбора все, что попадалось под руку, главным образом приложения к "Ниве" и "Отечественным запискам", которые выписывались со дня выхода в свет. "Нива" переплеталась по годам, и вечерами мы с Аннушкой и Зоей любили рассматривать картинки. Зимними вечерами мы разглядывали большого формата том иллюстраций к истории Ветхого Завета. К нам присоединялась и бабушка, которая объясняла картинки, страшные, в духе Аннушкиных сказок.

Классики в красивых переплетах, которые занимали отдельный шкаф, меня не привлекали. Описания красот природы оставляли меня совершенно равнодушной, а тонкости человеческой психологии были мне недоступны. Меня увлекал лишь авантюрный элемент, четко описанные события. Когда я натолкнулась на Вальтера Скотта, он стал моим любимым писателем, и я разыгрывала со своими куклами "Айвенго" и "Ламермурскую невесту". Чтение без разбора не принесло мне того вреда, которого обычно боятся родители, книги не загрязнили моего воображения, не "просветили" меня. В вопросах пола я оставалась совершенно наивной. Вред этого чтения был в другом — оно отрывало меня от действительности, которая казалась бедной и скучной в сравнении с увлекательным миром вымысла. Оно делало меня мечтательной и неудовлетворенной.

Дети вообще великие фантазеры. Идея закономерности вещей и событий невыносима для детского ума, и неутолима его потребность творить свой собственный сказочный мир, где воображение заменяет действительность. Алеша горько плакал, когда кто-то из взрослых выбросил палку, оказавшуюся его любимым разбойником. Я часами могла играть с шашками, которые изображали пансион. Была начальница, классные дамы, девочки, о которых рассказывала Ася. Каждая шашка имела свое имя и характер и отличалась одна от другой какими-то совершенно для других неуловимыми признаками. Мы так полны были своим миром, что нас мало интересовала жизнь взрослых, которые появлялись эпизодически, главным образом, когда случалось какое-либо событие, нарушавшее обычное течение жизни: болезнь, примерка нового платья, поездка в гости.

В ранних воспоминаниях мама появляется, душистая и нарядная, перед трюмо в своей спальне или в амазонке,

сидя боком на Рыжке, выезжающая со двора. Было много гостей. Или родители уезжали в гости. Потом в доме стало тише. Мама чаще оставалась дома, отец стал приходить раньше. Они играли в четыре руки, вечерами в спальне папа читал вслух романы Писемского в красных тисненых переплетах. Мне иногда позволяли послушать, и я засыпала, прикорнув на диване. Потом в доме стало совсем тихо, мама перестала наряжаться и выезжать, принимала после обеда и ужина зеленые пилюльки. Помню раз, когда папа после ужина целовал ей руку, она пожаловалась, что у нее душа болит. Каждый вечер они с папой долго гуляли по аллеям сада. День она проводила, лежа в своей спальне. Нас чаще отсылали в сад или из дома, чтобы мы не шумели. Нам сказали, что у нас скоро будет новый братец или сестрица. Затем случилось событие, которое повлекло за собой трагический конец.

В жаркий июльский день женское население нашего дома собралось, как обычно, на сбор земляники и грибов. Мама настояла, что поедет с нами. Когда все сборщицы вернулись, мамы не было. До самой темноты искали ее и аукались. Наконец решили вернуться домой. Папа, страшно встревоженный, взял с собой кучера и дворника, и они верхами поскакали в лес. К утру они вернулись и, передохнув немного, поехали опять. После обеда распустили с завода рабочих, чтобы они могли принять участие в поисках. Дали знать на соседние заводы и в поселки. Бабушка зажгла лампадку, выстроила нас перед образами, и мы повторяли за ней слова молитвы, прося Бога спасти маму.

Уральские леса — страшные. На сотни верст тянется непрерывная, труднопроходимая, заваленная буреломом тайга, где бродят медведи, волки и лисы. Только чудо может вывести заблудившегося из лесного лабиринта, и нередко наталкивались в чаще на обглоданные скелеты заблудившихся путников. Чудо все же случилось: на утро третьего дня проезжавший по проселочной дороге, верст за тридцать от Алапаевска, мужик нашел лежащую на дороге грязную, растрепанную, страшную женщину. Он испугался, приняв ее за нечистую силу. Но когда она не исчезла после того, как он ее перекрестил и прочитал над ней молитву, он поднял ее и положил на телегу. В ближайшей деревне уже знали, что у Алапаевского дохтура заблудилась в лесу жена. Послали гонца на завод, и вскоре прискакала больничная повозка, и отец привез маму домой. Почти немедленно начались роды. Ребенок родился мертвым.

Что пережила эта несчастная женщина с уже затума-

ненным мозгом за три дня скитания в тайге, она никому не рассказала. После этого она уже никогда окончательно не пришла в себя. Двери в спальню оставались закрытыми, и нас все чаще брали к себе погостить наши знакомые. Страшный крик, донесшийся раз из спальни, навсегда пронзил мне душу.

Аннушка и еще какие-то женщины отправились в Верхотурье на богомолье, и нас отправили с ними. Когда мы вернулись через неделю, мамы дома уже не было. Вскоре пришла от отца из Перми телеграмма, что у мамы воспаление мозга и положение ее безнадежно. Через несколько недель она умерла.

Я не узнала отца, когда он вернулся. Он был в темных очках, с каким-то чужим и безжизненным лицом. Мое сердце разрывалось от горя и жалости, но я ничего не умела сказать. К счастью, Ася была еще дома. Она стала очень близка к отцу в эти дни, и они долгое время проводили в разговорах на террасе. О чем — Ася мне не говорила.

Что привело молодую интересную женщину к такому концу, я не знаю, как не знаю, что за человек была моя мама. Казалось, у нее было все для счастливой семейной жизни: обожавший ее муж, дети, дом, полный достаток. Может быть, после жизни в Петербурге ей было скучно и душно в далеком провинциальном городке, где общество, хотя и очень любившее веселиться, состояло, в сущности, из ограниченных, часто пошловатых людей. Может быть, ее не удовлетворяла праздная жизнь, и она хотела своей, творческой, интересной работы? Может быть, она не любила отца так, как он любил ее, и была какая-нибудь неувязка в их супружеской жизни? Я не знаю. Вероятно, жизнь в Алапаевске ее не удовлетворяла. Она не была горячей матерью, всю себя отдающей детям. Она не могла довольствоваться местным обществом, хотя в поклонниках у нее недостатка не было.

Отца мы больше никогда не видели веселым. Он жил под гнетом своего горя или своей вины. Он работал больше обыкновенного, и мы его почти не видели.

Осенью меня вместе с Асей отправили в Екатеринбург. Через три месяца начальница пансиона вызвала нас с сестрой и объявила, что наш отец умер. В тот же день, закутанные в платки и шубы, мы выехали на лошадях домой. Ехали 150 верст, не отдыхая, лишь меняя лошадей.

Отец в гробу был еще более чужой. Я как-то не могла осознать своего горя и машинально стояла на панихидах в черном, наскоро сшитом платье, шла за гробом в толпе про-

вожающих. Говорят, никогда Алапаевск не видал таких многолюдных похорон. Тут же я впервые услышала, как кто-то назвал меня сироткой.

Глава 2. Николаевский институт

Бабушка осталась с четырьмя сиротами на руках. Асе было почти 13 лет, мне — десять, братьям — 8 и 6.

Ася настояла, чтобы ее оставили в пансионе до конца ее курса в Екатеринбургской гимназии. Нас троих решено было повезти в Полоцк к дяде Коле, который назначен был нашим опекуном.

Друзья отца помогли бабушке распродать имущество и снарядили нас в далекий путь — надо было пересечь всю Россию, от Урала до Западного Края.

Тесным и грязным показался нам Полоцк после Алапаевского приволья. Хотя мы и снимали большой дом, но он был на шумной улице, без сада, лишь с маленьким палисадником. Население было главным образом еврейское. Все чем-то торговали, и на улицах стоял постоянный шум, бегали полураздетые, грязные дети, сопровождаемые криками матерей. Непонятно, почему этот город был выбран для размещения там кадетского корпуса.

Корпус занимал большие белые здания, расположенные полукругом около плаца, где происходили парады и учения. Это был свой особый мир, не смешивавшийся с городом. Так как дядя Коля был преподавателем в корпусе, то и мы включились в этот мир.

Дядя Коля был типичный "нарциссист". Он был влюблен в самого себя и жил только для себя. Рыжеватый, плотный, с красным лицом, он остался холостяком. Свалившиеся на его голову трое чужих детей, конечно, не могли его обрадовать. Примиряло его лишь то, что по завещанию отца, оставившего нам пять тысяч, ему за опекунство определялось немалое вознаграждение. Он был очень скуп. Бабушке на хозяйство он выдавал незначительную сумму и каждый день требовал подробного отчета. Мне он всегда оставался чужим, но мальчикам он оказался ближе. Он любил спорт, и у него была парусная лодка на Двине, красавице-реке, протекающей вблизи Полоцка. Скоро Алеша научился управлять парусом.

Когда мальчики подросли, их определили в корпус, я же

была зачислена в Московский Николаевский институт. Я знаю, и до сих пор есть дамы, которые гордятся тем, что они бывшие институтки. Но нельзя было придумать более уродливой системы воспитания. Как волосы у вновь поступавших стриглись под гребенку, так и умы и души шестисот девочек подчинялись одинаковой, без малейшего внимания к индивидуальности ребенка, бездушной, беспощадной дисциплине. С одной стороны — авторитет, с другой — послушание. Ни участия, ни понимания и ни капельки любви, без которой душа ребенка высыхает, как пустыня.

Казенное, белое, пятиэтажное здание вытянулось по набережной Москва-реки. Задним фасадом оно выходило во двор и длинную аллею, по которой каждый день по полчаса, молча, парами, гуляли институки. Аллея кончалась железными, всегда на запоре, воротами, ведущими на Солянку.

Сердце мое упало, когда, пропустив нас, ворота закрылись. Я невольно крепче взялась за дядину руку. Внушительный швейцар в красной с позументами ливрее пропустил нас в парадную дверь. В приемной мне было сказано попрощаться с дядей, и больше я его уже не увидела. Прежде всего меня остригли под гребенку, затем повели в баню. Там собрали все мои вещи и отправили к дяде. Так нарушилась моя последняя связь с домом, и я стала воспитанницей седьмого класса за номером 7. Банщицы были грубые женщины, которые мыли нас так, как, вероятно, специалист по стрижке овец пропускает поспешно одну овцу за другой. Терли нас жесткими мочалками, скребли голову, обливали горячей водой из деревянных шаек. Одели меня в длинную рубашку, бумазейные юбку, штаны и лифчик, белые чулки, прюнелевые ботинки и зеленое люстриновое платье со сборчатой юбкой, белой пелеринкой и рукавами, и белым передником. Эти торчащие люстриновые платья превращали всех девочек в совершенно бесформенные существа, независимо от того, какой фигурой наделила их природа.

В дортуаре тридцать кроватей стояли в два ряда. Мне отвели седьмую от стены. У каждой кровати в ногах стояла тумбочка, в которой мы держали выдаваемое нам каждую неделю белье, а наверху аккуратно складывали снятое на ночь.

Я думаю, что в эту ночь подушки всех маленьких девочек были мокры от слез.

В дортуар открывалась дверь из комнаты классной дамы, которая читала с нами вечернюю молитву и нотации провинившимся, осматривала наши руки, уши и тумбочки и

требовала полной тишины. Мы были в постели в девять часов. В дортуаре горел ночник, и несколько раз в ночь проходила специальная "ночная" дама.

В семь часов, зимой еще при керосиновых лампах, нас будил звонок, мы должны были мыться до пояса холодной водой, и, выстроив парами, нас вели в столовую с длинными столами и скамейками по обеим сторонам. После чая с молоком и французской булки мы шли наверх на общую молитву в большой зал, потом расходились по классам. До 12-ти продолжались уроки, затем обед и получасовая прогулка по аллее. После прогулки опять уроки до чая в 4 часа, приготовление домашних уроков до 7-ми часов, ужин, общая молитва, и мы расходились по дортуарам.

Монотонность этой жизни никогда не нарушалась. Получив свою "пару" по росту, мы оказывались с ней связаны на весь год. Мы сидели за одной партой, куда бы мы ни двигались, мы ходили в парах — на прогулку, на молитву, из класса в столовую и дортуар. И никогда мы не оставались "без глаза". У нас были две классных дамы, которые чередовались — французская и немецкая. С утренним звонком они появлялись и оставляли нас, когда мы засыпали. Они сидели на уроках, наблюдая за нами и учителями — посторонних вопросов или отклонения от курса не разрешалось. Они шагали в конце колонны каждого класса на прогулках. Они проверяли домашние работы. Они смотрели за тем, чтобы передники не были слишком туго затянуты в попытках создать "фигуру", чтобы волосок лежал к волоску в стриженых или туго заплетенных в две косички волосах. Ничто не скрывалось от их всевидящего ока. Они муштровали нас беспощадно, и целый день разносились их окрики, призывающие к молчанию: "Силянс, медам".

Классные дамы были старые девы, часто бывшие воспитанницы того же института. Они не выходили из круга раз навсегда привитых им институтских идей. Они не соприкасались с действительной жизнью, не имели своей семьи, их сердца никогда не бились любовью к своему ребенку и постепенно высыхали в казенной, бездушной рутине. Их неудовлетворенная женственность, естественно, искала выхода. У них появлялись любимицы, что строго преследовалось начальством, или, как наша французская дама Александра Ильинична, они начинали незаслуженно "придираться" к какой-нибудь девочке. Было очень обидно, не зная за собой никакой вины, выслушивать колкие замечания, стоять в углу, получать штрафные уроки. Доведя несчастную жертву

до слез, Александра Ильинична оставляла ее и переходила к другой.

На Пасху я оказалась в полосе ее расположения, и она подарила мне шоколадного барашка, которому я, вернувшись на свое место, откусила рога. Через некоторое время к ней подошла классная дама из соседнего класса, и Александра Ильинична попросила меня показать барашка. Велико было мое смущение, когда они увидели его без рогов. "Где же рога?" — "Я их потеряла под партой", — придумала я. Александра Ильинична заставила нас отодвинуть все парты, и мы целый час ползали по полу, ища съеденные мною рога. Нам было смешно, но она была искренне огорчена, и всю пасхальную неделю я должна была выдерживать ее придирки.

Чаще всего нам доставалось за то, что мы говорили между собой по-русски, тогда как во французский день мы должны были говорить по-французски, и в немецкий — по-немецки. В наказание за русскую речь нам давали вязать чулки и подшивать для формы белые рукава. Я ненавидела вязать, чулки у меня выходили уродами, меня заставляли их перевязывать, пока в конце концов кто-нибудь из девочек не довязывал их мне за взятку в виде решенной за них задачи или подправленного сочинения.

К счастью, немецкая дама была настоящая немка, не лишенная добродушия. Она исполняла формальную сторону своих обязанностей, не интересуясь нашим воспитанием, и пропускала мимо ушей наш русский язык, которого она не понимала.

Полчаса в день мы пользовались относительной свободой, когда шли наверх в музыкальную комнату, "селлюльку", для упражнений по музыке. Правда, была и специальная музыкальная дама, которая изредка обходила селлюльки, но она не очень любила себя беспокоить. Подруги старались отпроситься для музыкальных упражнений в одно время и имели возможность перебежать друг к другу и поболтать на свободе.

Это засилие дисциплины выработало, конечно, целую систему сопротивления — не внешнего, так как мы скоро поняли, что за неподчинение приходится платить слишком тяжелой ценой наказания, — а внутреннего. В покорном, вымуштрованном, однородном на вид стаде зеленых платьев мы научились сохранять свою индивидуальность. Дорога к нашей душе была наглухо закрыта для наших воспитательниц. Мы покорно выслушивали длинные вечерние нотации

"Ильиничны", ее рассказы все о том же — как вдовствующая императрица Мария Федоровна во время одного из посещений института дала ей поцеловать свою руку (это было самое важное событие в ее бедной событиями жизни), ее рассуждения о том, что мы "царские дети", что мы воспитываемся на счет царской семьи, что мы навсегда должны быть ей благодарны, что всей своей жизнью мы должны доказать эту благодарность и, прежде всего, стать благовоспитанными барышнями своего круга, и т. д., и т. д., и т. д. Николаевский институт был сиротский, и мы воспитывались на казенный счет. Ни одно из слов Ильиничны не доходило до наших сердец. Мы переминались с ноги на ногу, переглядывались, переговаривались знаками и ждали только одного — когда она кончит.

Когда Ильинична, удостоверившись, что у всех одеяла аккуратно подвернуты, платья повешены, белье сложено, руки — поверх одеяла, уходила, и поставленная у дверей дежурная доносила, что она вышла из своей комнаты, девочки собирались группами на постели одной из подруг и делились мыслями, утаенными от классных дам сладостями или слушали рассказы. Иногда давались целые представления. Маня Д. была прекрасная имитаторша, и мы умирали от смеха, когда перед нами проплывала величественная "маман", княжна Львова, или быстро семенил ногами близорукий учитель физики, поправляя на носу воображаемые очки. Одним из наших любимых представлений были охотничьи рассказы. Одна из девочек, просунув свои руки вместо спрятанных за спину рук Мани, жестикулировала, а Маня рассказывала страшные или смешные приключения охотников, снабжая их богатой мимикой.

Соня В. была талантливая карикатуристка с неистощимой фантазией. После рассказов Ильиничны вечером появлялась соответствующая карикатура: Ильинична, в глубоком реверансе целующая руку императрицы, и слезы умиления, ручьем текущие из ее глаз, смачивают шлейф императрицы... Или всякие неподобающие позы и жесты "барышень высшего круга". Однажды у Ильиничны сломался замок у двери, выходящей в коридор, и починить его можно было только изнутри, т. е. перед этим пройдя через дортуар, где мы уже готовились ко сну. Она велела всем лечь в постель, закрыть глаза и натянуть одеяла поверх головы. Затем, накинув одеяло на голову часовщика Василия, единственного мужчины в штате прислуги, так что видны были только ноги, она повела его за руку через дортуар. "Слепой" Василий наткнулся

на тумбочку, немедленно откинулись наши одеяла и открылись глаза. Замахав на нас руками, Ильинична почти бегом потащила его в свою комнату. Как только дверь была исправлена и Василий с Ильиничной вышли через коридор, все это происшествие было богато иллюстрировано Соней, и карикатура передавалась с постели на постель, вызывая взрывы смеха. Сонины произведения, конечно, сейчас же уничтожались, так как обнаружение их грозило бы ей исключением.

Как только дежурная у двери давала знак, что неприятель — Ильинична или ночная дама — близко, мы в одно мгновение разлетались по своим кроватям. Аккуратно вытянутые фигуры лежали с закрытыми глазами и руками поверх одеял. Иногда Ильинична, подозревая что-то неладное, откидывала одеяло одной или другой воспитанницы, но, не найдя ничего предосудительного, уходила, а мы принимались за прерванное занятие.

Детская душа не может жить без любви и ласки. Подавленные эмоции рано или поздно находят выход. Таким выходом являлось в институте "обожание". Маленькие обычно обожали старших, старшие обожали учителей. Выбрав себе предмет для поклонения, обожательницы страстно предавались этому чувству. Наиболее экзальтированные приходили в истерическое состояние при одном виде своего кумира, не было таких жертв, на которые они не были бы готовы. С риском быть строго наказанными "обожатки" убегали на старшую половину и там поджидали взгляда или милостивого слова от своего "божества". Получив таковые, они были наверху блаженства и переживали его в течение нескольких дней. Обожание было настолько узаконенной системой, что даже не вызывало особых преследований со стороны классных дам, которые в свое время тоже кого-нибудь обожали. "Обожаткам" учителей разрешалось приготовлять для них журнал, открывая его на нужной странице, чинить карандаши и обертывать в цветную бумагу мелок.

Прелестная Наташа Н. по прозвищу "Ева" (так как даже уродливая форма не могла скрыть ее изящной фигуры и женственности движений) обожала страшного учителя физики, торчащими волосами и усами напоминавшего дикобраза. Она выучивала уроки назубок, но у доски, вблизи своего предмета, она так терялась, что только краснела и бормотала что-то невнятное. Видимо, он понял, в чем дело, потому что стал спрашивать ее с места, и все пошло хорошо.

Я тайно обожала одну девочку в первом классе, которая

чем-то неуловимым напоминала мне маму. Я видела ее только в церкви, где она пела в хоре, и иногда на прогулках, когда их класс проходил мимо. Но я никогда ни ей, никому другому не открыла своего секрета.

Другим выходом подавленных эмоций была дружба. Подруги делились всем: своими мыслями, переживаниями, конфетами. Моя дружба с Женей Б. продолжалась много лет и после окончания института. У нее была "обнаженная" душа, впечатлительная, экзальтированная натура. Она всегда находилась в сети сложных душевных переживаний, которые она не уставала поверять мне. Рано лишившись родителей, она воспитывалась своим дядей, бароном Вольфом, и его семью сестрами, только одна из которых была замужем. Остальные остались старыми девами, сосредоточив всю свою неиспользованную любовную энергию на маленькой Жене. Обычно одна или две тетки жили в Москве, чтобы навещать Женю по приемным дням.

Приемы родных были два раза в неделю, в воскресенье днем и в четверг вечером. Так как никого родных у меня не было в то время в Москве, то Женя брала меня с собой.

Приемы были нашей единственной связью с внешним миром. Как будто частица свежего воздуха проникала в белый колонный зал вместе с входящими посетителями. Классная дама у стола принимала передачи — конфеты или фрукты — и после приема выдавала их кому причиталось. Дежурные воспитанницы вызывали, бегая по классам. Одни радостно бежали на зов, другие печально смотрели им вслед. Детские сердца никогда не переставали болеть по любви, по ласке, по "дому".

Третьим, более редким, но и более интенсивным порывом подавляемой дисциплиной энергии были так называемые "крики". За все время моего пребывания в институте это случилось только раз. Мы стояли на утренней молитве. Вдруг одна из девочек вскрикнула. Мгновенно крик был подхвачен сотнями других голосов, и, как испуганное стадо, институтки бросились бежать. Не слушая окриков классных дам, давя в дверях друг друга, они неслись по длинным коридорам, по лестницам, вверх и вниз, в дортуары, пронизывая воздух истерическими воплями.. Только когда бежать больше было некуда, паника остановилась, и девочки мало-помалу пришли в себя. Это было наиболее яркое проявление сохранившегося в нас с первобытных времен инстинкта опасности, которое я когда-либо видела. Прежде чем разум проконтролировал причину опасности, ноги бросились уносить

от нее прочь. Я была так напугана, что не могла двинуться с места, а так как я стояла последней в ряду, некому было подтолкнуть меня к бегству. С немногими другими я осталась в зале, но я была не менее потрясена, чем другие, бегущие, хотя девочки потом и называли меня храброй.

Еще один случай, вызвавший чрезвычайное волнение в институте, произошел, когда я была в третьем классе. В угловой селлюльке, где мы с Женей особенно любили упражняться и отводить душу, повесилась девочка из первого класса. Я знала ее в лицо только потому, что их класс был напротив нашего. Она была тоненькая, бледная, незаметная девушка. Что толкнуло ее на этот шаг, мы, конечно, никогда не узнали. Начальство не успело ничего скрыть от нас. Истопник, рано утром топивший печи, нашел висящий на простыне уже холодный труп. Не решаясь разбудить спящее начальство, он сообщил о своей находке нянькам, от них это перешло воспитанницам. Когда мы стояли на утренней молитве, все уже знали о происшедшем. Мы переглядывались и шумели, ожидая, что нам скажет начальница, но она не сказала ничего, как вообще никто из классных дам не упомянул об этом случае. Слухи ходили самые фантастические. Мы боялись проходить мимо первого класса, мы боялись оставаться одни в дортуаре и потихоньку прибавляли света в ночнике. Селлюльку запечатали — будто бы кто-то из подруг видел там привидение. И мы с Женей долго после того, как она была открыта, не решались туда войти. По ночам мы собирались у кого-нибудь на постели и старались разрешить мучивший нас вопрос: как может быть жизнь такой страшной, чтобы самой захотеть уйти из нее. Никто не помогал нам в разрешении этих вопросов, но все же в глубине души каждая из нас была уверена, что в ее жизни ничего "страшного" не должно быть, что впереди ждет свобода и счастье — поскорее бы лишь кончились ненавистные институтские дни.

У каждой из нас к крышке парты был прикреплен самодельный календарь, и каждый день мы вычеркивали и считали, сколько еще осталось "до дома", т. е. до Рождества или до лета.

Все разговоры, все мечты и надежды, всё сосредотачивалось на "доме". Институтские дни терпелись как неизбежное, как нотации Ильиничны, которые пропускались мимо ушей.

Образование мы получали прекрасное. У нас преподавали лучшие учителя Москвы, и мы действительно знали свои уроки. Кроме того, мы владели двумя языками; музыка, танцы и рисование были обязательными предметами. У нас

были такие учителя музыки, как Гольденвейзер, Гедике и Метнер. Иногда Гольденвейзер и Гедике давали нам концерты на двух роялях. Выпускали на концерты и лучших учениц. Танцы преподавал балетмейстер Большого театра Чудинов, и там получала возможность развития врожденная грация многих девочек.

Я училась хорошо, особенно любила русский язык и словесность. После того как учитель Бельский прочитал нам в классе Лермонтовскую поэму "Мцыри", как мне показалось необыкновенно хорошо, я начала его обожать, но опять втайне, никому своих чувств не поверяя. Учила уроки назубок, писала длиннейшие сочинения, безумно смущалась и краснела, когда он меня вызывал, и, к своему отчаянию, часто путалась в ответах. Вероятно, обожание, как токи сильнейшего душевного напряжения, как-то передавалось учителям, и Бельский, поглядывая на меня с добродушной усмешкой в глазах, ставил мне 12. Я возвращалась на место, счастливая и смущенная, сознавая, что он поставил мне отметку несправедливо. Как он понял, что я знаю действительно на 12?

У меня до сих пор сохранился дневник, который я писала в пятом классе, когда мне было 13 лет. На обложке крупными буквами написано: ПРОШУ НИКОГО НИКОГДА НЕ ЧИТАТЬ ЭТОЙ ТЕТРАДИ. КТО ПРОЧИТАЕТ, С ТЕМ БУДУ НАВСЕГДА В ССОРЕ.

Дневник писался урывками, прикрытый какой-нибудь книгой или тетрадью на тот случай, если бы классной даме захотелось проверить, что я пишу. На ночь я брала его с собой и прятала под подушку, иногда писала при свете ночника. Мой дневник — это крик бедной детской души, запертой в неволе, жаждущей любви и понимания. "Как скучно!" "Как грустно!" "Господи, скоро ли домой?!" — пестрит на многих страницах. И вместе с тем, это свидетельство пробуждающейся мысли, вопросов, на которые надо найти ответы только самой: рассуждения о Боге и смысле жизни, о честности, правдивости, справедливости, которые находились в перманентном конфликте с институтской действительностью, стремление к самовоспитанию, к самоусовершенствованию. "Сегодня нам принесли конфекты от Макса (это была лавочка при институте, где нам раз в неделю разрешали покупать сладости) . Когда я развернула пакетик, то увидела только четыре ириски. Я сказала об этом Ильиничне, и она мне принесла пятую. А потом я нашла под партой уроненную ириску. Я хотела вернуть ее, но девочки просили меня этого не делать, так как Ильинична была очень злая. Но я эту конфекту есть

не буду и оставлю в классе. Опять мне пришлось сделать что-то против совести..."

Но главным образом были рассуждения о прочитанных книгах. Книги вообще составляли главную сущность моей жизни. В то время я читала и перечитывала "Героя нашего времени", и Печорин был моим идеалом. Я мечтала иметь его характер и быть похожей на его героинь, и очень огорчалась, что я — краснощекая плотненькая девочка, тогда как они были бледные, томные и падали в обморок. Вообще моя "толщина" мне очень не нравилась. Я старалась похудеть, отказываясь за обедом от сладкого, или ничего не ела за ужином. Но молодой аппетит не выдерживал долго такого испытания, и видимых результатов не получалось.

Перечитав все книги в нашей библиотеке: Лажечникова, Данилевского, Загоскина и т. п., я обратилась к "запрещенным", которые Женина тетя по нашей просьбе приносила на прием. Мы, подвернув и заколов булавками нижние юбки, делали из них род сумки, куда прятали книги, стараясь как можно более плавно пройти мимо дежурной дамы, которая осматривала наши карманы. Читали мы ночью, прибавив немного света в ночнике, но не настолько, чтобы привлечь внимание ночной дамы.

Мы с Женей увлекались Тургеневым, и если нам удавалось отпроситься вместе на музыкальные упражнения, собирались в одной селлюльке и отводили душу в разговорах о любимых героях. В четвертом классе я прочитала "Войну и мир" и изменила всем прежним увлечениям. Я была потрясена, совершенно захвачена открывшимся мне миром. Я не в силах была дождаться ночи и с большим риском читала во время уроков, держа книгу внизу, под партой. Я была совершенно покорена Наташей и влюблена в князя Андрея. Войну я при первом чтении пропускала, в нетерпении узнать, что было с ними дальше. Этой книгой я жила целый год, ее действующие лица приобрели плоть и кровь и были для меня более реальны, чем бледные институтские призраки. Воплощение Наташи я нашла в одной девочке, классом старше меня, худенькой и грациозной, с большими карими глазами, и я следила за ней, когда их класс проходил мимо.

Позднее появилась Анна Каренина, которая также потрясла меня, но сродниться с ней так, как с Наташей и Пьером, я не могла. Затем появились философские произведения Толстого — "В чем моя вера" и другие. Они произвели на нас огромное впечатление, и много часов провели мы с Женей в селлюльке, решая вопросы, как жить, как найти верный

путь в жизни, понять ее смысл. Глядя из институтских окон вниз, на мостовую набережной, по которой изредка проходили пешеходы, мы мечтали о жизни, полной полезной деятельности, самопожертвования, отдачи себя на пользу человечеству. Мало-помалу у нас образовался целый кружок девочек, с которыми мы делились "запрещенной" литературой и вечерами, собравшись на Жениной кровати, мы горячо обсуждали толстовские идеи. Конечно, для начальства Лев Толстой был еретик и крамольник, имя которого произносилось с ужасом. Кто-то из девочек, также получавших запрещенную литературу, дал мне томик рассказов Андреева, где были "Бездна" и "В тумане". Несколько дней я ходила как больная от ужаса и отвращения, вызванного этими рассказами. Я совершенно отказывалась верить, что такие вещи могут происходить на самом деле, и принимала их как страшный кошмар, как продукт больного воображения автора.

Никто никогда не говорил с нами о вопросах пола. Слово "мужчина" вообще не упоминалось нашими воспитательницами. Учитель естествознания, робко покашливая и поглядывая на классную даму, объяснял: "У каждого животного, извините, медам, за выражение, есть кишки". О том, что ниже кишок, не упоминалось никогда. На уроках педагогики в старших классах учитель распространялся об обязанностях в семье женщины, которая вдруг как-то оказывалась женой и матерью. Были и у нас девочки, которые "все" знали и готовы были поделиться с другими своими знаниями, но мне они внушали какое-то чувство брезгливости и страха.

Конечно, вырастая, мы мечтали о любви и говорили о ней, но только как о возвышенном, идеальном чувстве, в духе тургеневских героинь. И наши "предметы" принимали образ одного или другого героя прочитанного романа. Я долго оставалась верна князю Андрею. Женя меняла своих героев постоянно.

Вторым, после чтения, выходом из институтской реальности, была у меня музыка. Я уже умела играть, когда поступила в институт, и делала быстрые успехи. У меня была хорошая учительница, Буховцева, но все же дальше требований чистоты исполнения и техники она не шла. Я уж сама вкладывала в музыку "чувство", как это мне подсказывало мое воображение. Музыка меня увлекала не как таковая, а как романтика, способная унести душу в иные, высшие миры, отрешающая от действительности. Конечно, моим любимым композитором был Шопен, я также любила играть 4-е im-promptü Шуберта.

Женя, которая никогда не играла хорошо, приходила меня слушать. Потом, растроганные музыкой, мы вслух мечтали о жизни, о любви, обо всем прекрасном, что таило для нас будущее.

Вместе с Женей переживали мы и религиозные сомнения. Лет до 14-ти я была очень религиозной. У нас была своя церковь и свой прекрасный хор. Каждую субботу мы стояли всенощную и каждое воскресенье — обедню. Длинные великопостные службы мы выстаивали каждый день на первую, четвертую и седьмую неделю, тогда же мы исповедовались и причащались. К исповеди мы относились серьезно: говели, читали жития святых, выданные из библиотеки, тщательно записывали свои грехи на бумагу и давали пх проверять друг другу, чтобы чего-нибудь не пропустить. Каждая из нас казалась себе большой грешницей. Мы готовились к исповеди со страхом и смирением и мы были разочарованы, что батюшка, часто даже не дослушав вызубренного наизусть списка грехов и не выразив никакого участия, покрывал нас епитрахилью и читал молитву отпущения. К причастию нам выдавали новые платья, фартуки и пелеринки. Я подходила к чаше с сердцем, замирающим от страха: вдруг я окажусь недостойной, и вино претворится в огонь, как было с грешником в какой-то из прочитанных во время говения книжек. После причастия нам давали праздничный обед и отправляли в дортуары, где мы ложились в постели, стараясь дольше сохранить приобретенную в причастии святость.

С церковной службой у меня связан один из курьезных случаев условного рефлекса. Я вообще очень часто краснела, что меня весьма удручало. Как-то раз во время пения "Отче наш" я покраснела. В следующее воскресение это повторилось. А затем не проходило ни одной обедни без того, чтобы "Отче наш" не делал меня красной, как пион. Мои одноклассницы скоро подметили мою слабость, и я чувствовала, что их глаза обращаются на меня. Я смущалась еще больше и едва сдерживала слезы. "Отче наш" делала меня поистине несчастной. Я заранее волновалась и с трепетом ждала, что вот уже скоро начнется. Как-то, много лет спустя, когда я уже давно утратила привычку краснеть, я была в церкви и вдруг при чтении "Отче наш" почувствовала, как мои щеки зажглись румянцем.

Мы с Женей строго следили за тем, чтобы не грешить, и останавливали друг друга, но без компромиссов нельзя было обойтись, как показывает мой случай с конфетой. Тогда мы ночью вставали и отбивали поклоны на холодном полу.

Первый толчок к религиозным сомнениям дала книга Дрейфуса "Мировая и социальная революция". У Мани Д. был брат студент, который приходил к ней на прием и решил просвещать институток. Не многие из наших одолели Дрейфуса, но я отнеслась к нему чрезвычайно серьезно. Первый раз я узнала о теории Канта-Лапласа, о постепенном развитии жизни на земле, о происхождении человека от высших животных. Мое мировоззрение оказалось совершенно перевернутым. Логичное, последовательное изложение истории нашей земли показалось мне весьма убедительным. Но как примирить это новое знание с тем, чему я верила до сих пор: о сотворении мира в семь дней, об Адаме и Еве и прочем? В мировой эволюции Дрейфуса не оставалось места для Бога. Мы долго ломали свои юные головы над разрешением неразрешимой проблемы — примирения науки и религии.

Я очень мучительно переживала этот период сомнений. Стоя в церкви, я поднимала руку, чтобы перекреститься, и опускала ее снова: как же молиться Богу, если все, чему нас учили, оказалось неправдой? И страшная мысль: а может быть, Бога и совсем нет, и его выдумали люди... Наконец, не в силах сами разрешить волнующих нас вопросов, мы решили признаться в своих сомнениях батюшке на исповеди. По жребию — вытащенному мною узелку платка — выпало говорить мне. Я очень волновалась, но толстый отец Семен, пропустивший в этот день больше сотни воспитанниц, едва меня выслушал. "Сомнения?.. — строго повторил он. — Разве вы не знаете текста такого-то?" Он процитировал и тут же отпустил мне грехи. Так мы ничего и не добились. Все же он меня запомнил, и после этой исповеди я редко получала у него 12.

С Дрейфусом я попалась Ильиничне. Не поняв слова "эволюция", она просмотрела картинки, которые ее до некоторой степени успокоили: звезды, камни, обезьяны. "Это пособие по естественной истории", — пояснила я. Она посмотрела на меня даже с некоторым уважением.

Раз встав на путь сомнений, я уже никогда не вернула прежней, неомраченной веры.

Мой радикальный образ мыслей еще больше упрочился с приездом в Москву Аси. Она поступила на курсы и вращалась в кружках социал-демократической молодежи. Исполненные энтузиазма пропагандисты марксистских идей открыли новое поле деятельности среди институток. То один, то другой из студентов приходил с Асей на прием под видом

брата одной из нас. Мы садились в самый дальний угол кружком в пять-шесть девочек — большее число могло бы привлечь внимание дежурной. Девочки чередовались, постоянными оставались только мы с Женей. Начинались повествования о буржуазии и пролетариате, о капитале и прибавочной стоимости. Мы слушали с чрезвычайным вниманием, не решаясь перебить вопросами разошедшегося оратора. Особенно усердным и пылким агитатором был Андрей Ш. Маленький, худой, некрасивый, с вихрами редких белесых волос, с чисто сектантским исступлением он призывал проклятие на головы богатых и сильных мира сего. Сам он был так беден, что не имел студенческой формы и являлся к нам в чужих брюках и сюртуке с чужого плеча, который не всегда подходил ему по размеру. От Аси мы знали, что он жил впроголодь, и по воскресеньям, когда нам давали суп с пирожками, мы устраивали сбор пирожков в его пользу. Надо сказать, что мы все любили пирожки, и отказаться от них было нелегко. Мы их приносили в сумках — нижних юбках, которые взамен наполнялись Марксом, Энгельсом, Бебелем и проч. Маркса мы одолеть не могли, но Эрфуртскую программу изучали добросовестно. Увлекала нас, конечно, не теория марксизма, которая была нам совершенно чужда — "пролетариат" оставался лишь туманным представлением, без плоти и крови, — увлекала нас жертвенность, подвиги героев-революционеров, опасность, которой они подвергали себя, и их презрение к этой опасности. И Андрей Ш., и другие студенты, нас посещавшие, казались нам прежде всего героями, и для них, а не для себя читали мы скучные страницы теоретиков марксизма. Увлекала нас также необходимость конспирации. В нашем кружке было 8—10 девочек, и мы должны были тщательно скрывать от остальных и наши идеи, и нелегальную литературу. Маня Д. горела желанием пострадать за идею, горячо доказывая, что мы должны не молчать, а привлекать новых и новых сторонников. Она мечтала об ореоле мученичества, который, как Софью Перовскую, сохранит ее в памяти потомства, но мы, более благоразумные, ее останавливали и грозили, что не будем брать на прием, если она не умеет молчать.

Убийство великого князя Сергея Александровича внесло большое смятение в нашу среду. Весть об убийстве распространилась так быстро, что начальство не сочло возможным скрыть его от нас. Нас выстроили в белом зале, торжественно проплыла Маман перед склонившимися в глубоком реверансе девочками. Затянутый в мундир инспектор говорил что-то длинно и невразумительно. Наше воображение уже на-

рисовало полную картину покушения, и молодые души не могли не содрогнуться от ужаса. Мы даже холодно встретили Андрея в следующее воскресенье. Андрей горел торжеством: тиран убит, начинается революция, которая вне сомнения приведет к торжеству пролетариата и полному счастью трудящихся. Нас тронула история Каляева, и когда мы рассмотрели его карточку и прочитали брошюрки, принесенные в дортуар в "карманах", мы пришли к заключению, что он действительно "герой", а великий князь был "тиран". В образе и поведении Каляева было много такого, что тронуло сердца не только революционеров. Маня Д. вставила его карточку в альбом, прикрыв сверху своим дядей в блестящей военной форме.

Никакой радости от мысли о приближающемся царстве пролетариата мы не в силах были испытать, и втайне были довольны, что "революция не удалась", как впоследствии сообщил нам помрачневший Андрей. Вскоре он был арестован во время студенческих беспорядков, попал окончательно в категорию "героев", и мы усиленно продолжали собирать ему пирожки, которые Ася относила в "Бутырки".

В следующий, мой последний год наши революционные настроения, не получая подкрепления на приемах (посещения пропагандистов поблекли), как-то сами собой прекратились. Приезд в Москву государя с семьей охладил их еще больше. Институток выстроили белыми длинными рядами на набережной, где должен был проезжать государь. Нам было сказано стоять в полном молчании, но когда медленно следовали коляски с государем, государыней и наследником, и коляски с великими княжнами, девочки не в силах были удержать охватившего их волнения, и торжественное "ура" прокатилось по рядам. Долго после того, как коляски скрылись из вида, переживали мы охватившее нас чувство умиления и счастья. Идея "тиранов" как-то совершенно не увязывалась с виденной нами царской семьей, и "царство пролетариата" само собой побледнело в нашем воображении.

Чем ближе подходил день выпуска, тем большее волнение и страх охватывали нас. Вероятно, такое же чувство испытывают узники после долгого тюремного заключения. Мы и радовались своей свободе и боялись ее. В течение семи лет мы слушались и повиновались. Перед нами не вставал вопрос "что делать?", "как поступить?" Все за нас было решено начальством. Свободная воля не имела никакого шанса для своего проявления. Теперь, когда перед нами вставала не-

обходимость самостоятельного решения и ответственности за свои поступки, мы боялись этой долгожданной свободы. Институт выпускал нас хорошо образованными девушками, совершенно не знающими жизни. За это незнание многим приходилось горько расплачиваться впоследствии.

На выпускном балу мы были в ''домашних'' белых платьях. Внезапно похорошевшие, снявшие казенное белье и платье, мы вступали в жизнь.

Глава 3. Волшебник Любомир

Параллельно институтской шла домашняя жизнь, где все приобретало чрезвычайное значение, о чем мы в мельчайших подробностях, вернувшись, рассказывали друг другу: как вышли из института, как сели на извозчика, в какую приехали гостиницу, как ехали поездом и в подробностях — каждый день, проведенный дома.

Братья вырастали и делались бравыми кадетиками, но на их товарищей я смотрела свысока, как на ”маленьких”.

Когда мне было 14 лет, Ася закончила гимназию в Екатеринбурге и приехала в Полоцк. Ася была всем, чем я хотела стать: высокая, стройная, с длинной белокурой косой и прекрасным голосом. Она не была красива, но такая отзывчивая, приветливая, такая милая, что сердца всех невольно обращались к ней. Был и налет романтизма: она намекала, что влюблена в студента Володю, у которого оказался туберкулез и его отправили в санаторию в Ялту, и она обещала ждать, пока он поправится. Все это мне чрезвычайно импонировало. Подруг в Полоцке у нее не было, и мы много времени проводили вместе.

На Рождество в корпусе устраивалась елка для младших в малом зале, и бал для взрозлых — в большом. До сих пор я ходила на елку, но мы с Асей упросили взять меня на бал.

Длинное платье мне сшить не позволили, но сделали хорошенькое голубое с гипюровым фишю и, одеваясь перед зеркалом, я не могла налюбоваться на свое отражение. Как будто вместе со сборками зеленого люстрина снялась и моя ”толщина”, и у меня оказалась плотненькая, но хорошая фигура. Высоко взбитые пышные светлые волосы удлиняли мое круглое личико, серые глаза заголубели отсветом платья. Я прошлась Асиной пуховкой по яркому румянцу щек, и даже мой подбородок ”треугольником” показался мне привлекательным. Высокие лайковые туфельки казались божественно легкими после бесформенных прюнелевых ботинок, танцевать в них было чудесно.

Правда, Ася, в длинном белом платье, с высокой прической и с веером из страусовых перьев затмила мою ”взрос-

лость", и мне доставались главным образом кавалеры второго сорта, т. е. или те, которым она отказывала, или "маленькие", т. е. на год, на два старше меня, но все же я очень веселилась.

Семьи преподавателей и воспитателей корпуса ходили друг к другу в гости. Мы устроили бал и у себя. Были два брата, кадета, с которыми мы часто встречались, но я не могла решить, который из них мне больше нравится.

У нас в доме часто звучала музыка. Мы с Асей любили играть в четыре руки или я ей аккомпанировала. Дядя тоже любил петь высоким тенорком. Алеша стал учиться играть на скрипке.

Возвращаясь в институт после этого волшебного Рождества, я проплакала всю дорогу в вагоне. Железные институтские ворота захлопнулись за мной, как двери тюрьмы. Но воспоминания остались, и сколько раз, и с какими деталями я рассказывала Жене все события Рождества.

На следующее Рождество я влюбилась. Предметом был 20-летний воспитанник Кронштадтского инженерного училища, плотный, с военной выправкой, с рыжеватым бобриком волос и усами. Он был балованный брат трех незамужних сестер, заменивших рано умершую мать. Отец, отставной военный из прибалтийских немцев, имел какую-то контору, и семья, сохранившая немецкий уклад жизни, не сливалась ни с кадетским, ни с еврейским миром. Сестры сидели дома, хозяйничали и рукодельничали. Комнаты были устланы салфеточками и обложены подушечками сложных рисунков, и мы любили пить у них чай с необыкновенно вкусными "кухенами". Младшей, Наде, было около 30-ти лет, но в мои пятнадцать все они казались старухами. Брата Колю они обожали и гордились им, и в первый же день его приезда привели познакомиться с нами. С первого взгляда он мне не очень понравился — мой идеал был высокий брюнет, — но то, что он назвал меня по имени и отчеству, тем признавая мою "взрослость", сразу меня к нему расположило. В течение десяти дней его отпуска мы виделись каждый день. На балы и в гости он почему-то не ходил, танцевать не любил, так что малопомалу и для меня эти развлечения потеряли свое очарование. Чаще всего мы с Колей и его сестрами гуляли по плацу, а потом заходили или к ним, или к нам. Собственно, никакого романа не было, но для меня было достаточно того, что в первый раз мне оказывал внимание взрослый мужчина. Коля выбирал меня во время игры в фанты, старался сесть рядом со мной и раз за ужином, когда я угощала его трубочками с

кремом, он сказал: "Я только тогда буду есть, если вы сами положите мне трубочку на тарелку". Это было особенно значительно. В день своего отъезда, подавая мне шубу, он задержал мою руку и крепко сжал ее в своей руке. Большего доказательства любви мне не требовалось.

Первая любовь глубоко трогательна своей доверчивостью. Я не сомневалась в Колиной любви, и отдала ему свое сердце без колебания. Собственно, не важен даже предмет этой любви, важны те чувства, те не испытанные ранее ощущения, которые она в нас пробуждает. Вдруг, несколько дней тому назад незнакомый человек делается центром мира, все мысли, все желания сосредотачиваются на нем, время без него — пустое время, а с ним каждая минута, каждое слово приобретают чрезвычайное значение. "Трубочки" волновали меня не меньше, чем признание в любви, а пожатие руки вызвало такое смятение, как самая близкая ласка. Мне казалось, что я хорошо скрываю свое чувство и что Коля ни о чем не догадывается. Ни за что на свете я бы в нем не призналась.

Коля любил дурачиться. Он шутил, поддразнивая меня, я обижалась, — мы ссорились и мирились, и я была счастлива.

Моя любовь еще более окрепла в институте, когда в тысячный раз я воображала себе его слова и поступки. Я с нетерпением отчеркивала дни, отделяющие от летних каникул. Я с трепетом ждала, что будет дальше, обдумывая свое и его дальнейшее поведение.

Но лето принесло мне совершенно не то, чего я ожидала. Оно показало мне неизбежную изнанку любви — сомнение, ревность, разочарование.

Уже на станции, где меня встречали все наши и Коля — он приехал на неделю раньше меня, — смутное предчувствие несчастья сжало мне сердце. Ася и Коля, стоя вдали от всех, о чем-то так горячо разговаривали, что как будто и не заметили подошедшего поезда. Коля рассеянно поздоровался со мной и продолжал разговор. А я так много ждала от первой встречи, первого взгляда, что чуть не заплакала от разочарования.

Когда позже Коля пришел к нам, он был мил и внимателен ко мне, но змея сомнения и ревности уже вползла в мое сердце и не оставляла его. Я наблюдала за каждым словом, каждым взглядом, брошенным на Асю, и все больше убеждалась, что неизбежное свершилось: за эту неделю, что меня не было, Ася заняла мое место.

Позже, когда мы остались одни, Коля спросил: "З. Н., вы на меня не сердитесь?" — "За что?" — "За мое письмо. Я очень раскаивался, что послал его". Зимой я получила от него милое, шутливое письмо, которое я знала наизусть, но истинный смысл его все как-то ускользал от меня.

— Это была шутка.

— Нет, не шутка. В нем шутя было сказано то, чего я не мог бы сказать серьезно. Ведь все ваши письма читаются классными дамами.

Я очень хотела спросить, что, собственно, он хотел сказать своим письмом, но не решилась.

— Я не сержусь.

Я была сбита с толку: значит, я ему все-таки нравлюсь... А Ася?.. Эта двойная игра продолжалась целый месяц, пока Коля не уехал. Асе нравилось его ухаживание, так как в Полоцке ей вообще было скучно. Но она делала вид, что это не серьезно. Я молчала и изо всех сил старалась показать, что мне все равно, едва ли кого-нибудь обманывая.

Полоцк не богат окрестностями. Наша любимая прогулка была за город по железнодорожному полотну. Я любила идти по рельсам. Коля подавал мне руку, таким образом устанавливался контакт. Иногда он сжимал мою руку, и возникали токи и разливались по телу. В то же время он разговаривал с Асей, часто беря ее под руку, очевидно показывая, что он не хочет, чтобы она ушла.

Мое смятение еще усилилось, когда, отстав от других, он повернул мою руку ладонью вверх и поцеловал ее. Я выдернула руку и убежала. Я не спала всю ночь, спрашивая себя, зачем он это сделал. Значит ли это, что он меня любит? А Ася?..

На следующую прогулку я нарочно осталась позади. Коля меня ждал.

— З. Н. — начал он серьезно. — Могу ли я надеяться хоть на маленькую взаимность с вашей стороны?

У меня так билось сердце, что я не в силах была ответить. Настало, наконец, долгожданное объяснение, и теперь я спрошу его, действительно ли он меня любит.

— Ну хоть на самую маленькую, хоть чуть-чуть... — настаивал Коля.

Я ничего не спросила, только прошептала: "Да". Целую неделю после этого разговора я была счастлива. На прогулках по рельсам моя рука была в его руке, и, прощаясь, он задерживал меня и целовал мою ладонь.

Сестрам не нравилось внимание Коли ко мне. Они люби-

ли Асю и поощряли его ухаживание за ней. Ася была взрослая, ''невеста'', а я была только подросток. Асе тоже было скучно гулять с сестрами, и она поглядывала на нас, вставляя слово в наш разговор. Составился заговор против меня, может быть, и не выраженный словами. Как только мы выходили за город, одна из сестер брала меня под руку и уводила вперед, оставляя Колю с Асей. Так же и дома — они подсаживались ко мне или просили меня сыграть на рояле, или Надя начинала петь и я должна была ей аккомпанировать. Я не могла отказаться, не рискуя быть невежливой. Я с отчаянием в душе провожала потерянные дни и считала, сколько еще осталось до Колиного отъезда. За неделю до отъезда сестры придумали поездку в имение их знакомых. Почему-то я не могла поехать вместе с Асей и провела три печальных дня в напряженном ожидании их возвращения, в сомнениях и надежде. Когда они вернулись домой, сомнений больше не было — это была Ася! По тому, как Коля смотрел на нее, как весела была Ася, я поняла, что что-то случилось. Надя не могла удержаться и шепнула мне, что Коля сделал Асе предложение. Я не нашла в себе силы даже спросить, приняла ли его Ася. По-видимому, она ответила уклончиво, не соглашаясь, но и не отказывая.

Наши прогулки по рельсам прекратились. Я молчала, и Коля тоже не говорил ничего. Через три дня он уехал.

Стало ли Асе стыдно за свое кокетство или жаль меня, так как она отлично видела мои переживания, но вскоре после отъезда Коли она начала со мной разговор о нем:

— Коля — славный мальчик. С ним весело. Но ты ведь знаешь, что я люблю Володю. Он скоро кончает курс лечения в санатории, и тогда мы встретимся и решим, как будет дальше. Коля об этом знает, да и он сам не влюблен в меня. Он мне несколько раз говорил, что ты ему нравишься. Разве он тебе об этом не говорил сам?

— Прямо не говорил, только намеками, я была уверена, что он любит тебя, и что тебе он тоже нравится.

И опять в душе моей все смешалось. Я не могла разобраться в том, что было правдой и что мне казалось. Я умела мыслить только категорически. ''Или за, или против, и никаких между прочим'' — как выразился однажды слышанный мною лектор. Вот эти ''между прочим'' были еще недоступны моему пониманию. Ася любила Володю, значит, она не могла любить Колю. Коля поцеловал мне руку, значит, он меня любит. Потому я так трудно и переживала свой роман, что он выходил за пределы категоричности.

Остаток лета мы провели на даче на Двине. Я вся еще была во власти пережитого за прошлый месяц. Гуляла, мечтала и ждала письма от Коли, которого я так и не получила.

Осенью дядя получил перевод в Воронежский кадетский корпус, и больше я Колю не видела.

Эта первая любовь, такая наивная, такая старомодная, была моим первым любовным уроком. Она вызвала во мне такое богатство ощущений, такую сложную гамму чувств, что впоследствии я не переживала уже ничего нового, разница была только в интенсивности, в количестве, но не в качестве чувства.

Жизнь в Воронеже была гораздо приятнее, чем в Полоцке. Живописный город на высоком берегу реки, Воронеж был одним из передовых провинциальных городов, с сильно бьющимся пульсом общественной и политической жизни. Был хороший зимний театр, куда нередко заезжали столичные знаменитости, был летний театр в летнем саду, где играла главным образом малороссийская труппа. На Рождество я старалась не пропустить ни одной премьеры и горько плакала над "Дамой с камелиями". Летом в саду играл оркестр, а зимой устраивался великолепный каток. Весело было нестись на коньках под музыку трубачей с заиндевевшими усами и бородами. Иногда мы устраивали "цепи", и последнего "заносили".

Было гулянье по главной Дворянской улице, куда аккуратно, от семи до девяти вечера, выходили все уважающие себя граждане. Несмотря на монотонность и медленность движения, эти гулянья были полны интереса: дамы осматривали туалеты друг друга и сообщали очередные сплетни, мужчины приветствовали один другого и делились последними новостями. Молодежь переглядывалась. Бросался и ловился на лету мяч кокетства. Братья, рослые и ловкие мальчики, поражали гуляющих виртуозным катанием на велосипедах: не держась за руль, они ехали положив руки друг другу на плечи, или на всем ходу пересаживаясь с одного велосипеда на другой. У них уже завелись сердечные интересы, которые ограничивались встречами на гуляньях. У меня не было сердечных интересов, и гулять мне было неинтересно. Сфера же интересов Аси была совсем другой. К большому неудовольствию дяди, она попала в крайне левое общество молодежи. Бабушку утешало лишь то, что там же была и ее подруга, дочь самых богатых коммерсантов Воронежа. "Быть революционно настроенным" стало очень модно в 1905 году. Ася познакомила меня кое с кем из своих товарищей, но

они с подозрением смотрели на меня, институтку. Осенью Ася собиралась ехать в Москву и поступать на Высшие женские курсы.

Главным нашим развлечением было катанье по реке на быстрых и легких гичках — узких, вроде гоночных, лодках. Один раз Ася с таинственным видом сообщила, что возьмет меня на нелегальный митинг на другом берегу реки, что это очень опасно и я должна быть конспиративна и никому не говорить. Мы выехали под вечер. Время от времени Ася переговаривалась с догонявшими нас лодками. Покружив для конспирации по реке, мы остановились под прикрытием низко свесившихся к воде деревьев. Там уже стояло несколько лодок. Мы прошли по берегу до ближайшего леска, где нас остановил высокий мужчина. Он с подозрением посмотрел на меня, но пропустил. С разных концов, оглядываясь по сторонам, подходили участники митинга. В быстро сгущающихся сумерках я никого не могла рассмотреть. Было очень таинственно и страшно. Хотя я почти ничего не услышала или не поняла из того, что говорили ораторы, я чувствовала, что приобщилась к чему-то важному. Разъезжались мы в полной темноте, по очереди, чтобы не привлечь внимания полиции, которая чудилась конспираторам за каждым кустом.

Мы с Женей решили после окончания института поступать на Высшие женские курсы. Узнав об этом, Ильинична, которая следила за карьерами своих бывших воспитанниц, поставила против наших фамилий жирные минусы.

Женя пригласила меня к себе в Любомир, чтобы вместе готовиться к конкурсным экзаменам.

Любомир был типичным дворянским гнездом, переживавшим финансовый кризис, общий для помещиков начала 20-го века. Бароны Вольф, выходцы из Австрии, когда-то владели обширными землями на юге Воронежской губернии; владения их постепенно сокращались, переходя в руки мелких помещиков и крестьян, и ко времени нашего приезда осталось лишь несколько сот десятин, которые отдавались в аренду крестьянам.

Дом был старинный, с баллюстрадами в белых колоннах, обрамленными густыми кустами сирени, где пели соловьи, с просторными, прохладными комнатами. Мебель была незатейливая, половицы, скрипевшие под ногами, были прикрыты домотканными дорожками, в гостиной стоял старый разбитый рояль, крыша местами протекала. И все же простота этих почти голых комнат, лишенных всякого приз-

нака мещанского "уюта", говорила об истинном аристократизме их владетелей.

Главный балкон выходил на длинную аллею, которая кончалась обрывом. Крутая тропинка между зарослями кустов вела к лесу. Справа от аллеи сохранились остатки фруктового сада, но лес надвигался, глушил старые яблони и груши и подходил все ближе и ближе к дому. Вообще лес, который покрывал раньше весь юг губернии, мало-помалу вырубался, выкорчевывался, уступая место полям, и сохранился лишь как оазисы вокруг помещичьих усадеб. В лесу мы проводили большую часть дня, выбрав прохладную поляну на берегу ручья. Осенью он украсился золотом и пурпуром, а раз, проснувшись зимним утром, я увидела сказочное ледяное царство: каждая веточка деревьев была облита льдом и сверкала на солнце, переливаясь бриллиантовыми огнями. Тихо покачиваясь, они ударялись друг о друга и звенели.

Семья Вольф была большая: три брата и пять сестер. Жила с ними и 90-летняя Женина бабушка, которую она любовно звала "буничка". Маленькая, сухонькая, с живыми глазами и никогда не покидавшим ее чувством юмора, она прекрасно сохранила свои умственные способности и память. Она читала газеты, интересовалась политикой, изумляя детей своими радикальными суждениями. По вечерам она присаживалась к роялю и одной рукой наигрывала мелодии или брала аккорды, как будто бессвязные, но всегда гармоничные. Она пережила переход от роскоши к бедности, но никакой горечи не сквозило в ее рассказах о прошлом. Как живая хроника, она знала и помнила все местные события. Длинными зимними вечерами мы любили слушать ее рассказы, которые всегда были забавны и давали прекрасные характеристики ее соседям. Как-то буничка, взяв свою палку, зашла далеко в лес и, остановившись на пригорке, увидела внизу волка, в нескольких саженях от себя. Она не поспешила укрыться, а, замахав палкой, заулюлюкала на него страшным голосом, и волк убежал, поджав хвост. Придя домой, она говорила об этом эпизоде без всякого страха или волнения. Женя поверяла буничке все свои секреты и называла ее "подругой".

Один из братьев, дядя Поль, оставался холостым и жил с сестрами. Из сестер только две были замужем, рано овдовели и вернулись в Любомир. Немало трагедий, горечи, уязвленной гордости хранилось в сердцах Любомирских обитательниц, но они принадлежали прошлому, и мы с Женей о них не знали. Мы всегда видели спокойных, ласковых, занятых

тетушек. Их обязанности были строго распределены. Тетя Надя, высокая и седая, заведовала хозяйством в доме и на кухне. Тетя Лиза, с обветренным от постоянного пребывания на улице лицом, заведовала дворовым хозяйством: коровами, козами, курами, стадами гусей и уток, разводила для продажи индюшек. Энергичная, веселая, она ходила большими шагами и говорила громким голосом. Тетя Женя, красивая, полная, с величественной осанкой, разводила пчел. Пасека ее считалась образцовой. Она вела переписку с пчеловодами других стран и обменивалась матками с Италией и Кавказом, получала заказы даже от самого Елисеева. Пасека стояла в лесу на пригорке, смотрел за пчелами сказочный дед-пасечник, с белой бородой и спутанными седыми волосами. (Он был занимательный рассказчик, и его библейские истории носили своеобразный юмористический характер — например, создание Евы из лисьего хвоста.) Как-то он пришел в дом, и тетя Женя укоряла его: "Пахом, вычеши ты голову частым гребнем, тебя вши заедают". — "На то, барыня, и человек создан, чтобы вшам было что есть", — отвечал философ дед.

Про тетю Женю ходил анекдот, что когда она в Москве переходила улицу, извозчики останавливались и давали ей дорогу, так величественно-нетороплива была ее походка.

Тетя Юля, бывшая, вероятно, самой хорошенькой и легкомысленной из сестер, нелегко переживала свое вдовье положение и время от времени уезжала из деревни, но успевала смотреть за виноградником, который она насадила на солнечном пригорке и который давал не выращивавшиеся раньше в этих местах сорта рислинга и муската. Во время сбора винограда мы все выходили срезать тяжелые кисти, отливающие янтарем и рубином. Сок выжимали в кадки, и через некоторое время мы собирались пробовать молодое вино прямо из крана, и все ходили веселые.

Тетя Муня, как самая младшая, не имела определенных обязанностей и помогала то одной, то другой из сестер. Она чаще других жила в Москве и приходила в институт на прием. Сестры считали, что у Муни есть еще шанс устроиться — ей было около тридцати лет.

Дядя Поль в течение многих лет состоял председателем Богучарской Земской управы и часто уезжал в город. Чаще всего с ним вместе ехала тетя Женя. Поль и Женя были очень дружны, и часто, когда он бывал дома, Женя засиживалась в его комнате по вечерам. Иногда брали в Богучары и нас. Мы ехали на линейке по бесконечным полям и степям, и кучер

Иван тонким бабьим голосом пел чувствительные "романсы". В одном из них были такие слова: "И на груди ее потейной лежал вьюнош молодой". В Богучарах нам скоро делалось скучно, и мы просились домой.

Гости редко наезжали в Любомир. Мелкие помещики считали Вольфов гордыми, богатые — бедными. Но нам с Женей не было скучно. Утром, босиком по росистой траве, мы бежали купаться в пруду, заросшем осокой и с илистым дном. Мы бросались с мостика в воду и плыли наперегонки. Днем мы помогали тете Жене на пасеке или тете Юле на винограднике, но чаще всего брали книги и уходили в лес, находили уютную полянку и ложились на мягкий зеленый ковер. Книги открывались редко. Мы подставляли тело горячим лучам солнца, следили глазами за проплывающими облаками — вот верблюд, корабль, танцовщица... Опьяненные солнцем, как вином, забродившим в крови радостью жизни, мы вскакивали, выбегали в поле и мчались, летели...

После обеда мы ездили в соседнее село Волово за почтой. Мы любили сами править и отказывались от кучера. Никаких усилий с нашей стороны и не требовалось. Лошадь мерно катила шарабан по привычной дороге среди полей и холмов. Мы останавливались набрать букеты ромашек и васильков. Ночью мы спали на балконе, и когда тети, перекрестив и поцеловав нас, уходили спать, наступало время для самых серьезных разговоров: о смысле жизни, о счастье, нашем и всего человечества, о справедливости и о добре и, конечно, о любви... Лунными ночами заливались соловьи. Невозможно было улежать в постели. Мы потихоньку вставали, стараясь не разбудить спящую в соседней комнате тетю Юлю, шли по аллее к обрыву, садились на скамейку и отдавались власти лунного колдовства.

В то время меня занимали главным образом мировые вопросы, но у Жени была любовная проблема, чрезвычайно ее волнующая: она была влюблена в управляющего соседним имением, который упорно не хотел обращать на нее внимания. Порывистая, экспансивная, избалованная обожанием теток, она не могла вынести такого к себе отношения и не понимала его причин.

Имение Писаревка, верстах в десяти от Любомира, занимало площадь в несколько тысяч десятин. Хозяйство велось образцово: выписывались сельскохозяйственные машины, разводились породистые коровы и лошади. Был прекрасный помещичий дом с дорогими коврами и мебелью в стиле ампир. Владелец, занимавший большой пост в Петербурге,

изредка наезжал в Писаревку. По приезде делался церемонный визит в Любомир, когда тети одевали свои лучшие платья. С ответным визитом отправлялись величественная тетя Женя и тетя Юля, которая дружила с молодой женой пожилого сановника. Тетя Юля как-то взяла в Писаревку и нас, причем нам было сказано вести себя, как подобает "барышням высшего круга". Я с любопытством разглядывала нарядные комнаты, зеркала и картины, такие вычурные после простоты Любомира. За обедом подавались неудобные для еды куропатки и неведомые изысканные салаты и соуса. Когда очередь дошла до нас, причудливая башня из пломбира наклонилась на один бок, и не успела Женя поднести к ней ложку, как она тихо шлепнулась на дорогой ковер к ногам ошеломленного лакея. Ужас на лице тети Юли и неодобрительный взгляд сановника вызвали в нас неудержимый приступ смеха. Мы немного успокаивались, взглядывали друг на друга и опять начинали трястись от беззвучного смеха. Тетя Юля даже не рассказала потом сестрам о нашем позоре.

Женя стремилась в парк в надежде увидеть своего героя, который к столу не приглашался. Он жил в отдельном флигеле в конце парка. Хотя мы раз десять прошли мимо, никто не показывался.

"Герой" появился в Любомире после отъезда хозяев. Невысокий блондин с голубыми глазами навыкате, с польской изысканной любезностью и вкрадчивостью манер, он перецеловал руки всем тетям, каждой сказал приятное, мило поздоровался со мной и холодно с Женей. Все тети признавали его шарм и все были в него немножко влюблены, особенно тетя Юля, которая недели проводила у него, помогая ему в хозяйстве.

Я была обижена за Женю и холодно отвечала на его любезности.

— Женя, — сказала я огорченной подруге, когда он уехал, — я знаю, в чем дело. Он боится, что если он будет за тобой ухаживать, ему придется жениться на тебе.

— Но я вовсе не хочу, чтобы он женился.

— А ухаживать "так" он не может из-за тетей. "Так" он может относиться ко мне, у которой нет здесь родных, но не к тебе. Это порядочно с его стороны и вовсе не значит, что ты ему не нравишься.

Я думаю, что я была права, потому что испытала это "так", когда Женя должна была поехать в Богучары, а тетя Юля взяла меня с собой в Писаревку на неделю.

Всю неделю В. М. окружал меня необычайной заботли-

востью, вниманием, преданностью. Он выдумывал для меня развлечения. Мы катались верхом, ходили с гончими на охоту. В охотничьем костюме В. М. выглядел живописно. Мы ездили кататься на тройках. Утром он приносил мне в постель чашку горячего душистого шоколада, отрываясь от работы в конторе. К обеду заказывал любимые мною блюда и смотрел мне в глаза, стараясь угадать мои желания. Вечерами, уже по осеннему прохладными, он велел топить камин, усаживал меня в глубокое кресло и ложился у моих ног, брал мои руки и целовал их одну за другой. Как паутиной он опутывал меня вкрадчивой нежностью. "Зиночка, он в тебя совсем влюблен", — горестно приговаривала тетя Юля. Неизбалованной вниманием, мне было приятно поклонение В. М., хотя я ясно отдавала себе отчет в том, что это было просто "так", ни к чему не обязывало. Лунным вечером, помогая мне слезть с лошади, В. М. меня поцеловал. Я не ответила, но и не оттолкнула его. Он стал целовать меня еще и еще. Я чувствовала себя как загипнотизированная, — не в силах отвечать, но и не в силах бороться.

Я была рада, когда неделя кончилась и я снова вернулась к свежему воздуху Любомира.

Жене я подробно рассказала о проведенных в Писаревке днях и прибавила: "Вот видишь, я была права. Со мной можно "так", а с тобой нельзя. Это значит, что тебя он уважает больше, чем меня". Но Женя не оценила моей житейской мудрости и продолжала страдать.

— Я хотела бы быть на твоем месте, — с завистью произнесла она.

В. М. часто бывал в Любомире, но я старалась не оставаться с ним наедине. Тети полюбили его еще больше. Он давал тете Лизе ценные советы относительно корма и ухода за скотом, тете Жене — относительно посева особенно медоносных трав. Он действительно был большим спецом в своей области. Как-то, улучив удобную минутку, он меня поцеловал. Не встретив с моей стороны ни поощрения, ни протеста, он отпустил меня с неудовольствием.

— Вы целуете меня так, как будто я — тетя Юля.

Больше он не делал попыток за мной ухаживать, очевидно, решив, что я еще не созрела для тонкого искусства флирта. (У меня прибавился новый опыт: простое пожатие руки одного — Коли — может вызвать гораздо большее волнение, чем поцелуи другого — В. М.)

Осенью приехал в Любомир Андрей. Я получила письмо от Аси, где она сообщила о том, что Андрей выпущен из Бу-

тырок, сильно бедствует и не может продолжать курса в университете, так как нечем заплатить за правоучение. Мы с Женей решили, что наш долг ему помочь, и уговорили тетей пригласить его в качестве репетитора по математике, нашему главному предмету. Более неудачного репетитора нельзя было придумать. Один вид его — маленького, истощенного, белесого, с горящими возбужденными глазами, произвел неприятное впечатление на тетей, не говоря уж о его плебейском костюме и отсутствии манер. Несмотря на непривлекательную внешность, революционный пыл Андрея не остывал никогда. Он считал своим призванием, своим долгом громить и обличать социальную несправедливость. Мы с Женей прозвали его Савонаролой. За первым же обедом он произнес с пафосом длинную речь об эксплоатации помещиками крестьян. Тети переглядывались, пробовали возражать, но возражений Андрей не слушал, он слушал только себя. Сердобольная тетя Муня взяла его под свою защиту, высказав мысль, что его революционность — последствия тяжелой жизни и недоедания, что исправить его можно терпимостью и добротой. Она достала ему чистое белье и старый костюм дяди Поля, который болтался на Андрее, как на вешалке, и делал его очень похожим на огородное чучело. Она накладывала ему на тарелку огромные порции и отпаивала его парным молоком. Но Андрей не исправился. Он пошел с пропагандой к дворовым. Большинство из них родилось, выросло и женилось в Любомире, и обличения Андрея не встретили подходящей почвы. Мудреная фразеология Маркса, в скороговорке Андрея, понималась ими по-своему: "Что это барчук московский все говорит "пролетай, пролетай..." А куда пролетай?" — недоумевал кучер Иван в разговоре с тетей Лизой. Тетя Лиза решила взять дело в свои руки и сделала Андрею строгое внушение с предупреждением, что если он не перестанет смущать народ, он должен будет уехать. Андрей присмирел и перенес поле своей революционной деятельности в дальние деревни. Наиболее свободной от "буржуазных предрассудков" оказалась в семье Бунcorrect Буничка. Она поощряла Андрея и охотно слушала его разглагольствования, находя в них много верного. Со своей стороны она рассказывала Андрею истории, которые показывали, что не все помещики обязательно эксплоататоры. Живым примером являлся Любомир.

Вечерами Андрей любил петь студенческие и революционные песни. Любимой была "Есть на Волге утес..." Причем он так исступленно долго тянул высокие ноты, что тетя Муня

с беспокойством подходила к роялю: "Андрей, вы надорвете голос".

Занятия по математике подвигались туго. Андрей считал, что гораздо важнее пробудить наше социальное сознание и сбивался с задач на Энгельса и Бебеля. До некоторой степени мы его принимали, но "пролетай" оставался чуждым нашим сердцам. Мы уходили с Шапошниковым и Верещагиным к себе и сами решали задачи.

Потом Андрей влюбился, сначала в меня, затем в Женю. Со всем неистовством своей натуры Андрей отдался чувству. За уроками, ничего не слыша, он не сводил с меня глаз. Он старался поймать меня где бы я ни была, изливался в своей любви, умолял меня если не о взаимности, то хоть о сожалении, сострадании. К ужасу тети Муни он потерял аппетит, и его пение делалось все более надрывающим слух и душу. Тетя Муня сделалась поверенной его страданий и так прониклась ими, что вечером, подсев ко мне на кровать, спрашивала: "Зиночка, не могла бы ты постараться его полюбить? Он так страдает. Он говорит, что не может жить без тебя". Я недоумевала: Андрей и любовь никак не связывались в моем воображении. Я жалела его, но не могла найти в себе ни капельки ответного чувства (а его прикосновения мне были положительно неприятны). Я старалась доказывать себе, что он хороший, что он несчастный, что я сделаю доброе дело, если выйду за него замуж, что мы вместе можем приносить ту пользу народу, о которой я мечтала. Все это я говорила себе без него, но при виде его тщедушной некрасивой фигуры все мое существо возмущалось против "жертвы".

События достигли апогея, когда Андрей, достав револьвер из стола дяди Поля, грозил застрелиться, если не встретит взаимности с моей стороны. Я не знала, что делать. Мне на выручку пришла спокойная тетя Женя: "Пусть стреляется. Одним дураком будет меньше. Я тебе скажу, Зина, не беспокойся и поступай, как тебе подсказывает сердце. А такие истерики никогда не кончают самоубийством, только грозят и расстраивают других".

На следующий день я сказала Андрею, что люблю его как брата, очень дорожу его дружбой, но выйти за него замуж не могу. Андрей заплакал, но не застрелился, а я решила уехать на Рождество домой в Воронеж, чтобы дать ему время успокоиться.

Когда я вернулась, я нашла ту же картину: Андрей, неистовый, влюбленный, но теперь предметом поклонения была не я, а Женя. Андрей даже не смутился при виде меня, он совершенно забыл о своей любви ко мне и пел ди-

фирамбы Жене. "Она такая чуткая, такая благородная, отзывчивая душа. Она меня утешала, когда вы уехали, и я понял, где мое счастье". Счастья своего Андрей не нашел и тут. Тети на общем совете с дядей Полем решили заплатить Андрею за целый год и просить его уехать, т. к. все эти волнения не оставляли нам времени для занятий и грозили провалом на экзаменах.

Проводив Андрея, мы вплотную засели за книги. Напряжение разрядилось. Я была благодарна Жене за то, что она с моей души сняла тяжесть ответственности за несчастье другого человека. Мы повеселели. Возобновились поездки за почтой на санках меж ослепительно сверкающих под солнцем снежных полей. Бегали за сказками к деду Пахому, который проводил зимние дни, лежа на печке. В сумерки забирались на буничкину постель и слушали ее рассказы.

Проснувшись однажды, мы подошли к окну и замерли от восхищения. За ночь Любомир превратился в ледяное царство. Снег покрылся тонким ледяным настом, каждое дерево сияло, в мощеном дворе каждый булыжник представлял собой скользкую маленькую ледяную горку, и устоять на ней было невозможно. Обычная утренняя жизнь казалась представлением марионеток. Девочка вышла из кухни с двумя ведрами воды на коромыслах. Шаг, два и, отчаянно хватаясь за воздух, она упала, расплескав воду на и без того скользкие камни. Кухарка показалась в дверях и закричала на нее. Шаг, другой и, как подкошенная невидимой косой, она лежала рядом с девочкой. Хватаясь друг за друга, они делали отчаянные усилия встать и снова падали.

Кучер вывез водовозку, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой. Держась за лошадь, он кое-как продвигался, но лошадь заскользила, отказываясь идти дальше, и они, опираясь друг на друга, замерли в гротескной группе.

Мы с Женей решили пойти в сад, но только вступив на первую ступеньку балкона, покатились вниз и дальше по катку аллеи. Кое-как, держась за деревья, мы добрались до балкона и звали на помощь, пока тетя Лиза не сообразила бросить нам веревку и втащить нас по очереди наверх.

Затем тетя Лиза распорядилась посыпать золой аллею и двор, и сообщение до некоторой степени восстановилось, но лишь на самое короткое расстояние: лошади отказывались идти по колющей ноги пленке гололедицы.

Три дня мы прожили в этом волшебном ледяном мире, отрезанные от жизни.

А потом пришла весна. Появились на солнце проталинки,

и ручейки покатились с обрыва. Мы помогали весне, разгребая снег, пролагая канавки в лесу. А сколько было радости, когда под снегом нашли белесые молодые росточки и на полянке увидели первые подснежники.

Дед Пахом слез с печки и помогал тете Жене выносить ульи на пригорок на солнышко. Любимая корова тети Лизы родила теленочка, на пруду заплавали утки и гуси с молодыми выводками.

По вязкой дороге, в первый раз на шарабане после саней мы добрались с трудом до Писаревки, где гостила тетя Юля. В. М. встретил нас приветливо, но без особого энтузиазма. Он не выносил Андрея и редко бывал в Любомире последнее время. У него была новая, молоденькая и очень привлекательная домоправительница.

Возвращаясь домой, Женя удивлялась, что ее совершенно не трогает, что у В. М. новая женщина, и что она даже не находит его таким привлекательным, как он казался раньше. А я недоумевала: какая же бывает настоящая любовь? (Коля, В. М., Андрей — все это было не то.)

"Любовь — это светлый храм, в который надо входить с чистым сердцем и босыми ногами" — процитировала Женя одно из изречений мудрости, которые мы переписывали и прикалывали к изнанке институтских пюпитров.

Экзамены мы выдержали хорошо, но на курсы не попали из-за начавшихся студенческих беспорядков. Женя вернулась в Любомир, а я, по совету родных, решила поехать в Женеву и поступить там на естественный факультет университета.

Глава 4. Опыт взросления

В прославленной красотами природы Швейцарии я была несчастна и одинока. В первый раз я вышла из-под опеки старших. В первый раз я должна была сама принимать решения, а не только слушаться и подчиняться. В первый раз я лицом к лицу столкнулась с жизнью, о которой мы так жадно мечтали в институтской селлюльке. И я чувствовала себя совершенно беспомощной и неумелой. Подавленная воспитанием воля, и от природы не особенно сильная, не знала, как себя проявить. Каждый шаг, естественный для людей, привыкших к свободе, давался мне с трудом. Я должна была непрестанно перевоспитывать себя, заставлять себя выходить из своей раковины, в которую мне хотелось спрятаться от всего мира.

Такие обыденные вещи, как пойти за покупками в магазин или пообедать в ресторан, требовали от меня усилий воли, не говоря уже о поисках комнаты. Приспособляемость к окружающим условиям — самая главная часть воспитания — у меня отсутствовала, и я должна была ее вырабатывать сама.

Такой же неумелой была я и в отношении моих товарищей-студентов, особенно их мужской половины. Я придумывала, что бы на моем месте сказала и сделала Ася, но все, что я собиралась сказать, казалось мне фальшиво, и я предпочитала молчать и оставаться в стороне от студенческой жизни. С политической эмиграцией, в то время многочисленной, меня также ничего не связывало.

Как всегда, моим убежищем и утешением явились книги. Я знала французский язык, как русский, лекции и занятия на чужом языке не представляли труда.

Условия для занятий были прекрасные: кабинеты, лаборатории, библиотеки. Так же хороши были и профессора. Я занималась с усердием и интересом. Увлекалась энергетической теорией натурфилософа Оствальда и до головокружения старалась представить себе мир, состоящий из одной лишь энергии.

Иногда до физической боли я чувствовала, как моя ду-

ша переполнена впечатлениями, мой мозг — знаниями, которыми не с кем было поделиться.

Одиночество хорошо для зрелого ума, сделавшего выбор, — там непрошенное внимание часто является назойливым и ненужным, — но для меня, неопытной и наивной, одиночество было очень трудно. Безразличие окружающих стеной отделяло меня от других. Каждый жил своей жизнью, у каждого были свои интересы, им не было дела до меня, и то, что казалось мне страшно важным, — найти ответы на самые главные вопросы жизни, примирить встречавшиеся на каждом шагу неувязки, — казалось, никого не интересовало. И я мучилась и не знала, как пробить стену безразличия, как включиться в общую жизнь.

В конце семестра я познакомилась с двумя русскими студентками. Я давно поглядывала на них во время лекций, завидуя их дружбе: если бы Женя была со мной, мне легче было бы жить. Я не знала, какие отношения были между ними — дружба или любовь, — но они всегда были вместе, поглощены друг другом и не обращали внимания на других. Они как бы подтверждали пословицу "противоположности сходятся": Зина была высокая шатенка с правильными, даже строгими, чертами лица, Соня — мягкая, женственная, пушистая кошечка. Ее любимая поза была свернуться клубочком на кровати, положив голову Зине на плечо или на колени.

Подруги жили в мансарде — холодной и почти пустой — старого дома, платили за нее пять франков, но и те им было трудно достать. Зина, генеральская дочь, ушла из дома без согласия отца. Мать изредка, потихоньку от мужа, переводила ей небольшую сумму денег. Это был единственный доход подруг, так как у Сони не было никаких средств. Питались они главным образом хлебом и супом из кубиков "Магги", часто и голодали, но обратиться в общество вспомоществования бедным студентам мешала гордость. Сначала они гордились и передо мной. Как-то раз, не видя их на лекции, я зашла к ним в мансарду и застала их лежащими на постели в полутемной нетопленной комнате, в щели которой врывался холодный северный бриз.

Зина хотела встать и разыграть роль любезной хозяйки, но Соня, не выдержав, расплакалась, и, не слушая протестов Зины, рассказала, что они два дня не ели, что не на что купить уголь для камина и керосина для лампы. С несвойственной мне энергией я заставила Зину одеться и пойти со мной в ближайшую лавочку, где можно было достать все необходимое.

С тех пор, хотя я и не могла их уговорить взять у меня

взаймы хотя бы ничтожную сумму денег, они не отказывались от припасов, которые я приносила с собой.

Однажды Зина, страшно взволнованная, прибежала ко мне: "Соня отравилась! Пойдемте скорее". Я была в ужасе. "Как отравилась?!" — воскликнула я. "Приняла таблетки. Пойдем скорее, я не могу оставить ее одну". Я предложила позвать доктора, но Зина торопилась домой. "Боже мой, Боже мой! — шептала, приговаривала Зина, — Я виновата, моя вина". — "Да почему?" — недоумевала я. "Студент, который рядом со мной в лаборатории работает, пригласил меня в оперу, и я пошла. Соня вообразила Бог знает что. Как будто я не в опере была, а у него". Вне себя от волнения и горя, Зина забыла свою обычную сдержанность передо мной. "Как могла она подумать, что мне нужен кто-то кроме нее?" И прибавила решительно: "Если она умрет, и я умру".

Я не находила слов в ответ. К счастью, когда мы взлетели вверх по лестнице в мансарду, Соня уже пришла в себя. Таблеток оказалось достаточно лишь для того, чтобы погрузить ее в сон. Подруги бросились друг к другу с объяснениями в любви. Я почувствовала себя лишней и ушла.

После этого случая они обе стали сторониться меня и реже приглашали к себе. И опять закрылась дверца, которая приоткрылась было, допуская меня включиться в чужую жизнь. Передо мной встал новый вопрос: какие отношения были между Зиной и Соней? Может ли дружба довести до самоубийства из-за ревности? Или это была та "женская" любовь, о которой я смутно слышала, как о чем-то противоестественном и нехорошем? Перед лицом этой истинной драмы мои выдуманные, отвлеченные страдания показались очень маленькими. Я почувствовала себя счастливой, что я не знаю унижения бедности, что я свободна и одинока.

Я снимала комнату с пансионом в тихой швейцарской семье. Хозяйка не выпускала из рук пыльной тряпки, и дом сиял порядком и чистотой. Двое дисциплинированных детей школьного возраста сидели в своей комнате, готовя уроки. К обеду являлся глава семьи, краснолицый плотный швейцарец. Я его побаивалась, хотя он, вероятно, было добродушный человек. После обеда он уходил выпить кружку пива с приятелями, мадам опять бралась за полотенца и тряпки. В 9 часов все в доме спали. Мадам ценила меня за то, что я платила аккуратно и вела себя тихо и скромно. Она мне сделала комплимент, что я совсем не похожа на русскую. "Русские плохо говорят по-французски, не платят за комнаты, приводят к себе гостей и шумят дома и на улице". Про-

тив меня было только одно возражение — я долго жгла лампу в своей комнате. Когда я прибавила ей пару франков, мадам осталась очень довольна. В перерыве между зимним и весенним семестром одна из моих однокурсниц предложила мне поехать с ней в горы. Она сняла комнату в деревне недалеко от Лейзен. Деревня стояла на камнях, и все же там разводили огороды и виноградники, принося землю в больших корзинах из долины Роны, за несколько миль. Все трудились с утра и до вечера, но без жалоб, тихо и благопристойно. И дома и улицы блестели чистотой. Моя сожительница оказалась хорошим ходоком, и мы с утра уходили на прогулки. Часто мы сами не знали, куда идем, выбирая тропинку, которая нас манила. Иногда приходили к отвесным скалам, пробовали взбираться, иной раз удачно, иной — нет. Когда нам казалось, что мы пришли в самые дикие необитаемые места, вдруг перед нами вырастал отель, где мы могли поесть и переночевать. Вот тогда я оценила прелесть швейцарской природы. Я видела потом Швейцарию из окна туристского автобуса, но это было совсем не то. Чтобы почувствовать природу, надо полежать на зеленой траве, потрогать руками цветы и травы, послушать журчанье ручья и низкий перезвон колокольчиков невидимого стада, надо надышаться легким горным воздухом, насыщенным запахами цветов, надо походить ногами по неведомо куда ведущим тропинкам и вздрогнуть от восторга перед вдруг открывшимся синим озером в чаще гор. Когда мне хотелось остаться наедине с природой, я уходила одна, ложилась на душистую от нарциссов полянку в лесу, смотрела в небо и была счастлива. Счастье приходит, когда вдруг человек интуитивно ощущает свое единство с природой, свою цельность, слитность с миром трав, жуков и ручьев, когда он, как усталый сын, прижмется к коленям матери-земли и почерпнет от нее новые силы. Одиночество, на которое судьба обрекла человека, растворяется в радости сознания, что он — не один, что он живет и дышит вместе со всеми земными тварями и что он — лишь одна из них.

Я вернулась в Женеву отдохнувшая и более уверенная в себе. Как-то сама собой разрушилась стена, отделявшая меня от других, когда я перестала дичиться и чувствовать себя одинокой и несчастной.

В конце года профессор ботаники устроил трехдневную экскурсию в Шамони. Мы взбирались на гору более трех километров высотой. Привыкшие к горам швейцарцы шагали быстро и ровно, но нам приходилось трудно. Местами каза-

лось, вот-вот остановится сердце, но в самый последний момент раздавалась команда — отдых.

Постепенно, поднимаясь все выше и выше, мы проходили различные пояса флоры: лиственные леса, смешанные, хвойные, чудесные альпийские луга, душистые, затканные пестрым узором полевых цветов, мхи и лишайники с таинственным эдельвейсом (мы нашли только один) и, наконец, голые скалы с сияющими снегом вершинами. Временами профессор останавливал нас, давая объяснения, но я пользовалась остановкой, чтобы передохнуть и полюбоваться невиданной красотой.

Ночевали мы в пастушьем шале на сеновале вместе с коровами. Сонно бормотал протекающй вблизи ручей. Утром, умывшись студеной водой, пили из мисочек ячменный кофе со свежим самодельным сыром. Вытащили из рюкзаков пальто. Профессор объявил, что дальше дорога будет трудной, слабых и нервных он просит остаться и ждать его возвращения.

Дорога действительно была трудной. Связанные веревкой друг с другом, опираясь на палки с острыми наконечниками, мы влезали на крутые склоны, местами медленно продвигались по высеченной в скалах тропинке, слева — отвес горы, справа — бездонная пропасть. Красота все вновь и вновь открывавшихся ландшафтов потрясала, не оставляя места для страха. Последнюю часть пути мы прошли по глубокому снегу. Дух захватывало от величия вида, открывшегося с вершины. Монблан, казалось, совсем близко сверкал на солнце сахарными головами, глубокие борозды ледников прорезали могучее каменное тело. Живительный воздух, неомраченный дыханием жизни, веселил и бодрил. И вдруг наш убеленный сединами профессор, подогнув под себя пальто, сел и стремительно покатился вниз по крутому склону. С криками и гиканьем покатились за ним студенты. Я не помню, чтобы я когда-нибудь раньше испытывала такую радость жизни. К вечеру мы были обратно в шале и, присоединившись к оставшимся, провели еще одну счастливую ночь на сеновале.

Подошли экзамены. Мне пришлось прибавить еще два франка хозяйке за поздно горящий в комнате свет. Экзамены я выдержала хорошо, но главное, я чувствовала, что хоть и не без труда, но я выдержала и экзамен первой встречи с жизнью.

В Воронеж я приехала, чувствуя себя совсем взрослой. Ася была уже дома. Зиму она провела в Москве, принимая деятельное участие в студенческих волнениях. Под ее влиянием братья оставили кадетский корпус и перешли в реальное училище, готовясь по окончании поступить в один из высших инженерных институтов. Дядя смотрел неодобрительно на эти перемены, но, не желая себя расстраивать, особенно не протестовал. Он уезжал на каникулы в Крым, а мы все решили провести лето в деревне у бабушкиной сестры, бабушки Лизы. Один из ее сыновей был учителем в школе, которая и предоставлялась в наше распоряжение.

Бабушка Лиза, еще сохранившая следы былой красоты, мягкая и приветливая, немного побаивалась своей решительной старшей сестры. Муж ее, священник, умер, но она не была одинока, так как жила в любви и дружбе с многочисленными детьми: пятью сыновьями и двумя дочерьми. За исключением двух старших, женатых инженеров, остальные собирались на каникулы около мамы. Постоянно жила она у любимого сына Алеши, учителя, вместе с младшей дочкой, которая явилась на свет неожиданно, после пятнадцатилетнего перерыва. Из классов выносились столы и парты, ставились складные кровати, и все размещались. Было шумно и весело, о комфорте никто не заботился. Обе бабушки были превосходные хозяйки, и молодые аппетиты отдавали должное их искусству.

Школа стояла в стороне от деревни, близ помещичьего дома. Имение принадлежало богатому промышленнику П., который почти никогда не приезжал туда. Дом стоял заколоченный, с буйно разросшимися кустами жасмина и сирени вокруг. Полным хозяином имения являлся управляющий, живший с семьей во флигеле, рядом с примыкавшим к нему прекрасным парком, обрамленным тенистыми аллеями старых берез. Управляющий Л. И. — маленький, юркий, темпераментный поляк — был другом Алеши, и между школой и флигелем существала самая тесная связь. Жена Л. И. Таня, полная красивая брюнетка по прозвищу "мадамуся", отличалась способностью приходить в необычайное волнение от всякого пустяка, что служило мишенью для неиссякаемого остроумия обоих приятелей. "Сколько градусов кипения?" — осведомлялся приходя Алеша. У Тани было двое детей, за которыми смотрела бонна немка и сестра Л. И., сухонькая увядающая старая дева. Гостил у них брат Тани, здоровый, красивый студент-медик Борис.

Я наслаждалась отдыхом среди своих, родных, отсутствием ответственности за свои поступки, за принятые решения. Я с радостью подчинилась налаженному распорядку дня, не проявляя собственной инициативы. Если не было намеченной программы дня, я босиком, накинув легкий халатик, уходила в поле по меже между стен начинающей колоситься пшеницы и ржи. Стена, выше моего роста, совершенно скрывала меня, и я снимала халатик и подставляла тело горячим лучам. Лишь радостные песни жаворонков нарушали знойную тишину. Без конца и без края тянулись поля, широко и привольно раскинувшись до самого горизонта. После картинной грандиозности швейцарских гор незатейливая прелесть русской равнины казалась особо привлекательной. Там душа моя оставалась в смятении, замирая то от ужаса, то от восторга. Здесь все было простое, свое, задушевное, свой дом, своя земля. Я спускалась к оврагу по изумрудной мураве, вышитой ярко-желтыми лепестками лютиков, пила тепловатую воду из мелкого ручейка, ложилась в тени ивового куста, слушала жалобный крик чибиса и деловитое жужжание пчел. Чтобы понять полное значение слова "родина", надо хоть на время оторваться от нее и почувствовать это счастье возвращения.

В час мы обедали и до чая в 4 часа все отправлялись отдыхать. Отдыхать мне было совершенно не от чего, и никогда после я не испытывала такого длительного течения времени, как в эти три часа. Младшее поколение отправляли из дома, и наступала ненарушимая тишина летнего полдня. Я ложилась в гамак под березами, взяв с собой Гамсуна и многострадальную Эрфуртскую программу. Маруся и Ася, ужасаясь моей политической необразованности, просвещали меня. Но проповедь борьбы и ненависти абсолютно не увязывалась с окружающим покоем и миром, а главное, не могла соперничать с увлекательными страницами "Пана" или "Виктории", и, проскучав над двумя-тремя страницами "Программы", я погружалась в тонкое кружево, сплетенное Гамсуном из переживаний героев. И это кружево навсегда связалось с прихотливым узором березовых веточек на синем фоне неба, когда я, отрываясь от книги, смотрела вверх. Устав лежать, я вставала, бродила по саду, собирала клубнику и малину. А время все тянулось... Наконец появлялась кухарка с посудой и свежеиспеченными булочками, выносился большой самовар — чай пили в саду под березами, — и я радостно бежала созывать всех. После чая школа и флигель объединялись и придумывались развлечения. Мы отправлялись на прогулку

или катались верхом. Когда было все еще жарко, располагались в парке, и Маруся, прекрасная чтица, вслух читала нам последние рассказы Максима Горького. В дождливую погоду мы собирались в гостиной у рояля, играли, пели, мелодекламировали. Иногда спускались вниз, в комнатку Бориса, и он нам читал свои произведения в стихах и прозе — в том ненатуральном, утрированно-сентиментальном стиле того времени, который кажется теперь совершенно непереносимым. Тогда нам это нравилось и мы искренно хвалили молодого автора. Перед ужином приходили за расчетом поденные рабочие и девки, нанятые полоть свеклу, дикими голосами орали песни.

Нравы были вольные, но не испорченные, так как нельзя считать испорченностью здоровье, молодость и радость жизни.

Когда собирали в стога скошенное сено, мы любили взобраться наверх и долго лежали, глядя в усыпанное звездами небо, ловили глазами метеоры, успевая загадать желание, тихо переговаривались, иногда засыпали, не желая расстаться с очарованием ночи.

Любимым развлечением были поездки в Казаково, второе имение П., верстах в десяти-двенадцати. Тройка серых рысаков запрягалась в девятиместный шарабан. Мальчики помещались на козлах рядом с кучером, и с шумом, пением, шутками мы отправлялись в путь.

Казаково было большое благоустроенное имение, но также не посещаемое владельцами. Возвышался только что законченный трехэтажный величественный дом, с десятками комнат, подъемными лестницами и лифтами, стеклянными галереями, лепными высокими потолками и двусветными залами, со стильной мебелью, купленной у разорившегося вельможи. Прямое кресло-трон называлось Иоанновским, позолоченные ампирные креслица с штофными сиденьями и спинками, сделанными будто бы из шлейфов придворных дам, секретеры, овальные зеркала в затейливых точеных рамках, — все расставленное, как в антикварном магазине, не согретое присутствием людей.

Управительница Ирина Владимировна, высокая, величественная, затянутая в корсет, неизменно безукоризненно причесанная и одетая, бывшая институтка из тех, которые горды своим институтством, правила большим имением умно и властно... Делопроизводителем и "кавалерчиком", по словам Л. И., состоял при ней младший, наименее удачный сын бабушки Лизы.

После обеда, чопорного — хрусталь, серебро и наши лучшие манеры, — мы разлетались по парку и дому. Ирина Владимировна жила в отдельном "старом" доме. Она благоволила ко мне как институтке и, к моему отчаянию, оставляла меня поговорить за чашкой кофе об институтских временах. Хотя нас и разделяло целое поколение, в наших впечатлениях было много общего, с той лишь разницей, что казавшееся ей положительным мне казалось отрицательным. Отбыв повинность, я бежала догонять своих. Мы проводили чудесный день в стороне от строгих глаз Ирины Владимировны, деля время между парком и домом. Разыгрывали сцены из "придворной жизни" и смеялись до упаду. После церемонного чаепития отправлялись домой и с наслаждением возвращались к нашему "безманерному" существованию.

Это великолепное имение и многотысячный дом так и не увидели своих хозяев и до тла были сожжены крестьянами в 17-ом году. Так же ничего не осталось от уютного флигеля и векового парка, который был срублен на топливо. Кипящая жизнью "мадамуся" умерла от тифа в голодные годы, а Л. И. с семьей претерпел многие тяжелые испытания.

В Москве мы соединились с Женей, хотя и на разных курсах, она — на первом, я — на втором. Мы снимали комнатку в Козихинском переулке. Постарались сделать ее более привлекательной, украсив открытками и яркими осенними листьями, привезенными Женей из Любомира. Занятия шли не так усердно, как в прошлом году. Не было комфорта Женевского университета. Лекции шли в помещении в Мерзляковском переулке, частью в Политехническом музее, лабораторные занятия — в новом помещении на Девичьем поле, где аудитории еще не были закончены. А главное, было слишком много посторонних интересов.

Был Художественный театр. Каждая постановка воспринималась с восторгом и трепетом, обсуждалась и переживалась. Мы простаивали ночи в очереди за билетами. Я не думаю, чтоб когда-нибудь, где-нибудь артисты встречали такую благодарную, восторженную аудиторию. Голос Качалова, улыбка Книппер казались мне самыми прекрасными на свете. Пьеса была не только жизнью, но больше, правдивее самой жизни, как бы квинтэссенция ее. И душа так радостно подчинялась очарованию сцены, так охотно принимала вымысел за правду.

Потрясала игра Шаляпина — Мефистофель и Борис Годунов, пел Собинов — непревзойденные Ленский и Лоэнгрин.

Постоянно концертировали знаменитости. Устраивались публичные лекции на литературные и общие темы. Организовывались землячества и вечеринки, где под замысловатые "пашакона" или "па-де-катр" обсуждались мировые вопросы. Были собрания у Аси и Маруси, которые жили вместе, недалеко от нас. Там обсуждения методов грядущей революции принимали страстный характер, но в главном, неизбежности и необходимости социализма, сходились все. Ни у кого не возникало сомнений, что как только произойдет революция, настанет счастливое царство всеобщего равенства и братства. Если бы волшебная сила приоткрыла перед ними завесу будущего и показала достижения революции, они бы не возмутились, они ей просто совершенно бы не поверили.

Появился у Аси неистовый Андрей. Он нашел нового кумира, Ленина, и с пеной у рта доказывал, что только большевистский метод — истинный путь к революции. Несмотря на свои материалистические убеждения, эти революционеры были идеалистами чистейшей воды, не знающими жизни и лишенными опыта. Они не могли оставаться в стороне, оставить без протеста произвол и насилие правительства. Они считали своим долгом встать на защиту народа и они жертвовали то, что у них было — свои молодые жизни. Время от времени кто-либо из членов этой компании арестовывался или скрывался, переходя на нелегальное положение. Бывший английский посол в Петербурге Бьюкенен в своей книге о России высказал такую англо-саксонскую мысль: "русские студенты занимаются революцией оттого, что не занимаются спортом", т. е. от избытка сил. Спорт был действительно в полном презрении, как и вообще презирались все "несознательные": мещане, "белоподкладчики" и т. п., как пренебрегали связями, деньгами, удобствами. Ася к тому времени уже успела истратить свое наследство и, свободная от угрызений совести, перешла на пролетарское положение.

Конечно, нам, пережившим революцию и испытавшим на себе ее горькие результаты, легко судить и критиковать ошибки тех, кто ей способствовал, но тогда ничего не было видно, лишь розовый туман. Правда, провидец Александр Блок вещал в своих статьях ("Народ и интеллигенция") о грядущем хаосе: "Все на этой равнине еще спит, а когда двинется — все как есть пойдет: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам и церкви, воплощенные Богородицы, пойдут с холмов, и озера выступят из берегов, и реки обратятся вспять, и пойдет вся земля". Но кто же принимал серьезно слова поэта, к тому же символиста?..

Мы с Женей мало принимали участия в общих разговорах, но обсуждали их потом сами. Женя, которая выросла в деревне, вероятно, понимала мужиков лучше, чем профессиональные пропагандисты. Для нее они были не просто "народ", а конкретные Иваны и Семены с их бабами. Их дети были товарищами ее детских игр и теперь стали взрослыми мужиками.

— И что за вздор, — возмущалась она, — называть всех помещиков эксплоататорами. Для дяди Поля крестьянские интересы дороже своих. Сколько он построил школ, дорог, госпиталей. Там учатся и лечатся не помещики, а крестьяне. А сколько крестьян богатеет в то время, как мы беднеем. Все наши бывшие земли теперь в их руках.

Но выступать с такими речами в кругу Асиных друзей значило бы потерять себя в их глазах навсегда.

— Я ничего определенного не хочу решать для себя, — говорила я. — Я хочу остаться свободной в своих мыслях, в своих поступках. Почему я должна, как в башню, запереться в учение Маркса и Энгельса, когда вокруг столько интересного, столько надо знать, столько испытать... Я хочу сама для себя решать, где правда.

А вокруг действительно было так много всего, что мы едва успевали попадать на лекции и не заметили, как подошло Рождество. Женя уехала в Любомир, а я решила остаться, чтобы немного подогнать упущенные предметы. Но моим благим намерениям не суждено было осуществиться. Приехал из Писаревки В. М. и завладел моим временем на все две недели.

— Зиночка, — заявил он, явившись ко мне по приезде, — я покажу вам Москву, которой вы еще не видели. Только не возражайте, — остановил он меня. — Я наскучался в деревне, накопил денег и приехал их тратить так, как это мне доставляет удовольствие. Вы мне в этом поможете, вот и все. Никаких обязательств с вашей стороны.

В тот же вечер он приехал с билетами в оперу.

— У вас ничего нет надеть получше? — спросил он, оглядывая критически мою белую блузку и черную юбку.

— Я обыкновенно так хожу в театр, — ответила я, несколько обескураженная. — Правда, на балкон или на галерку.

— А мы идем в пятый ряд партера. Завтра же купим платье.

— Только за него я уж буду платить сама.

Я почувствовала себя очень смущенной, когда оказа-

лась среди блестящей толпы, на которую раньше смотрела сверху, с 5-го яруса. Нарядные дамы в вельветовых, бархатных платьях с длинными шлейфами, в сверкающих драгоценностях, мужчины во фраках и белых жилетах, все казались таинственными, красивыми и такими далекими от моего студенчески-пролетарского быта. И сцена и артисты представились моим глазам совершенно иными, не только жестикулирующие силуэты, а живые люди с мимикой и игрой.

После театра я собралась ехать домой, но В. М. не отпустил меня. "Ради Бога, Зиночка, не возражайте. Не портите мне удовольствия, — умолял он. — Поедем в Стрельну".

Лихач помчал нас по улицам Москвы, по белым аллеям Петровского парка. От быстрого движения захватывало дух, и снежная пыль слепила глаза.

В Стрельне мы пили шампанское и слушали цыган. Есть ли на свете искусство, подобное цыганскому пению?! Описать его я не берусь, это делали многие другие. Оно взяло в плен мое сердце. Я хотела слушать еще и еще, я не могла оторваться, не могла уехать, пока хор окончательно не ушел. Какие-то глубокие первобытные зовы пробуждались в душе, и тоска, тоска... Я не хотела ни о чем говорить, когда лихач мчал нас обратно в город. Я не позволила В. М. проводить меня до двери моей комнаты и долго лежала в темноте на постели, мысленно перепевая мотивы. Я заболела "цыганоманией". Куда бы мы ни шли вечером, ночью мы ехали в Стрельну или к Яру. Я не отдавала себе отчета, но чувствовала, что что-то страшно важное надо мне в себе разрешить, что-то, что будет ясно только потом. Это были совершенно абстрактные переживания, совершенно не связанные, например, с В. М. Он это чувствовал и не надоедал мне своим вниманием. Он тоже пил, молчал и слушал. Так созвучно, и вместе с тем каждый в себе, мы проводили время. У дверей моей комнаты я его целовала, и он ехал к себе в "Метрополь".

За эти две недели я действительно увидела новую Москву. Надев новое вельветовое платье и сделав высокую прическу, я была готова ко всем авантюрам. Мы побывали во всех театрах, в кабаре и ночных клубах, о существовании которых я и не подозревала. Без сомнения, мой жизненный опыт сильно расширился, так как вещи представились мне совсем под другим, непривычным углом. В последний вечер, прощаясь, В. М. спросил меня:

— Зиночка, не могли бы вы выйти за меня замуж? Я не говорю, что я в вас влюблен, но вы одна из тех редких женщин, с которыми хорошо молчать, которые не требуют позы,

ходулей, с которыми можно оставаться самим собой и не быть наедине. Вы не отвечайте сейчас, — перебил он меня. — Я ясно вижу, что вы в меня не влюблены. Но потом, может быть, лет через пять, когда вам захочется мужа и верного друга.

— Не знаю, что будет потом, -- покачала я головой, — но сейчас мне так важно все то, что я с вами видела и пережила... больше, чем вы думаете. И я вам очень, очень благодарна.

— Поверьте мне, что эта поездка стоила мне гораздо меньше, чем прежние. Надо сознаться, что в первый раз я провел две недели рядом с женщиной, которая меня, в общем, не замечала, для которой я был лишь средством, а не целью. Но я верю, что за это время между нами создалась большая связь, чем бывает от случайной физической близости. И я увезу с собой в памяти ваше лицо таким, каким оно было, когда вы слушали цыган.

После отъезда В. М. я принялась за свои запущенные дела. Встала рано, прибрала и почистила комнатку, вынула записки по физике. Странным образом я не чувствовала себя усталой от "беспорядочного" образа жизни, а освеженной и готовой продолжать жизнь с того момента, где она остановилась до Рождества. Рождество казалось главой из романа, по ошибке вплетенного в учебник физики, но следы, оставленные им, были глубоки. И в жизни открылись стороны, от меня до тех пор скрытые, и в моей душе оказались какие-то провалы и бездны, в которых я не умела дать себе отчета.

Женя вернулась нагруженная любомирскими припасами. Мы устроили чай для Асиных друзей, где добрая половина съестного исчезла под шумные разговоры. Но странное дело, безапелляционные утверждения и нападки на "буржуазию" не импонировали мне так, как прежде. Я видела себя в вельветовом платье в пятом ряду партера и не чувствовала угрызений совести.

Наша студенческая жизнь возобновилась: лекции, лаборатории, концерты, театр. Но почему-то 5-ый ярус казался мне выше, чем прежде, и, глядя вниз на сцену, я дополняла воображением то, что не достигало глаз.

Как всегда, Женины сердечные дела были в запутанном состоянии: тот, кому она нравилась, не нравился ей. Тому, кто нравился ей, не нравилась она. Был у нее один телефонный роман. Часами она занимала общий телефон в коридоре, но когда они наконец назначили друг другу свидание, сказать им было совершенно нечего. Женя очень любила душевные излияния, конечно, в ущерб своим и моим занятиям.

Чтобы помочь тетям платить за ее курсы, она решила

взять ученика. Долго мы выбирали объявления, наконец остановились на одном — мальчику 15-ти лет требовалась учительница языков. Женя хотела обязательно мальчика, так как у нее была своя теория: сначала надо, чтобы ученик влюбился, и тогда он уже будет учить уроки. "Наниматься" мы поехали вместе, она одна боялась. Великовозрастный купеческий сынок скоро постиг первую половину Жениной педагогической формулы, но вторая оказалась менее успешной — экзамена он не выдержал.

Подошла весна. Появились на улицах "яблоки мочены!" Заиграли во дворе шарманки, и татары громче запели свой "шурум-бурум". Мы готовились к экзаменам у открытого окна. Женя, постоянно отрываясь от книги, тосковала о Любомирских проталинках и ручейках.

В Вербную субботу мы пошли к вечерней службе в Храм Христа Спасителя и донесли домой зажженные свечечки. В воскресенье отправились потолкаться по бульварам и Красной площади, превращенным в вербную ярмарку. На Тверском бульваре я купила за два рубля полное собрание сочинений Тургенева. На Варварке и на Красной площади сплошная толпа народа покупала вербочки, свистульки, чертиков, тещины языки, дешевые сладости. Раз попав в водоворот, мы уже лишились своей воли. По нашим спинам хлопали вербой, приговаривая: "Верба хлёст, бей до слёз", в лицо нам тянулись тещины языки, хлопали хлопушки, свистели свистульки. На мгновенье стало страшно, когда два парня, показалось, больше чем нужно сжали нас, но тут же идущий сзади молодец в поддевке оттолкнул их: "Проходите, мамзели, не бойтесь!", и он галантно расчистил нам дорогу до тротуара. Выбрались мы из толпы помятые и усталые, но веселые.

К заутрене большой компанией отправились в Кремль, залитый огоньками иллюминации, с сияющим наверху крестом. Смотрели, как подъезжали нарядные дамы и мужчины и проводились в церковь. Кремлевская площадь наводнялась народом, не попавшим в церкви или просто желающим посмотреть и послушать пушку. Наконец радостное "Христос Воскресе" донеслось до нас, показался крестный ход под веселый перезвон сорока сороков московских церквей. Невозможно было остаться равнодушным зрителем. Душа ликовала и открывалась навстречу всеобщему торжеству. Даже лица Асиных товарищей потеряли свое скептическое выражение, и они христосовались вместе со всеми. "Христос Воскресе!" — робко подошел ко мне молоденький студент, который поглядывал на меня на вечеринках, не решаясь по-

дойти. Потом, когда мы познакомились, он признался, что ждал этого случая целый год.

Из Кремля мы пошли бродить по праздничной Москве и только к утру пришли на квартиру Асиной знакомой, где в складчину было приготовлено разговенье.

Экзамены я выдержала, но Женя пересдавала анатомию растений три раза. В конце концов она подружилась с экзаменатором, милым добродушным старичком, и он приходил к нам пить чай.

Лето я провела в Любомире среди ласковых людей, полей и пригорков. В. М., очень занятый полевыми работами огромного хозяйства, изредка наезжал. Иногда мы с Женей добирались до Писаревки. Там была все та же миловидная домоправительница. В. М. был очень дружественен и мил. Сеансы флирта больше не повторялись. Временами он только взглядывал на меня сообщнически хитро, как будто он знал что-то обо мне, чего не знали другие и даже я сама.

— Так через пять лет? — полувопросительно произнес он, когда приехал проститься перед нашим отъездом.

Осенью Ася вышла замуж за студента-техника Санечку Н. По настоянию бабушки она венчалась в церкви, несмотря на протесты своей компании, видевшей в этом измену революционным принципам. У Санечки были огромные карие глаза, которыми он выразительно сверкал, и абсолютный музыкальный слух. Несмотря на то, что профессора консерватории предлагали давать ему уроки бесплатно, он никогда не выучил нот. Он был один из тех, кто избирал в жизни более легкий путь. Музыка открыла ему сердца и двери. Где бы он ни видел рояль, он садился и играл, поблескивая глазами на очередной предмет женского пола, неизменно стоящий рядом с инструментом. Он зарабатывал тем, что играл в кинематографе во время сеансов, и многие приходили не из-за картины, а чтобы послушать его игру. Несмотря на то, что он считал себя социалистом, он был типичным бонвиваном. Заработав несколько рублей, он шел в хороший ресторан и всегда щедро оставлял на чай. Заняв у Аси деньги, он приносил ей цветы и конфеты. Она его очень любила, но не была с ним счастлива. Через два года они разошлись, и, чтобы окончательно порвать с прошлым, Ася уехала с семьей богатого чаепромышленника в Китай в качестве воспитательницы его двух детей.

Зимой появился у нас Борис, который был на последнем курсе медицинского факультета, и стал нашим частым

гостем. Борис был очень красив и очень талантлив: он писал, лепил, рисовал. Но все его таланты оставались в латентном состоянии, алмазы, не отшлифованные в бриллианты, так как сосредоточенности, усердия, трудолюбия, необходимых для превращения талантов в реальные ценности, у Бориса не было. И он слишком любил жизнь живую, для того чтобы отрывать время для жизни воображаемой — искусства. Отец его умер, когда он был еще в гимназии, оставив мать без средств с многочисленной семьей, так что он сам должен был зарабатывать себе на жизнь. В университете он получал 25 рублей стипендии, на которые и существовал. Он жил с товарищем в маленькой комнате на Девичьем Поле, питался в дешевой студенческой столовке (подкармливала его посылками сестра Таня), отшагивал, не пользуясь трамваями, огромные московские расстояния, имел одно пальто на все сезоны (мы прозвали его "онегинским" за старомодный фасон) и был здоров и весел.

Он не искал женщин, женщины сами находили его. Всегда около него была страждущая женская душа, требующая любви и внимания. Борис был добр и не имел духа сразу оборвать надоевший роман, этим только ухудшая положение.

Как-то само собой вышло, что наши поцелуи перешли в более близкие ласки. Я пошла на это с легким сердцем и попалась в подставленную мне природой ловушку. Мы решили, что будем любить, не стесняя свободы друг друга, не мешая занятиям, не вмешиваясь в личную жизнь, радостно встречаясь, когда нам захочется, и расходясь без сожаления. Борису было легко исполнять эти условия, так как для него любовь никогда не была самым главным в жизни, и себя до конца он не отдавал никогда. Но для меня задача оказалась невыполнимой, совершенно противной моей природе и природе вообще.

Отдача себя оказалась актом не только физиологическим, но глубоко психологическим: я перестала себе принадлежать. Вместе с телом я отдала Борису и душу — свои мысли, желания, надежды. Свобода и любовь показали себя совершенно несовместимыми. Любовь отняла у меня свободу, которая оказалась мне совершенно не нужна, так же как и моя самостоятельность. Я хотела только одного — разделить каждое мгновение жизни Бориса, все его мысли и желания. Как будто любовь вычистила мозг и сердце от всего, что их занимало раньше и готова была их наполнить новым, ЕГО, содержанием. Я вдруг стала пустой, не своей, его рабой. Я испугалась своего состояния, я пыталась с ним бороться, скрывая его от Бориса. Гордость не позволяла мне сознаться, что без него я не прово-

дила весело время, а только ждала, ждала, когда он позвонит или придет. Я ревновала его к каждому мгновению, проведенному им без меня, к каждой действительной или воображаемой женщине. Но между нами было условлено, что ревность — постыдное чувство, которого не должно быть у нас, и, встретив его как-то на улице под руку с высокой блондинкой, я весело им улыбнулась. Дома я разрыдалась безудержно от отчаяния и боли. Я дала себе слово, что это — конец, завтра же я скажу Борису, чтоб он больше не приходил. Но одна мысль о том, что я его больше не увижу, причинила мне такую сердечную боль, что я еще больше ужаснулась, сознавая, что жить без него я не могу.

Вот когда я поняла, о каких безднах и муках сердца говорило цыганское пение.

Ничего не было, в сущности, особенного в моих переживаниях. Я любила Бориса и, естественно, хотела, чтобы он стал моим мужем, хотела нормальной семейной жизни. Если бы Борис, прямой и честный человек, об этом знал, он, вероятно, нашел бы решение: мы или поженились бы, или разошлись. Но я продолжала тщательно скрывать от него все, что, по моему мнению, не нравилось бы ему во мне, и разыгрывать принятую на себя роль счастливой, непритязательной подруги.

Немудрено, что в конце концов беспрестанно подавляемые эмоции довели меня до нервного расстройства. Я перестала есть, спать, мозг мой отказывался воспринимать прочитанное.

Женя, которая жила с тетей Муней, проводившей зиму в Москве, смотрела на меня с сокрушенным сердцем, рвалась мне помочь, но я, под страхом прекращения нашей дружбы, запретила ей говорить с Борисом обо мне. Застав меня както перед открытым учебником зоологии в отчаянии от того, что я ничего не понимаю и не запоминаю, она умолила меня бросить все и уехать в Любомир.

— Тетя Муня едет после Пасхи, поезжай с ней. Перенеси экзамены на осень, ты все равно их провалишь. Ты поправишься, и тебе все будет казаться иначе. Через месяц и я приеду.

— Хорошо, я поеду, — решилась я. — Борис говорил, что должен вплотную засесть за подготовку к экзаменам и редко сможет приходить.

Узнав о моем приезде в Любомир, приехал В. М.

— Ну как, Зиночка? — спросил он, испытующе глядя

на мое бледное, похудевшее лицо.

Я почувствовала, как под его взглядом у меня задрожали губы и слезы подступили к глазам.

— Плохо, — ответила я.

— А он?

— Он? Он — хорошо... Вспоминала вас. Ужасно хотелось к цыганам и не с кем было поехать.

— Ну что ж... Когда-нибудь надо становиться взрослой, — сентенциозно заметил В. М.

Месяц я провела главным образом на полянке у ручья, ища исцеления своим горестям у ласковой матери-земли. Зеленая и душистая была она, приветливо-нежаркое еще солнце, неомраченное майское небо... Озабоченно суетилась в траве мелкая тварь, хлопотали птицы, свивая гнезда, с утра до вечера трудились все в доме. Тетя Муня поила меня парным молоком, тетя Женя приносила свежего меду, тетя Надя пекла свежие булочки к чаю...

Когда в кустах цветущей сирени запели соловьи, я почувствовала себя здоровой.

В июне я получила письмо от Бориса из Пятигорска. Он получил там несколько массажей и звал меня поехать. Женя меня отговаривала, но я поехала.

Месяц в Пятигорске был месяцем счастья и всегда потом казался мне не реальностью, а сказкой. Борис разыскал совершенно необыкновенный домик, который мы прозвали "пряничным". Он был построен из необлицованного дикого камня, низенький — голова Бориса почти упиралась в потолок, — с земляным полом, железными прутьями на окнах. Раньше там было какое-то денежное хранилище. В одной комнате, побольше, была русская печь, кухонный стол и два стула, в другой — кровать. Домик стоял в стороне от большого дома, во дворе, под развесистым каштаном. Мы никогда не видели никого из обитателей большого дома. Прислуживал нам седой как лунь дед Лукьян. Он ставил нам самовар, ходил за провизией и получал с нас деньги. Борис смастерил из кирпичей какое-то подобие печки, где на древесном угле мы готовили обед. В первую же прогулку за город мы принесли охапки веток, травы и цветов. Ветки прикрепили к окнам, дверям и стенам, разбросали траву на пол, а в выпрошенные у Лукьяна старые банки я поставила по углам букеты красных маков.

Утром Борис уходил на работу на пару часов, я в это время готовила что-нибудь незатейливое, что можно было взять с собой. Потом Борис забирал свой альбом и краски,

и мы отправлялись до вечера в горы. Жаркое солнце нас не смущало, но после зноя степи так отрадна была прохладная лесная тень в горах. Борис рисовал, иногда я читала ему вслух Гамсуна или лежала, следя глазами за кружащими над вершиной Машука орлами, или собирала красные маки, которые, как красные скатерти, сплошь покрывали поляны. Деликатные розовые метелочки цветущих мимоз источали сладкий медовый запах. Борис откладывал кисть, и мы дремали в прохладе кустов. К вечеру мы возвращались домой усталые, напоенные солнцем, воздухом и счастьем.

В 8 часов мы отправлялись в городской сад на симфонические концерты. Оркестр был прекрасный, под управлением Плотникова, одного из дирижеров Большого театра, из столичных музыкантов, которые соединяли работу и удовольствие пожить на курорте. Часто наезжали и знаменитости — солисты.

Перед отъездом в Пятигорск я выписала из Москвы несколько красивых платьев, у меня была хорошенькая шляпа с розами и тюлем, и мы, вероятно, представляли привлекательную пару, — старушки нам улыбались и незнакомые приветливо поглядывали в нашу сторону.

Старички с палочками, приехавшие лечиться на воды, совершали свой моцион по аллеям парка. Парочки ютились на скамейках боковых дорожек. В клубе играли в карты. Шла своя курортная жизнь, в которую мы не включались, и после концерта торопились в наш пряничный домик.

Однажды мы отправились на Бештау. Пока мы поднялись на вершину и спустились, начало темнеть. Страшная грозовая туча надвигалась с горизонта.

— Надо торопиться, — забеспокоился Борис, — иначе нас застанет в поле гроза.

Но как мы ни торопились, гроза разразилась, едва мы вышли в степь. Обнявшись, мы зашагали в совершенной темноте, разрезаемой всполохами молний. Под ударами грома разрывалось над головой небо. Проливной дождь больно хлестал сквозь намокшую одежду. Набухшие грязью ноги скользили по неровной почве. Но мы продолжали идти, не убавляя шага. Я видела, что Борис встревожен, но сама не чувствовала ни тени тревоги. Мы с Борисом были одно, связанное ритмичным движением размеренного шага, в таком абсолютном двойном единстве, как будто мы были первые люди первозданного хаоса и никого другого кроме нас не было на земле. Для нас бушевали расходившиеся стихии, и душа поднималась от земли и в экстазе апокалиптической грозы и

бури стремилась оторваться от тела. Любовь и смерть были лики одного божества, и умереть от любви, от разорвавшейся молнии казалось высшим счастьем, — лишь бы вместе, слитыми воедино.

Наконец забрезжили огни города. Дождь поредел.

— Ты молодец! — похвалил меня Борис, когда мы, оставив грязную, промокшую одежду на пороге, вошли в домик. — Ведь мы сделали десять верст под дождем в темноте.

— Я даже не устала. Мне было хорошо. Только жалко, что нас не убило молнией, — прибавила я к удивлению Бориса.

Несмотря на все данные для того, чтобы простудиться, я даже насморка не схватила.

Постепенно приближался день моего отъезда, и мне становилось все печальнее. Я уезжала в августе, чтобы иметь время подготовиться к экзаменам. Борис через пару недель ехал прямо в Петербург, где он получил предложение заменить на год одного врача во время его поездки за границу.

Любовь моя болела. Так трудно было оторвать себя от него... Все мое существо стремилось быть вместе с ним, бросить курсы, жить с ним в Петербурге. Но я твердо знала, что этого нельзя делать, что если я поеду с ним, я навсегда останусь только тенью его. Даже если мы поженимся, я потеряю себя, я ничего не достигну для себя. Вероятно, так поступила моя мама и страшно за это поплатилась.

В бессонные ночи я всматривалась в лежащего рядом Бориса. Он любил меня, был счастлив со мной, но не окончательно, не навсегда. Он был сам по себе, он никак не растворялся во мне, как я в нем. И я думала о том, какая страшная сила — любовь. Всепоглощающая, она порабощает себе все эмоции, все мысли. Она, как болезнетворная опухоль, захватывает себе чужие клетки, разрастается в чужие ткани, и организм погибает от нарушенного баланса. Любовь иррациональна, так как действует вопреки разуму и логике, она делается их господином, она диктует им поступки, противные здравому смыслу. Любовь требовательна и деспотична. Я отдала себя, но и его я требую взамен, со всеми чувствами и мыслями, со всеми днями и ночами. И я страдаю, оттого что у него не мои, а свои мысли, не мои, а свои чувства. Как паразит, любовь жаждет прилепиться к чужому телу и высасывать из него силы и соки. Любовь слепа и ревнива. Она закрыла мои глаза на все, что не он, но я хочу, чтобы он тоже не видел ничего, кроме меня. Любовь экстравагантна, она знает только крайности: или возносит на вершину счастья, или повергает в пропасть отчаяния. И любовь сродни смерти. В минуты экстаза она поды-

мает душу над землей, увлекает в миры иные, в небытие. Вернувшись на землю, душа тоскует и плачет. Любовь печальна. И если я хочу удержать Бориса, нельзя отдаваться во власть любви. С ней надо бороться, урезать ее, ограничивать, вгонять в берега. Как и волю, ее надо воспитывать. Любовь непокорна, она больно сопротивляется попыткам ее укротить. Но покоришься ей — и пропадешь.

В Москве мы с Женей опять устроились вместе. От Бориса приходили частые письма, иногда целые поэмы в стихах или прозе. Пару раз он приезжал в Москву, пару раз я ездила в Петербург. Братья были уже студентами Горного института и старались развлекать меня, когда Борис был занят. Для него Петербург был домом, так как он жил с матерью, братом и сестрой. Там же жила его замужняя сестра. Но для меня Петербург всегда оставался далеким и чужим, так же как и родные Бориса, и я с удовольствием возвращалась в "свою" Москву.

Поистине пути любви неисповедимы. Женя влюбилась в худого, некрасивого, белобрысого, в очках, типичного интеллигента. Он окончил филологический факультет и служил в государственном архиве. Он был совершенно равнодушен к женскому полу, очень предан своей работе. После работы он любил зайти в пивную с кем-либо из коллег и там продолжать разговоры на интересные для них темы. Жене с трудом удалось обратить на себя его внимание. Она откопала какие-то старинные записки ее дедушки и принесла показать их Виктору. Тот заинтересовался. Женя делала все, что было в ее силах, чтобы перенести интерес с дедушки на себя.

— Я уверена, что на этот раз это окончательно, — уверяла она меня, — и я не успокоюсь, пока не женю его на себе. Пусть сейчас он женится по рассеянности, я заставлю его полюбить себя потом.

Виктор женился, но не переменился. Архивы и разговоры с друзьями в пивной остались по-прежнему его главными интересами. Часто вечерами Женя уходила и стояла у дверей пивной, поджидая мужа. Но все же она продолжала любить и надеяться. Я горячо убеждала ее не бросать занятий. Ведь осталось только полтора года. Часто я брала свои книги и приходила к ней, чтобы побудить ее к занятиям, но надолго не удавалось завладеть ее вниманием. Она была совершенно поглощена проблемой — как пробудить своего "спящего принца", как отвлечь его от архива и пива.

— Увезу его летом в Любомир. И ни одной книжки не поз-

волю взять с собой. Пусть там хоть откормится. Я боюсь, что у него туберкулез разовьется от архивных подвалов.

— Боюсь, что путь к сердцу твоего Виктора лежит только через архивные подвалы, — комментировала я.

Я оказалась права. Через пару лет Виктор "проснулся", но не для Жени, а для своей секретарши, которая помогала ему разбираться в архивах. Бедная Женя совсем почти перестала его видеть. После пивной он отправлялся провожать секретаршу и засиживался там. Через два года Виктор умер от туберкулеза.

Мои выпускные экзамены прошли хорошо, и я отправилась в Воронеж, куда к этому времени приехала из Китая Ася. Привольная жизнь среди богатых людей переродила Асю. Она излечилась от увлечения революционными идеями, пополнела, похорошела, стала очень хорошо одеваться. У нее был жених, который занимал видное положение в Ханькоу, и она приехала повидаться с нами, сделать себе приданое и познакомиться с матерью жениха, знатной московской барыней. Белье шилось из самого тонкого полотна и вышивалось в монастыре. Монашки были великие искусницы на вышивки.

Каждое утро Ася получала срочную телеграмму от жениха, неизменно кончавшуюся словами "целую крепко". Это "крепко" выводило скупого дядю из себя. "Каждое слово — 75 копеек, а он ее целует, да еще крепко". Такая бесполезная трата денег была выше его понимания. "20 слов по 75 копеек!.."

Санечка, который работал в Воронеже на каком-то инженерном предприятии, увидел Асю в театре в белом кружевном платье с розами и широко открыл свои и без того большие глаза. Он принялся ревностно за ней ухаживать. Наш Бекеровский рояль стонал под страстными излияниями Шопена в Санечкиной интерпретации. Он умолял Асю вернуться к нему, называл себя глупцом и слепцом, но она только подсмеивалась над ним и читала ему телеграммы жениха.

Через три месяца Ася уехала в Китай. Я не дождалась ее отъезда, так как неожиданно получила телеграмму от Бориса, который, решив подработать, взял место эпидемического врача по борьбе с холерой и был назначен в Самарскую губернию. В телеграмме стояло: "был болен холерой. Поправляюсь". Несмотря на протесты родных, я немедленно собралась ехать. Я не очень доверяла этому "поправляюсь" и знала, что никогда не простила бы себе, если бы осталась.

Путь был далекий и путаный, со многими пересадками, с ожиданием поездов, что при моей тревоге и нетерпении было очень мучительно. Наконец я попала в Хвалынск, переехала на пароме на другую сторону Волги, где я рассчитывала, что меня будут ждать лошади или посланный от Бориса, как я его просила сделать в телеграмме. Но никто меня не встретил. Мужики, переправившиеся со мной на пароме, разъехались. Я осталась одна. До села Никольского, где жил Борис, было 25 верст. Как-то мне надо было добраться к нему. Я постучала в окно ближнего к пристани домика. Никто не ответил. Я заглянула в сарай. Там работник лениво раскладывал какие-то тюки.

— Нельзя ли мне достать лошадей в Никольское? — спросила я.

— Лошадей нету.

— Но как же мне туда попасть? Я — жена доктора. Не присылал ли он за мною лошадей сегодня? Или, может быть, вчера.

— Никого не было.

— Вы наверное знаете, что здесь не у кого достать лошадей?

— Наши туда не ездиют. Там — холера.

На этом наш разговор кончился. Я вышла, села на лавочку у пристани, мучительно думая, что мне делать. Вернуться в Хвалынск, дать оттуда телеграмму и ждать, пока Борис вышлет лошадей? Это может занять двое-трое суток... Идти пешком? Боже мой, какая безотрадная расстилалась передо мной картина. Загорелые дали, колеблющиеся в начинающем нагреваться солнцем воздухе. Пустые, голые, выжженные зноем и засухой поля. Пыльная лента дороги. Ни кустика, ни деревца, ничего, кроме пыльного бурьяна в канавах.

Начинало припекать. Я снова вошла в сарай и увидела, что работник запрягает лошадь в телегу, нагруженную ящиками.

— Куда вы едете?

— Медикаменты отвозить.

— Не будете ли проезжать Никольское?

— Не совсем буду, но близко.

Я, как утопающий за соломинку, ухватилась за возможность выбраться из этого мертвого места.

— Подвезите меня, пожалуйста, я вам заплачу пять рублей.

— Куда же я вас посажу? У меня места нет.

— Ничего, я устроюсь. Я сяду вот здесь, на ящике.

Пять рублей соблазнили возчика и, хоть ворча и неохотно, он помог мне взобраться на ящик. Я кое-как прилепилась спиной к лошадям, свесив ноги позади телеги. Мы поехали. Я тряслась на жестком ящике по ухабистой проселочной дороге, крепко ухватившись за его края, чтобы не выпасть. Вырывающиеся из-под колес клубы пыли, как облаком, обволакивали меня, мелким порошком покрывали лицо, лезли в рот, нос, глаза. Я попробовала прикрыть лицо носовым платком, но нельзя было дышать. Солнце подымалось выше. Это не было ласковое солнце Любомирских равнин, благодетель и податель жизни. Это солнце было жестокий враг, неумолимый убийца. Как могучий, рыжий лев в пустыне, оно гуляло по знойному небу, пугая все живое: притаились в норах мелкие степные зверьки, попрятались птицы. Потрескалась от жажды побуревшая земля, выжженные, мертвые тянулись поля.

Почему не приехал Борис? Все еще болен? Жив ли он?

Я попробовала заговорить с возчиком. Он на все отвечал угрюмым незнанием. Он ни разу не обернулся в мою сторону и, казалось, упади я с воза, он, не останавливаясь, поехал бы дальше.

Лошадь плелась не быстрее пяти верст в час. Пять часов... Хватит ли сил?

Зной, казалось, проникал в самые поры тела, растоплял ткани и мозг. Кровь стучала в висках. Грязные струйки пота стекали вниз по шее. Мучила жажда. Болела от неудобного положения спина. Если бы был какой-нибудь выход, мое положение было бы невыносимым, но так как выхода не было, я должна была его выносить. Так необходимость создает героев: нет выбора, нет выхода. Куда же свернешь, если открыт только один путь?

Мало-помалу какая-то летаргия безнадежности овладела мной. Ничем не нарушалась монотонность медленного движения, ни монотонность пейзажа, как будто мы стояли на месте — все те же загорелые дали, ржавые поля, знойное небо. Я перестала верить, что мы когда-нибудь куда-нибудь приедем. Как в одной из пыток ада, я буду ехать и ехать без конца на тряской повозке, под палящим солнцем.

Нас обогнала тройка, т. е., вернее, она "обогнала" меня, а возчику она была встречной. С удивлением и завистью проводила я глазами это явление из другого мира. Есть люди, которые могут себе позволить роскошь быстрой езды в крытой повозке! Если бы я смотрела не назад, а вперед, я, может быть, остановила бы ее, спросила, как далеко еще ехать, по-

просила бы пить. Но тройка умчалась, как будто это был только мираж в пустыне.

Прошло время — час? или несколько часов? — и я снова увидела тройку. На этот раз она догоняла нас, т. е. мчалась навстречу мне. Поравнявшись с нами, она круто остановилась, и из повозки выскочил человек. Это был Борис. Он прежде всего набросился на возчика — как тот смел везти меня в таком виде.

— Он не хотел, я сама его упросила, — заступилась я, незаметно всунув возчику 5 рублей.

Через минуту я и мои вещи оказались в повозке, и лошади подхватили и в несколько минут оставили позади мою злосчастную "карету".

Все оказалось просто. Телеграмма задержалась. Как только Борис ее получил, он бросился на пристань, но я уже уехала.

Нервы мои не выдержали такого быстрого перехода из ада в рай, и я, не говоря ни слова, расплакалась.

Мы приехали в Никольское, когда уже стемнело. Борис занимал просторную бревенчатую избу, одна половина которой служила аптекой, а в другой, кроме обычных стола и скамеек, стояла "господская" кровать.

Румяная баба, которая прислуживала Борису, встретила нас с самоваром, но я употребила его, чтобы обмыть с себя пыль и грязь в деревянном корыте.

— Я вам, барыня, завтра баньку истоплю. Веничком попаритесь, — вызвалась баба. — Чтой-то она у тебя какая белая, да худая, — с неодобрением заметила она Борису.

В этой избе Борис и перенес холеру. Сам себя лечил. Один только раз наехал коллега с соседнего участка. Выжил, конечно, не благодаря лечению, а своему богатырскому организму.

Собственно, никакого лечения от холеры и не было. Старались дезинфекционными мерами предупредить ее распространение и хоронили умерших.

Село Никольское стояло как бы в центре блюда, замкнутого со всех сторон горизонтом. Безжалостно оно было отдано в добычу солнцу — ни кустика, ни деревца, — зной и пыль. И запах дезинфекции, который преследовал всюду. Она прибавлялась в воду, которой умывались, мыли посуду и полы. Надо было соблюдать строгие предосторожности, чтобы избежать заразы: все тщательно мыть, чистить, не есть сырых овощей и фруктов. Я только с завистью смотрела,

как Борис, которому нечего было бояться, уплетал арбузы и дыни.

Скучное было село Никольское. Из окна избы, которое выходило на главную улицу, видны были похоронные процессии, отправляющиеся из церкви на кладбище. Интеллигенция состояла из очень неинтересной семьи священника и робкой учительницы, которая иногда к нам заходила и сидела молча. Были на селе богатые мужики, которые жили в хороших избах, иногда с предметами городской обстановки. Они звали нас в гости, и их бабы приходили меня занимать, когда Борис уезжал. Это внимание было тягостно, так как я совершенно не знала, что с ними делать. Потом я придумала играть в карты, и стало немного легче. Я завидовала Борису, который чувствовал себя в этой среде легко и просто. Находил, о чем говорить и пошутить, и был очень популярен. Я же выдавливала из себя редкие фразы и все придумывала, что еще сказать.

По ночам доносилось заунывное молитвенное пение: вдовы и отроковицы в белых рубахах впрягались в соху и опахивали еще не зараженные холерой кварталы.

Я пробовала заняться хозяйством. Но меню наше было чрезвычайно ограничено — яйца и курица. У Бориса после болезни аппетит был чрезвычайный. Он легко съедал яичницу из десяти яиц, а на обед курицу, от которой мне доставалось лишь крылышко или ножка.

Однажды, когда Борис уехал, пришла баба с большим животом под платком. Кланяясь, она просила меня:

— Муж у меня заболел, так ты проси свово-то, чтоб лечил его хорошо.

Вдруг в животе ее что-то заворочалось, закудахтало, и она извлекла оттуда курицу.

— Это я гостинчик принесла, значит, чтоб лечил хорошо.

Я растерялась, просила ее взять курицу назад, и так, мол, мой хорошо будет лечить. Но баба не хотела меня слушать и ушла, оставив свой подарок. Борис очень был потом недоволен, но вернуть курицу не могли, так как я не знала ни как эту бабу зовут, ни откуда она пришла.

Наконец пошли долгожданные, пропустившие все сроки дожди. И как больному в жару обильный пот приносит облегчение, так и земля после дождя встрепенулась и ожила. Зазеленела степь и, перепутав сезоны, зацвели весенние цветочки.

Борис стал брать меня с собой в поездки по уезду. Вскоре и эпидемия пошла на убыль, и в начала сентября мы покинули Никольское. Так как у Бориса контракт был до кон-

ца сентября, то оставшиеся три недели мы решили прокутить. Проехали по Волге до Самары и там остановились. В то время нелегко было истратить 10 рублей в сутки (жалованье Бориса). Мы платили за номер в лучшей гостинице 3 рубля, за обед по рублю, столько же за ужин. Развлечений, кроме кино, никаких не было.

Гостиница была типично провинциальная, с зеркалами в золоченых рамах, коврами и пыльными искусственными пальмами. Во время обеда и по вечерам играл дамский оркестр, особенно они любили увертюру из "Сельской чести".

Ни окрестностями, ни достопримечательностями Самара похвалиться не могла и, прожив там дней десять, мы сели на розовый пароход компании "Самолет" и отправились вверх по Волге. Стояли чудесные дни бабьего лета, пароход неторопливо, но споро продвигался, оставляя искрящийся на солнце след. Плыли мимо то пологие, то холмистые берега. Мы выходили на остановках и покупали предметы местной продукции. Публика на пароходе была главным образом среднего, торгового класса, деловая, погруженная в коммерческие разговоры и расчеты, с солидными женами и упитанными детьми. Стерляжья уха, подернутая янтарным жирком, была замечательна, так же как и солянка из осетрины.

Не хотелось приезжать. Так умиротворяюще было чувство отрешенности, свободы без всяких забот о прошлом и будущем. И моя любовь к Борису приобрела новый оттенок: мне было с ним спокойно и хорошо.

Зиму мы опять проводили не вместе: Борис возвращался в Петербург, я осталась в Москве.

Хотя он и звал меня поехать с ним, но я знала, что там мы не будем счастливы. Слишком много было острых углов, которые больно ранили: его родные, его знакомые и друзья, — вся его прошлая жизнь, в которой мне не было места.

Летом Борис получил место земского врача в Соликамском уезде Пермской губернии. Мы поехали вместе. Село Юсьва, севернее Соликамска, оказалось неожиданно большим и торговым. Коренное население, пермяки, угрского племени, сохранили в своем языке многие слова общего с финскими корня. Это был честный, трудолюбивый народ, занимающийся сельским хозяйством, охотой и работой на лежащих в округе железоделательных заводах. По воскресеньям они собирались в Юсьве на базары, где продавали предметы собственного изделия: холсты, глиняную посуду, игрушки.

Холст приносился невестой в приданое, и чем больше холста, тем желаннее невеста. А так как тканье требовало времени, то девушки не торопились замуж. Женихи не хмурились, если невинность долгого девичества нарушалась кем-нибудь помимо них. Они даже предпочитали женщину, у которой были внебрачные дети, так как это доказывало ее плодородие. Детей вообще любили и баловали, и они росли здоровыми и крепкими.

Я почувствовала себя так, как будто вернулась в Алапаевск своего детства. Те же мягкие очертания невысоких Уральских гор, леса лиственниц, сосен и елей, густо устлавших землю хвоями, приветливые полянки на берегу быстрых холодных ручьев, ландыши, колокольчики и кремовые головки душистой кашки. Тот же запах нагретой солнцем хвои, таинственная манящая вглубь тишина. И вдруг прокукует кукушка. ''Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?..''

Лес кишел дичью: рябчики, тетерева, черные с красными надглазницами красавцы глухари. Тучи диких гусей и уток летали и плавали в озерах и запрудах рек. Кулички черными точками пестрили берега. Медведи, лисы, волки водились в чаще; зимой они нередко подходили к селу, причиняя немалый вред.

Несмотря на отсутствие дорог, дальность расстояния — от Соликамска около 250 верст, от ближайшей пристани Усть-Пожвы на Каме 75 верст, — в Юсьве не было глухо. Были учителя и учительницы. Был даже один студент. Фельдшер и его жена фельдшерица. Мы часто устраивали пикники с самоваром у речки или походы за земляникой и грибами.

Борис был влюблен в свою больницу. С утра до двух-трех часов он уходил на прием. После чая я тащила его погулять, но куда бы мы ни шли, ноги неизменно поворачивали его к больнице.

— Я на минутку. У меня там один серьезный больной. Ты меня подожди.

И он исчезал. Я присаживалась на завалинку. Прождав несколько минут, уходила в лес одна. Иногда он меня догонял, иногда мы встречались только за ужином дома.

Больница была новая, приемы большие — до 75 человек, темнота населения ужасающая. Царили знахари, бабки, народная медицина, вроде прикладывания к ранам куриного помета или сажания рожениц в русскую печку. Фельдшерица боготворила Бориса и была готова работать без устали, фельд-

шер же относился скептически к попыткам Бориса ввести элементарную гигиену.

— Народ темный. Разве с ним что поделаешь. — И уходил домой.

— Пришла сегодня баба, — рассказывал Борис. — Я ей говорю: "Раздевайся и ложись". Она покорно разделась и легла. Увидев меня, одетого, спрашивает: "А ты пошто не раздеваешься?"

Я любила ездить с Борисом по уезду в дальние деревни. Узкие лесные дороги не давали простора больше, чем для одной лошади. Запрягался коробок, вместо сиденья накладывалось сено и закрывалось дерюгой. Дорога была тряская, с выбоинами и ухабами, с неровными бревенчатыми мостиками через ручьи и овраги. Время от времени мы вставали и шли пешком. Тихо, пасмурно было в чаще, только переговаривались верхушки мягким шелестом. На постоялых дворах нас угощали чаем со свежими шаньками и брусничным вареньем.

— Кушайте, как поприятнее! Получайте!..

На что, по этикету, надо было ответить:

— Мерсите. Мы уже вспотели.

Прошел слух, что вблизи Юсьвы, верст за 10—15 появился медведь. Собрались на облаву охотники, звали с собой и Бориса. Пока он замешкался в больнице, партия ушла без него. Вернувшись домой, он собрался ее догонять. Уже темнело. Я умоляла его не ходить, но он взял ружье и пошел. Я провела тревожную ночь. Не столько я боялась медведя, сколько того, что он заблудится в темноте. Память о трагической истории моей мамы не оставляла меня. К обеду Борис вернулся, беспокоясь о больных. Ночь он провел на "лабазе", полати, устроенной в ветвях дерева. Там сидели охотники, поджидая медведя. Нельзя было ни курить, ни разговаривать, чтобы не привлечь внимания зверя. Борис откровенно признался, что он вскоре заснул. Медведь не показывался, и неподвижное сиденье вскоре надоело Борису. Охотники же оставались еще трое суток, но вернулись домой без добычи. Окорока медведей солили и коптили, как свиные, и они были очень вкусны. Питались мы в Юсьве великолепно: дикие утки и гуси, тетерки, маринованные рябчики были обычным меню, не говоря уже о пельменях, которые приготовлялись на несколько дней и хранились замороженными, чтобы всегда быть наготове. Северные ягоды: брусника, клюква и морошка заготовлялись бочонками. А таких вкусных шанег и пирогов я никогда не ела.

Почта и газеты приходили к нам раз в неделю. Мы жили в своем миниатюрном замкнутом мирке, с пельменями, пикниками, охотой, мало заботясь о том, что происходило во внешнем мире.

— Знаешь, маленькая, — сказал Борис, когда в редкий выдавшийся у него свободный день мы лежали на пригорке в лесу, пощипывая не сходя с места землянику и кладя ее в рот. — Я не вижу смысла нам опять расставаться на зиму. Ты видишь, что куда бы я от тебя временно ни отходил, я опять возвращаюсь к тебе. Я знаю, ты не любишь Петербурга. Я могу взять постоянное место земского врача где-нибудь в провинции. Как ты думаешь?

— Я думаю, что теперь я уже могу жить вместе с тобой. Я уже не такая жадная и требовательная, как раньше. Я мирюсь с твоими "временными отходами". Я поняла, что единоличное обладание в любви невозможно, и я все равно должна делить тебя если не с другими женщинами, то с другими интересами, с твоей работой.

Борис смотрел на меня с некоторым удивлением: он не был посвящен в мой курс воспитания любви и вообще не придавал особого значения оттенкам и тонкостям чувств.

— Я только хотела бы жить в городе, хотя бы уездном, где бы я тоже нашла применение своим знаниям и силам.

— Мне говорили о Борисоглебске. Это не плохой город. Попробую подать туда заявление. В Москве мы можем повенчаться. Для провинции так будет удобнее. Здесь все уверены, что мы муж и жена.

Я была довольна собой. Предложение Бориса повенчаться, которое два года тому назад наполнило бы мою душу экстазом, было мне приятно, но я могла усидеть спокойно на месте, продолжая класть ягоды в рот.

Вернувшись в Юсьву, мы нашли газеты с известием об убийстве австрийского кронпринца, о тревожном настроении, о возможности войны. Вечером местная интеллигенция собралась у нас, обсуждая события. В возможность войны мы не верили. Сербы и австрийский кронпринц казались чрезвычайно далекими от нас и ничем с нами не связанными. Но мирная жизнь была уже нарушена.

Через месяц посыльный из соседнего села Кудымкорского привез экстренные выпуски газет с объявлением войны немцам и австрийцам. Еще через две недели Борис получил приказ явиться в Военно-санитарную часть армии.

Нам устроили торжественные проводы, и мы покинули приветливую Юсьву.

Глава 5. Кубань

Москва переживала свой первый — медовый — месяц войны. Взрыв патриотических чувств охватил все слои населения. Под звуки оркестров маршировали по улицам войска, немедленно собирая восторженную толпу зрителей. "Братцы! Спасители наши! Покажут немцу, где раки зимуют!" — слышались возгласы. Митинги, собрания, речи, газеты надрывались в выражении верноподданнических чувств. Многие студенты бросали высшие учебные заведения и записывались добровольцами. Мой младший брат Коля поступил в Тверское кавалерийское училище, старший, Алеша, был призван в инженерные войска.

Добродушные немцы-коммерсанты, мирно попивавшие пиво и копившие деньги для отъезда на родину, вдруг оказались врагами отечества, и было уже несколько случаев самосуда в пригородах.

Открывались курсы сестер милосердия, и желающих поступить на них было больше, чем вакансий.

Борис получил назначение врачом в военно-полевой поезд. Он был доволен, так как это давало ему возможность, привозя раненых, бывать в Москве, Петербурге и других центрах размещения раненых. На войну он смотрел как на авантюру, а авантюры он любил.

Опасности особой, может быть, для него и не было, но все же мое сердце болело тревогой за него.

— Вот увидишь, маленькая, — утешал он меня, — через три-четыре месяца война кончится (это мнение разделялось многими), и больше мы уже не расстанемся.

Их поезд был одним из первых, покидавших Москву, и провожали их с помпой — с речами, цветами и музыкой. Но легче мне от этого не было. Я не поддавалась массовому гипнозу. Я не видела в войне героики, а лишь организованное убийство. Какое право имел Николай II или Вильгельм III посылать на смерть сотни тысяч людей, отнимать у них жизнь, не ими данную? Отрывать от семей отцов и сыновей и возвращать их домой калеками? Его жизнь — это все, что у человека есть, этот короткий промежуток времени между рожде-

нием и смертью, который он выбирает не по своей воле. Он не знает, зачем, почему он вброшен в мир именно в этот момент, в этой среде, от этих родителей. Но он знает, что это — его жизнь, и никто не имеет права отнять ее у него. Но государству нужна власть, нужны солдаты, готовые жертвовать жизнями для поддержания этой чуждой им, часто ненавистной, власти. Создаются системы принуждения, от убеждения словами до смертной казни. Создаются легенды о божественном происхождении власти, ее мудрости и непогрешимости. Весь аппарат воздействия в руках власти, и гипнозом и силой собирают они со всей страны самых молодых, здоровых и сильных и посылают их на убийство и смерть. Чтобы заглушить страх, помрачить сознание и совесть, гипнотизируют их речами, цветами и музыкой. И солдаты кричат "ура", орут в воинских поездах под гармонику песни, пьют водку, разбивают вокзалы, куражатся, — идут бить немца, о котором они раньше ничего не слыхали.

Конечно, всегда были войны, потому что всегда была основанная на насилии власть, и будут, пока будут существовать бессовестные гипнотизеры, узурпаторы и демагоги с одной стороны, а с другой — поддающиеся гипнозу или не имеющие силы для сопротивления. А в общем, мировом плане диктаторы выполняют лишь план неизвестного дирижера, в исторических ритмах посылающего одну цивилизацию на смену другой.

Проводив Бориса, я ненадолго осталась в Москве. Женя, муж которой был забракован медицинской комиссией из-за подозрения, что у него туберкулез, не знала, радоваться ей или печалиться. Туберкулез был страшен, но война еще страшнее. Во всяком случае, напуганный докторами, он больше времени проводил дома, не заходил больше из архива в пивную и часто брал работу на дом. Женя его усиленно питала, но без видимых результатов — худ он был невероятно.

Как-то зашел ко мне Андрей. Он тоже был в военной форме и скоро отправлялся на фронт. Его война занимала совсем с другой стороны. Он был пораженец, т. е. от всего сердца желал победы немцам. Тогда у солдат откроются глаза, правительство будет дискредитировано, и произойдет революция.

— Как же вы будете стрелять в немцев с такими идеями? — спросила я.

— Я не буду стрелять. Я сдамся в плен и буду агитировать среди немецких солдат, чтоб они знали, что не все русские враги. Я уже выучил немецкий язык.

Возражать Андрею было бесполезно, и я только посоветовала ему не высказывать вслух своих идей.

Я уехала в Воронеж. Бабушка стала уже старенькая. Дядя был доволен, что он вышел из того возраста, когда его могли бы призвать на военную службу. Я взяла несколько частных уроков и работу в библиотеке, чтобы отвлечь свои мысли от беспрестанных дум и тревог о Борисе.

Пришел первый поезд с ранеными. Им устроили торжественную встречу с цветами и музыкой — компенсацию за потерянные в бою руки и ноги. Воронеж даже ожил с их приездом. Ездили по домам дамы патронессы, собирая деньги и вещи, устраивались в пользу раненых вечера и концерты. Среди наших было и несколько раненых немцев. К ним отношение было предупредительное, чтобы показать им, что мы — враги только на фронте, а в жизни — две одинаково цивилизованные нации. Когда после больших боев стали прибывать эшелон за эшелоном, встреч им уже больше не устраивали.

Перед отправкой на фронт приехал на пару недель Коля. Он был очень горд своей бьющей в глаза формой и преувеличенно военной выправкой. Гремя по тротуарам волочащейся за ним шашкой, он привлекал к себе взоры барышень на гулянья, звенел шпорами и щеголял кавалерийскими словечками. Грустно было его провожать.

Постепенно бодрый и самодовольный тон газет изменился на более серьезный. Дела на фронте шли не так успешно, как ожидали, и никто уже не говорил, что война кончится через три-четыре месяца. Мне удалось один раз повидать Бориса в Петрограде, как стали теперь из патриотических чувств называть Петербург. Поезд, привезший раненых, оставался там неделю. Борис тоже утратил свой оптимизм, тяготился скукой и однообразием военной дисциплины. В Петрограде вслух критиковали правительство, обвиняли в измене Сухомлинова. Считая ее причиной неудач на фронте, подозревали в немецких симпатиях императрицу. Особое негодование вызывало все увеличивающееся влияние на нее Распутина. Мрачные, хотя еще смутные предчувствия висели над городом.

Весной у меня родилась дочка, и все мое время было заполнено заботами о ней. Все же, видя, что война затягивается, я решила ответить утвердительно на посланное мне с курсов предложение места учительницы в Кубанской области. У маленькой Лены была хорошая нянька из черничек, и пока нужды дочки были чисто физического порядка, она прекрасно заменяла меня.

Мне хотелось испробовать свои силы на педагогическом поприще и казалось, что будет легче переносить разлуку с Борисом, если я буду занята своей работой.

В станице Кореновской открылась новая гимназия, пока еще только из пяти классов. Это была большая станица, мы ее назвали бы уездным городом, с 30-тысячным населением, белыми хатками, утопающими в зелени садочков, с чистыми дворами и необычайно грязными улицами без признака тротуаров. Лишь на Красной улице — все главные улицы на Кубани назывались Красными — были проложены мостки, т. е. деревянные настилы вместо тротуаров. Коренные жители были казаки, но было немало прибывших позднее, так называемых "иногородних", которые занимались хозяйством по хуторам, но земли своей не имели, а арендовали ее у казаков. В их руках были торговля и ремесла.

Казаки поражали своим спокойным достоинством, свободой в обращении. Не было ни тени приниженности русского мужика, его заискивающей недоверчивости. Казаки никогда не знали крепостного права, были сами себе господами.

Екатерина Вторая, чтобы упрочить владение огромными и безлюдными в те времена степями северного Кавказа, признала нужным заселить их. Было разрешено туда переселяться отставным солдатам, казенным крестьянам и даже крестьянам частных владельцев. Раздавались большие участки земли в потомственную собственность. Позднее северная, равнинная часть Кубанской области начала заселяться выходцами из Запорожской Сечи и с Украины. Переселенцам отводились земли, а за это они обязывались охранять от набегов горцев границу на реке Кубани. 50 лет продолжалось покорение Кавказа, и за это время из мирных крестьян выработались храбрые, бдительные воины. Они переняли от воинственных горцев многие повадки, а также их костюм — черкеску.

Мало что осталось от первобытного богатства степи, о которой пишет Щербина, что так высока и густа была трава, что скрывала лошадь вместе с всадником, изобиловала дикой птицей, а рыбы в реках было так много, что она останавливала лодку. Вместо буйных трав теперь возделанные поля.

Трудные условия войны в горах Кавказа требовали смелости, стойкости, инициативы от каждого человека, делали его героем, и война воспринималась как героика и как специфически казачье дело. От отцов к детям передавался воинственный дух, казачья лихость, готовность бить врага, не вникая в сущность того, за что бьют. И на войну с немцем казак собирался хозяйственно, без песен и пьяного ухарства. И ба-

ба, проводив мужа, не голосила, а только крепче сжимала губы, с ожесточением ворочая ухватом горшки в печи.

Крепок был патриархальный казачий быт. Отец царил в семье беспрекословно, и сын не смел сесть, пока не сел отец, или поднести к миске ложку, пока не начал есть отец. Большие участки земли — надел не менее 15 десятин на мужскую душу — заставляли трудиться не покладая рук, но и вознаграждали с лихвой. Пшеница кубанка была лучшей в России, и сбыт ей был всегда обеспечен. Чисты были вымазанные снаружи и изнутри белой глиной хаты с иконами в шитых полотенцах в переднем углу. В обширных дворах гуляли свиньи, куры и утки. Лошади и коровы паслись "на степу". Хозяйки варили борщ, щедро заправляя его свиным салом, пекли пышные пшеничные хлебы, ставили на стол корчажки со сметаной, сливками и творогом.

Все дела решались стариками на станичных советах степенно и неторопливо. Хотя большинство стариков было неграмотно, они понимали пользу образования, открыли несколько начальных школ, высшее и начальное училища, а потом и гимназию, куда отдавали учиться своих детей. И молодые казачата-гимназисты были такие же цельные, свежие, сильные, как и их земля.

Гимназия была внушительное каменное здание с просторными классами, рекреационным залом и большим мощеным двором, куда ученики выпускались на перемены, так как холодов почти не было. Директор Н. Д. был из семинаристов, с семинарской неловкостью и застенчивостью, которые он преодолевал решительным тоном. Он окончил историко-филологический факультет в одном из провинциальных университетов, был умница, хотя и неопытный педагог. Остальные преподаватели были также с университетской скамьи. Никто нами не руководил, никаких заданий не ставил, кроме прохождения обычной казенной программы, и нам была предоставлена полная свобода действий.

Это был интересный педагогический опыт. С одной стороны неподготовленные, но связанные традицией учителя, с другой — девственное поле учеников с необработанными в предыдущем поколении мозгами. Возрастная граница между нами была невелика: учителям было от 22 до 25, ученикам старшего класса — от 17-ти до 20-ти.

Мы, учителя, знали свои предметы и горели желанием передать свои знания, так же как и решимостью быть хорошими учителями, и в первую голову не похожими на мертвых педагогов мертвых классов школ, в которых мы учи-

лись сами. Мы считали, что самое главное — умение заинтересовать учеников своим предметом, полюбить его. Но мы не учли одного фактора — дисциплины. Трудно было удержать внимание буйных по природе, непоседливых ребят, особенно в третьем, четвертом классах, где среди детей несуразного переходного возраста выявлялись двое-трое удальцов, во что бы то ни стало желавших узурпировать внимание товарищей и мешавших занятиям. Никаких наказаний не полагалось. Вскоре я открыла, что такие смельчаки смелы только в классе перед товарищами, а взятые отдельно, оказывались даже робкими. Надо было найти метод индивидуального воздействия на каждого из них. Они только и ждали того, чтобы на них накричали, наказали, выгнали из класса, словом, сделали бы их "героями". Вместо этого, я стала давать им самые ответственные задания: привести в порядок собранные во время экскурсии коллекции, приготовить и развесить в классе картины и т. п. — подчеркивала их полезную деятельность. Они, оставаясь в центре внимания, включались в общую работу. Особенно долго не поддавался усмирению Федя П., юркий, круглоголовый, с разбойными черными глазами. Таким был, вероятно, в детстве Емельян Пугачев. Как будто внутри его помещалась электрическая батарея, приводящая его в постоянное движение. Я стала с ним заниматься отдельно по вечерам, и он оказался очень способным. Кончив заниматься, он просил позволения остаться позаниматься с моей маленькой дочкой, и надо было видеть, с какой бережной осторожностью он с ней обращался.

Мало-помалу, хитростью и лаской, произошло укрощение строптивых, и занятия пошли гладко. Мы много времени проводили с ребятами в степи, собирая горные породы и растения. Я многому у них научилась. Они знали каждую травку, каждый цветок в своей родной степи.

Конечно, мало осталось от той первобытной буйной жизни, которую описывает Щербина, но все же кое-где, в неудобных для посева местах, сохранились остатки прежней роскошной степи.

В классе я разбивала учеников по ячейкам в четыре человека и давала им самостоятельные задания, проверяя работу каждой группы отдельно. Так уроки проходили продуктивно и без скуки. Конечно, такой индивидуальный подход к детям был возможен только потому, что у нас были небольшие классы в 15—20 учеников. Каждый был на виду, и с каждым устанавливались личные отношения. Я, прошедшая безличное, бездушное воспитание института, особенно

старалась избегать массового подхода к классу, так как каждый ребенок — прежде всего отдельная личность, с его собственными, заложенными в нем природой свойствами и особенностями. Воспитание лишь действует на наследственную основу, но ничего нового создать не может. Поняв характер ученика, я легко могла на него воздействовать.

Со старшими классами было значительно легче. Мы быстро подружились. Устраивали для них вечеринки, лекции и собрания, прогулки. Часто они просто приходили к нам в гости. Вспоминала я и Женину формулу: надо, чтобы ученик сначала влюбился. Два моих поклонника проявляли чудеса усердия.

Гимназия была смешанная. Девочки были менее способны, но значительно более послушны.

Барьер, обычно разделяющий учителей и учеников, разрушился сам собой, и мы жили одной веселой дружной семьей. Главное, все мы были молоды — то и дело возникали романтические отношения, которые делали нашу жизнь интереснее и веселее.

Учительница двух младших классов, некрасивая блондинка с хорошей фигурой, была влюблена в директора и очень смущала его открытым вниманием. Моим поклонником был художник, высокий, рыжеватый и талантливый, остроумный карикатурист. В интересного словесника с поэтической шевелюрой влюблялись гимназистки. Один математик, щупленький и в очках, оставался равнодушным к женскому полу. Настоящий роман был между учительницей языков Верочкой и 20-летним ее учеником Митей.

Митя был лихой казак и был очень хорош, особенно в черкеске, туго перетягивающей стройную высокую фигуру. Отлично играл на гармони и был лучший танцор лезгинки. Он ждал конца курса, чтобы сразу идти на фронт.

Верочка тоже была казачка, единственная среди нас без высшего образования, веселая, сероглазая, с длинными белокурыми косами. Семья ее жила в Екатеринодаре. Верочка трепетала перед своей матерью, маленькой, сухонькой, властной, бившей взрослых дочерей по щекам за малейшую провинность. Она знала, что в глазах ее матери любовь учительницы к ученику была преступлением, и сама она тоже разделяла это мнение, и поэтому была в постоянном волнении и тревоге. Изо всех сил старалась она скрыть свое чувство, но оно прорывалось постоянно во взглядах и интонациях, в ревности, которой она не могла удержать при виде внимания Мити к его одноклассницам. Мы все делали вид, что ничего не

замечаем и, подтрунивая в учительской друг над другом, никогда не касались Верочки.

Через два года она все же вышла замуж за Митю без согласия матери.

Неожиданно для себя, в глухой Кореновской, я нашла жизнь легкой и приятной. Война было близко в Москве, в Воронеже, здесь она была так же далека, как в Юсьве. Мы читали газеты, обсуждали события, но жить это нам не мешало. Спокойное, деловое отношение казаков к войне действовало и на нас: исполняй свой долг без колебания и лишних слов. Нашим долгом было учить казачьих детей, и этому мы отдавали свои силы.

Вероятно, мы перегибали палку, стремясь сделать учение больше удовольствием, чем трудом, но мы были довольны результатами, когда экзаменационные работы вернулись из учебного округа с благоприятным отзывом.

Интересно, что после революции, когда все старое было признано негодным и подлежащим перемене, в комиссиях по выработке школьных методов обучения был принят так называемый исследовательский метод, который сводился к самостоятельной проработке учебного материала учениками, к групповым или ячейковым занятиям в классе и т. п., к чему собственными силами и разумом пришли скромные учителя Кореновской гимназии.

Иногда нас, учителей, приглашали на празднества, устраиваемые местными торговцами, главным образом армянами, по поводу какого-либо семейного события. Казаки презирали торговлю, считая ее не казачьим делом, и давали раздуваться на своем теле иногородним купцам-паразитам. Многотысячные обороты делали такие торговцы, как Бароновы и Хаспеков. Склады были забиты товарами. Покупатели приезжали из соседних станиц и хуторов.

Жили они богато, в каменных просторных домах, угощали радушно. Стол ломился от обилия яств: икра, балыки, семга, копченые рыбцы и шемая, молочные поросята, индейки и утки, растегаи и пироги и всевозможные армянские сладости.

Упитанная Бароновская дочка училась в гимназии и была одной из самых вялых учениц. Невозможно было ее ничем заинтересовать. Очевидно, она усвоила от своих родителей истину, что на деньги все можно купить, что за деньги все покажут и расскажут, и незачем себя утруждать.

Моя маленькая Лена росла здоровым и красивым ребенком, делалась все больше похожей на Бориса. У нее были свои подруги, и хаспековская и моя няньки, сойдясь, обсуждали, кто из их детей красивее. Главным аргументом моей няни было, что "у нашей "ручеек" под носом".

Ах, какой прекрасный край была Кубань! Какая расточительная, щедрая мать! Какое изобилие жизни вылезало весной из набухшего чрева, напоенного соками многовекового перегноя! Пробивалась деловито зеленая щеточка трав, украшая каждый день новым цветом. Вот открыли наивные глазки голубые барвинки, загорелись желтые и красные огни горицветов, разбросались по степи солнечными пятнами одуванчики, вылезли погреться мозаичные ящерицы. Воздух девственный, нежный, едва ласкаемый солнцем, делал тело легким, как будто сила притяжения перестала действовать и уступила место силе надземности, полета. Зацвела посаженная в перелесках и вдоль улиц белая акация, густой приторный аромат дурманил и кружил голову, как вино. Садочки превратились в сплошные белые букеты.

Казаки выехали в степь и потребовали на подмогу своих сыновей, торопя нас закончить занятия.

Две милые девочки, мои ученицы Боровик, пригласили меня провести лето у них на хуторе, верстах в 30-ти от Кореновской.

На хуторе было десятка два дворов и новая, хорошая школа. Самый большой и благоустроенный двор был у Боровика — с большой хатой, разделенной на две половины, с садом-огородом, который спускался к реке. Рядами тянулись фруктовые деревья. Ранние абрикосы и сливы гнулись от тяжести плодов и подпирались костылями. Под ними выстроились подсолнухи, из масленичных зерен которых выжималось масло-ацетко, а жмыхами кормили свиней. Внизу росли овощи и клубника. Вся эта трехъярусная система зрела, наливалась под лучами южного солнца, давала рекордный урожай.

Мне с Леной и няней отвели чистую половину и работать меня не допустили, несмотря на то, что все в доме трудились с раннего утра до позднего вечера, включая и девочек-гимназисток.

Утром хозяйка ставила нам на завтрак корчажки сметаны и сливок, яйца, ломти нежно-розоватого копченого сала и белый хлеб. Обедали мы все вместе. Борщ из курицы с салом, со свежими овощами подавался в миске, откуда мы черпали деревянными ложками, строго соблюдая очередь. Сна-

чала хозяин, потом я, потом хозяйка и остальные члены семьи по старшинству. Разговоров за столом не велось.

После обеда я отвязывала лодку и ехала вверх по реке. Иногда я брала с собой Лену, но ей скоро надоедало медленное движение и сиденье на одном месте. Она предпочитала остаться с девочками и "помогать", с энтузиазмом выдергивая подряд и сорные, и нужные всходы. Няня была рада окунуться в привычную крестьянскую работу. Большую часть дня я была предоставлена самой себе. Я доезжала до лесочка и причаливала лодку. Лесок был как бы заповедником для большой безлесной округи. Птицы использовали каждое дерево, свивая гнезда, неустанно летая взад и вперед за пищей для птенцов. Воздух звенел от птичьего гомона. На земле шла такая же интенсивная рабочая жизнь среди жуков и муравьев. Все они как будто подтверждали правило: жизнь есть труд, но и достижение, и радость.

Стояли тихие, душистые, пронизанные солнцем дни. Побродив по лесочку, поздоровавшись с птицами и травами, я расстилала плед, ложилась в тени. Я ничего не читала, ничего не делала, я слушала музыку летнего дня в шорохе листьев, шепоте трав, жужжании насекомых, пении птиц. И, как всегда, постепенно приходило чувство счастья.

Обновленная, я возвращалась домой к ужину. С заходом солнца начинались лягушачьи концерты в плавнях между цветущими кувшинками. Это были именно концерты — от дисканта до баса. Вероятно, у них был и свой дирижер, потому что они начинали и кончали все вместе. Иногда басы исполняли соло.

После ужина хуторская молодежь выходила на площадь перед школой, появлялась гармонь, начинались песни и пляски. Я только удивлялась. Я уставала от ничегонеделанья, они резвились после целого дня тяжелой работы.

В последний месяц нарушилось мое счастливое одиночество. Приехал учитель местной школы, который был на каком-то съезде кооператоров, и зашел к нам. Невысокий, чернявый, круглоголовый, с необыкновенно живыми и блестящими черными глазами, он сначала мне показался слишком развязным и излишне говорливым, с бесконечными шутками и остротами. Потом он вдруг замолчал, помрачнел, быстро попрощался и ушел, оставив впечатление неустойчивости, какого-то внутреннего надрыва или застенчивости, которую старался скрыть под искусственной развязностью. На следующий день он пришел опять, уже более естественный, и стал приходить каждый день.

Мне было жаль своих одиноких прогулок, но я понимала и Петра Николаевича: за пять лет жизни на заброшенном хуторе он наскучался без общества равных себе людей. В лесок я его не брала — слишком хорошо мне там было одной, но мы часто ездили вверх по реке. Вечерами ходили гулять в степь.

Как узник, освобожденный из камеры одиночного заключения, Петр Николаевич радовался возможности высказаться и говорил без умолку. Рассказал мне всю свою жизнь.

Он был социалист-революционер и пошел в народные учителя по убеждению, что так он может больше принести пользы народу. Казаки оказали мало сочувствия его идеям. Тогда он обратился к иногородним, которых он рассматривал как угнетаемое казаками меньшинство, но и там работа шла туго. В последнее время он увлекся кооперативным движением и развивал передо мной все выгоды кооперации. Учительством как таковым интересовался мало. Но уже чувствовалась в нем усталость, надломленность.

Настали лунные ночи. Заколдовала луна по реке, пролагая блестящие дороги, серебря капли, падающие с весел. Замерли светлые берега, и мой лесок обернулся зачарованным лесом. Замолкли даже лягушки. Замолчал и Петр Николаевич, только всплесками весел нарушая торжественную тишину.

Зачаровалась и степь. Светлые волны пробегали по спелой пшенице. Подымались с земли ароматы — молитвы цветов. Тропинки уходили в бесконечность.

Ворожила луна и над нами. И у Николая Петровича открылись глаза на меня не только как на объект для высказывания скопившихся за пять лет мыслей, но и как на привлекательную женщину, идущую рядом с ним. Это открытие ошеломило его. Он потерял свое красноречие, он потерял себя, он только смотрел и смотрел на меня черными блестящими глазами, как будто он раньше был слеп и вдруг прозрел.

Я надеялась, что это колдовство луны и пройдет вместе с ней, но оно осталось. Со всей неуравновешенностью своей натуры он отдался своему чувству. Я вдруг превратилась в кумир, в божество, он готов был поклоняться мне, каждое мое слово, каждый жест казались ему необыкновенно привлекательными. Я пробовала отрезвить его.

— Петр Николаевич, это все луна наколдовала. Я самая обыкновенная женщина, и ничего во мне нет замечательного.

Я даже не знаю, слышал ли он меня.

— Вчера у вас были голубые глаза, а сегодня серые... Я думаю, это оттого, что вы смотрели на небо, — замечал он. Меня и трогало, и смущало его обожание, которое с меня перешло и на Лену. Он поехал в Екатеринодар и купил ей дорогую красивую куклу.

— Вы меня ставите в тяжелое положение, — сказала я, когда мы ехали в лодке. — Вы связываете меня, мешаете мне жить. Без вас я была здесь совершенно счастлива, а вы заставляете меня чувствовать, как будто я виновата в чем-то.

— Я вам мешаю жить?! — в ужасе воскликнул Петр Николаевич. — Я лучше умру. Вот выедем на глубокое место, я брошусь в воду. Плавать я не умею.

Он не шутил.

— Бросьте глупости. Чего вы, в сущности, хотите от меня? Я замужем и люблю своего мужа.

— Чего хочу? Ничего! — совершенно искренне ответил он. — Я хочу смотреть на вас. Поклоняться вам как святыне.

— Вот это-то меня и раздражает. Я живая женщина, а вы превращаете меня в истукана. Вам надо проснуться. Это просто какое-то наваждение. Ну что вы хотите? Хотите, я вас поцелую?

Я наклонилась и поцеловала его. Лицо его стало так бледно, что я испугалась. И в то же время мне на мгновение стало завидно, что можно так любить, даже лишаться чувств от любви. Казалось так безжалостно, несправедливо оттолкнуть от себя такую любовь. Я помнила, как я страдала от такой же слепой любви к Борису. Но что же делать? Лекарства против этого нет.

— Странный вы человек, — сказала я, — просто не знаю, что мне с вами делать.

— Ничего, — повторил Петр Николаевич. — Я знаю, что вы не можете меня полюбить. Я этого и не прошу. Но любить вас вы мне помешать не можете, так же как и быть счастливым от этой любви.

Через две недели я уехала в Кореновскую.

Я получала от Петра Николаевича частые, бессвязные, восторженные письма. Пару раз он приезжал ко мне, но чувствовал себя неуверенно и неловко в чужой обстановке.

Это был тот случай любви, о которой Пруст сказал: "Влюбляясь в женщину, мы попросту проэцируем в нее состояние своей души, и главное в любви не ценность данной женщины, а глубина наших собственных настроений и то, что чувство может раскрыть для нашего сознания самые интимные, самые укромные стороны нашей души".

Осенью 1916 года приехал на две недели Борис. Он очаровал всех: и моих коллег, и учеников, и особенно Лену. Это была их первая встреча, и они оба были счастливы. Я ждала его с таким нетерпением, и как-то он мне представлялся не таким, каким был. За время его отсутствия я уже приспособилась к размеренной трудовой жизни, к тому, чтобы быть самой по себе, и теперь мне нужно было время, чтобы к нему привыкнуть. Я не могла сразу преодолеть какой-то черты, нас разделяющей, какого-то отчуждения. Но времени было так мало. Едва я достигла любовной гармонии, к которой стремилась, как ему надо было уже уезжать. Я осталась, как голодная, которой показали пищу, но не накормили.

Борис говорил о всеобщем недовольстве высшим командованием, об усталости от бессмысленной войны, о назревающих политических переменах. Мы строили планы нашей жизни после окончания войны. Мне не хотелось бросать свое дело, своих казачат.

— Отчего бы тебе не попробовать устроиться в Кореновской? Здесь предполагают строить больницу, — советовала я.

— Я думаю, в Екатеринодаре или Новороссийске будет жизнь более интересная и лучшие школы для Лены, когда она подрастет.

Мы сходились на том, что нам обоим нравится юг. Только поскорее бы, поскорее кончалась война.

Вероятно, услышав о приезде Бориса, пришел Петр Николаевич, неловкий и неестественно развязный. Мне было жаль его. Я так хорошо все это знала — и ревность, и сознание своей неполноценности. Борис, как всегда, был прост и мил. Петр Николаевич оставался недолго, помрачнел и ушел. Я вышла его проводить, старалась ободрить какой-нибудь шуткой. Он только посмотрел на меня, как человек, последняя карта которого бита, и надежды нет.

— Странный человек, — заметил Борис. — Что-то в нем есть ненормальное. Он в тебя влюблен?

— Да. Но взаимности не требует. Он очень несчастный человек, — прибавила я.

Борис больше не расспрашивал.

— А меня ты не разлюбила? — спросил он, помолчав.

— Разве ты не видишь, как хорошо, как крепко, по-настоящему я люблю тебя. Тебя — за тебя, со всеми твоими достоинствами и недостатками. И как я рада, что первое сумбурное время уже позади. Теперь, любя тебя, я существую

отдельно от тебя, сама по себе, а не только как твоя тень, твой отголосок.

Борис смотрел на меня с некоторым сомнением. Возможно, что его мужскому самолюбию не совсем льстила моя "отдельность".

— В работе я нашла себя, — продолжала я. — Работа может так же захватывать, как и любовь. И дает удовлетворение, так же, вероятно, как казакам хороший урожай из посеянных зерен.

— Я рад, что ты довольна своей жизнью. Что касается меня, то, насмотревшись такого горя и страданий, я не хочу ничего лучшего, чем спокойная жизнь с тобой и Леной.

После отъезда Бориса я получила письмо от Петра Николаевича, еще более сумбурное, чем прежде, полное самоуничижения. Я написала ему о своем методе воспитания любви. Ответ пришел полный негодования. "Это все равно, как вырвать живое сердце, выжать из него кровь и наполнить физиологическим раствором. И страдание в любви — счастье, и ни за какие сокровища я не расстанусь с ним".

Очевидно, случай был безнадежный.

В этом году у нас был выпускной седьмой, и занятия шли усиленным темпом и в урочные, и в неурочные часы. Первый выпуск был очень важен для репутации гимназии.

Газеты с известием об отречении Николая II, о назначении Временного правительства застали нас врасплох. Только мало-помалу, читая восторженные речи лидеров, торжествующие статьи в газетах, описания митингов и демонстраций охваченных ликованьем толп, мы начинали постигать значение совершавшихся событий и почувствовали себя приобщенными к общей радости. В первый раз мне стало обидно, что я в глуши, вдали от Москвы в этот важный исторический момент.

В мою задачу не входит давать общую оценку совершившегося переворота — это сделано многими политическими деятелями, участниками событий. Я пишу только о том, как эти события восприняли и отразились в скромном, глухом уголке России, станице Кореновской.

Вместе с радостью пришло и чувство ответственности. Мы были высшей интеллигенцией станицы, на нас лежал долг осведомить население о происшедших переменах и соответствующим образом отметить их. Я думаю, что не только мы, но и многие интеллигенты провинциальной России чувствовали себя растерянными. Мы не привыкли к общению с масса-

ми, к публичным выступлениям. Каждого из нас приводила в содрогание перспектива выступить с речью перед большой толпой. Но все же молчать мы не могли, и на нас лежала ответственность проявить инициативу.

Директор собрал вечером местную интеллигенцию: учителей, следователя, атамана станицы, кое-кого из местных торговцев. Все горели желанием приобщить и нашу станицу к всеобщему торжеству. Решили на следующий день созвать митинг во дворе гимназии. Долгие прения вызвал вопрос об ораторах. Все отказывались. Наконец вызвался учитель высшего начального училища. Решили, что директор откроет собрание, затем атаман скажет речь по-украински для казаков, затем учитель, а там, может быть, найдется еще кто-нибудь. Священник предложил отслужить молебен на площади у новой церкви, учитель пения вызвался сочинить и выучить с хором кантату. Распустили на три дня учеников, чтобы приготовить арку, сшить флажки и знамена. Я успела сообщить о митинге Петру Николаевичу и была очень довольна, так как он больше всех способствовал успеху собрания. После казенных речей директора и атамана, содержательной, но бестемпераментной речи учителя вышел Петр Николаевич. Не так его слова, как энтузиазм и горящие черные глаза внесли то оживление, вызвали тот порыв, которого нам не хватало.

Мы были счастливы, что митинг удался. Петр Николаевич был преисполнен самых радужных надежд. Будущее свободной России представлялось сплошным триумфальным шествием. У всех нас кружилась голова, когда мы представляли себе, каких высот, какого могучего развития достигнет наша страна, освобожденная от произвола, от бюрократических пут. Но больше всего мы были счастливы тем, что революция произошла бескровно, что власть была в руках уважаемых, просвещенных руководителей. После митинга мы уже не чувствовали себя изолированными, мы влились в общий поток жизни нашей родины. Молебен был еще более удачен. На площади построили арку, перевитую лентами, зеленью и цветами. Помост задрапировали красной материей. Ученики всех школ в белых формах, с красными флажками и с цветными знаменами, украшенными лозунгамии, заняли места кругом площади, за ними плотным кольцом стояли жители в разноцветных нарядах. Красочность еще больше подчеркивалась сияющей голубизной неба и белизной цветущих садов. Звонкие молодые голоса, поющие кантату, сливались с пением жаворонков, с ароматами степи и подни-

мались ввысь одной общей молитвой радостной благодарности. Мрачным предчувствиям не было места в этот благодатный весенний день.

Несмотря на то, что экзамены были отменены, выпускные экзамены мы провели, и прибавилась новая гордость — видеть плоды своих трудов, превращение диких казачат в образованных девушек и юношей.

Ждали только одного — конца войны. Казалось так бессмысленно убивать и умирать, когда все были счастливы. Я очень надеялась, что Борис скоро вернется и мы никогда больше не расстанемся.

Казаки, особенно старики, относились к политическим переменам осторожно. У них не было оснований быть недовольными властью. Они всегда были привилегированным сословием и привыкли сражаться "за веру, царя и отечество". Теперь царь выбыл, а что вместо него — было не совсем понятно. И они были против того, чтобы допускать к владению землей иногородних, на что последние надеялись.

Отпустив няню на побывку в деревню, я с Леной поехала в июле в Любомир. Женин муж умер два месяца тому назад, и мне хотелось побыть с ней в это тяжелое для нее время.

Печально было в Любомире. Зимой умерла Буничка. У тетей сердца обливались кровью, глядя на исхудавшую, поникшую Женю. Я читала в их глазах невольное осуждение за то, что у меня живой муж и здоровая дочка. У Жени не было детей, и это было одним из самых больных мест.

Дядя Поль был чрезвычайно озабочен тем оборотом, который в умах крестьян приняли происшедшие политические перемены. Он собирал мужиков, толковал с ними, разъяснял смысл событий. Они слушали, но дело всегда кончалось одним: земля — крестьянская. Ходили слухи, что вышел приказ всю землю отдать мужикам, а помещики скрывали его. Появились городские агитаторы, которых жадно слушали, потому что они говорили как раз то, что совпадало с желанием народа: не дадут даром землю, отбирайте насильно, грабьте и жгите помещиков, не давайте солдат, мир должен быть заключен немедленно. Вся власть народу!

— И что с народом сробилось, — жаловалась кухарка, — совсем скаженные. И слова непонятные говорят: пролетаи, сплататоры. Они, говорят, нашу кровь пьют. Каку, говорю, кровь? Я, говорю, в доме выросла, и замуж меня отдали, и с детьми моими по-хорошему обращаются, грамоте учуть. Ты,

говорят, Анисья, несознательный лемент. Скоро, говорят, мы будем в доме жить и на роялях играть.

Тетей очень обижали такие разговоры, так как они никакой вины за собой не чувствовали, всегда считали крестьян своими друзьями, помогали им, учили и лечили и вдруг попали в эксплоататоры. Больше же всего они огорчались за дядю Поля, который, действительно, всю свою жизнь отдал на служение крестьянским интересом, а стал "врагом народа".

В Писаревке, где нанимались на летние работы много пришлых рабочих, настроение было еще тревожнее. На дальнем хуторе сожгли дом смотрителя, объездчики отказывались выезжать в поле, боясь быть убитыми. Грозили убить и управляющего. Барский дом охранялся солдатами, которых выслал губернатор по просьбе высокопоставленного сановника-помещика. Последнее обстоятельство весьма раздражало В. М.:

— Повесили красную тряпку быка дразнить, — говорил он, приехав в Любомир. — И так с мужиками сладу нет. Свои-то ничего, все пришлые мутят. Мне только бы убрать жатву, выкопать свеклу, и я уеду. Я еще в прошлом году заявил моему хозяину, что это последний год. По правде говоря, у меня нет никакого желания положить свою жизнь за его интересы.

Он привез с собой несколько прокламаций, разбрасывавшихся среди крестьян. Все то же; "Грабьте награбленное. Долой помещиков. Долой войну!"

— Хорошо столичным политикам издавать декреты о свободе. Мужика они не знают. А попробовали бы они побыть в нашей шкуре.

— Что же, по-вашему, будет дальше? — спросила тетя Лиза.

— А дальше будут грабить, и жечь, и убивать, катиться все дальше и глубже, до самого дна.

Дядя Поль ему возражал, что правительство этого не допустит и примет вовремя меры.

В. М. не ответил, вышел в сад, где вприпрыжку носилась по дорожке Лена.

— Эта ваша дочка? — спросил он меня. — Красивая девочка. Похожа на отца?

— Очень.

— Мне было досадно первое время, когда я услышал, что вы вышли замуж. Но ведь я всегда знал, что я — не ваш тип. И не засиживайтесь здесь долго, — прибавил он, понизив го-

лос. — Бог знает, как развернутся события. Я и Вольфу советовал вывезти заблаговременно имущество и уехать, как сделали уже многие помещики, но они не верят, что с ними может что-нибудь случиться.

— А вы? — спросила я. – Ваше положение более опасно. Есть ли вам смысл рисковать и ждать конца уборки, если вы думаете, что все равно все будет разграблено?

— Смысла, может быть, и нет, но до конца работ я дождаться должен. Я не хочу показаться трусом.

После отъезда В. М. я попробовала поговорить с тетей Женей.

— Поль ни за что не уедет, — ответила она. — Он считал бы позором для себя бросить свой пост в такой трудный момент. И он верит нашему правительству, так же как верю и я.

Одна Женя оставалась безучастной к окружающим волнениям и разговорам. Политические перемены казались ей такими маленькими и неважными по сравнению с той глубиной, куда погружена была ее душа. Она думала о жизни и смерти, о случайности и обреченности нашего бытия, о жестокости того, кто дал человеку способность любить и отнял любимого, а ее оставил жить, когда жизнь потеряла для нее всякий смысл.

Ни ответа, ни утешения я найти не могла. Я уводила ее в лес, и мы долго бродили, присаживаясь на полянке у ручья. Женя мне рассказывала все терзания и муки своей любви. Главным ее горем было то, что когда у них стало все хорошо, когда она добилась его любви, Виктор умер. С этой несправедливостью она не могла примириться.

Действительно, мир есть только наше представление. Был тот же Любомир, с тем же горячим солнцем, с той же бьющей вокруг жизнью птиц, цветов и трав, с тем же живительным легким воздухом, который когда-то заставлял нас захлебываться от радости жизни, но теперь он померк, поблек, проникся нашей печалью.

Я пробовала открыть Жене глаза на опасность оставаться долго в Любомире.

— Мне все равно, — отвечала она. — Мне совершенно безразлично, что с нами будет, что будет с Любомиром. Если меня убьют, я буду только рада, что кто-то другой сделает то, чего я не решаюсь сделать сама.

Я рассказывала ей о своей работе, о своих учениках. Она слушала без интереса. Я говорила ей о своей любви к Борису, как я тоже думала, что я не смогу жить без него, если он ум-

рет, и я должна умереть, и как я теперь знаю, что с ним или без него — я буду жить.

— И ты к этому придешь, Женя. Это неизбежно. И ничего стыдного в этом нет, никакой измены его памяти. Разве Виктор не хотел бы, чтоб ты была здорова и счастлива без него.

— Он мне много раз говорил об этом: один человек уходит из жизни, это так ничтожно. А жизнь остается. Если бы только у меня был ребенок от него. — И Женя вдруг заплакала, в первый раз за все время.

В столицах и городах все еще продолжали радоваться. Газеты все еще были полны оптимистических статей и описаний шествий и митингов, а у нас все чаще на горизонте появлялись далекие отблески пламени. Все мрачнее становился дядя Поль, но молчал. Молчали и тети, продолжая усиленно работать на пасеке, в винограднике, вести хозяйство. Один случай вывел их из напускного спокойствия. Верстах в 30-ти от них ночью сожгли усадьбу. Помещика дома не было. Помещицу выволокли прямо из постели и заперли в сарай с лошадьми, грозя расправиться потом, когда кончат грабеж. Подождав, пока увлеченные грабежом мужики ушли со двора, она протиснулась в узкое окошко, несмотря на свою солидную комплекцию, открыла сарай и верхом на лошади, в одной рубашке, ускакала задами к соседним помещикам. В доме разгромили все, рояль и мягкую мебель изрубили топорами, побили вдребезги зеркала и посуду.

Дядя Поль съездил к помещику, у которого приютились пострадавшие, и по приезде домой в первый раз заговорил об отъезде. Укладываться решили потихоньку от прислуги и выезжать постепенно, чтобы не вызвать подозрения.

Тяжело, ах как тяжело было им оставлять родное гнездо, где жили и умерли их отцы и деды, где они сами родились и выросли, и состарились, где каждая пядь земли была овеяна воспоминаниями. Мы с Женей, которая под влиянием опасности постепенно вышла из состояния летаргического безразличия, ходили по лесу и саду и прощались с нашей молодостью.

В начале августа, забрав с собой часть вещей Вольфов, которые я должна была оставить в Воронеже, я с Леной уехала из Любомира. Больше я уже никогда его не видела.

В Воронеже ликование еще не утихло. Продолжались митинги и речи, но уже врывалась тревожная нота. В Воронежской губернии было много помещиков, крупных и мелких, и уже появились пострадавшие, имения которых были сож-

жены и разграблены. Общественное мнение закрывало глаза на эти ''случайные'' явления. Инерция положительных мыслей и чувств была еще так сильна, что не могла переключиться на отрицательную. Так простодушно, так доверчиво уверовала интеллигенция в светлое будущее. Так долго и страстно жданная свобода, наконец, пришла, и как же было не потерять голову от радости? Мечты осуществились, произошла революция, единственная в мире без жертв и без крови, и опьяненная успехом настоящего страна не думала о будущем. Она отдала свою судьбу в руки лучших людей, самых красноречивых политиков, и от них ждала руководства, введения из светлого настоящего в еще более светлое будущее. Власть должна быть основана на равенстве и справедливости, и никакого насилия... Как будто власть может существовать без насилия! Как будто в стране, где девять десятых населения были крестьяне, можно было ожидать уважения к власти, основанной на равенстве и справедливости, понятиях совершенно недоступных первобытным мозгам, которые претворяли эти понятия в то, что им было понятно и желательно. Свобода — значит, делай, что хочешь. Справедливость — значит, земля крестьянам. Россия — страна мужицкая, и революция в ней должна быть мужицкой.

Но в августе 1917 года это еще не было видно, и не хотелось, ах, как не хотелось просыпаться от сладких снов.

Теперь вскрыты все ошибки, разъяснены все пути, по которым можно было бы идти Временному правительству, изложены практика и методы, но тогда — где были мудрые политики, провидящие будущее и умевшие от него уберечь? Один за другим они сходили со сцены, чувствуя, что не умеют удержать власть в своих руках. Они оказались так же неподготовленными для власти, как Кореновские учителя для проведения первого митинга. И дерзкие голоса, которых некому было остановить, становились все громче, все более дерзкими.

Я пошла на митинг, устроенный в большом сарае, увешанном красными флагами и знаменами. Толпа стояла большая, больше тысячи рабочих и интеллигентов. Виднелись и солдатские шинели дезертиров, бросивших фронт — их появлялось все больше. Я вошла, когда говорил Шингарев, член Думы. Говорил он прекрасно, с воодушевлением, по всем правилам ораторского искусства — об Учредительном собрании, об отчуждении земли за справедливый выкуп, о продолжении войны до победного конца. Аплодировали, главным образом, интеллигенты. Затем протиснулся к кафедре здоро-

венный детина в солдатской шинели. В программе ораторов его не было. Президиум совещался, допустить ли его, но из толпы послышались возгласы: "Пускай говорит! Свобода!" Речь детины была коротка, без обиняков и без искусства: он долбил по одному месту — кончать войну. Солдаты воевать больше не хотят. Довольно крови своей пролили, пора по домам. Не пустят, так сами уйдут. "Ишь, морды наели, — обратился он в сторону президиума, — а попробовали бы в окопах вшей покормить". Публика смеялась и проводила оратора громом аплодисментов. Не понравилось мне выражение лиц стоявших вокруг рабочих. Следующих программных речей почти и не слушали. Солдатом митинг был сорван, принял совсем не то направление, которое ожидалось. Но остановить его не было власти, только смущенные улыбки интеллигентов.

Тревожно стало за Бориса, за братьев. Что если падет дисциплина, и они окажутся во власти таких краснорожих детин?! Няня, приехавшая из деревни, чтобы присоединиться к нам и ехать в Кореновскую, была полна тех же рассказов, что я слышала в Любомире. Мужики их деревни разгромили соседнего помещика и сожгли конюшню вместе с лошадьми. "Озверел народ..."

В Кореновской я нашла все без перемен, такую же обычную, трудовую атмосферу. Помещиков там не было, некого было грабить и жечь. И агитаторов тоже не было, так как некому было их слушать. Все же чувствовалось больше обычного напряжение между казаками и иногородними, резче намечалась черта, их разделяющая. Не было также и дезертиров. Митя и многие другие молодые казаки ушли на фронт.

Пришел ко мне Петр Николаевич, к моему облегчению не такой уже безрассудно влюбленный. Он защищал интересы иногородних и считал, что земля должна быть отдана крестьянам без выкупа. Критиковал правительство за отклонение от эсеровской программы. Я рассказала ему о крестьянских бунтах, о речи солдата-дезертира.

— Самое страшное будет, если эти большевиствующие молодчики захватят власть. От них пощады не будет. Надо надеяться, что Керенский этого не допустит. — Петр Николаевич очень верил в Керенского.

Мои коллеги приехали из разных мест России с разными рассказами, но во всех была одна общая нота — тревога о будущем. Может быть, мы стали взрослее, но не было в нас прежней жизнерадостности. Влияла также и перемена в соста-

ве учеников. Не было больше тех, с которыми мы особенно дружили. Хоти они и продолжали приходить к нам в гости, но у них, особенно у мальчиков, появились свои интересы, обязанности и заботы. Прибыло много новых учеников, главным образом иногородних. Была ли наша вина или их, но как-то не восстановилась прежняя дружеская гармония в наших отношениях. А вернее всего, что потерялась прелесть новизны в наших педагогических методах и выработалась более скучная рутина.

Глава 6. «Мы старый мир разрушим до основанья...»

Октябрьский переворот, как и Февральский, произошел в столицах, и мы знали о нем только из газет. Появились вернувшиеся с фронта казаки. Разбредалась армия. Война кончалась сама по себе. Рассказывали о случаях самосуда над офицерами. Но мирная жизнь в станице не нарушалась.

В конце ноября неожиданно приехал Борис. Оставаться дольше на фронте было невозможно. Вечером мы собрались у директора и с ужасом и отвращением слушали рассказы Бориса о бессмысленном терроре со стороны солдат, об издевательствах и насилии, убийствах командного состава. Разруха была полная. Озверевшие толпы солдат, соединившись с озверевшими толпами мужиков, насаждали свободу посвоему, поощряемые новой властью: смерть помещикам и буржуям! Грабь награбленное! Вся власть народу!

Прошло три спокойных месяца, пока волна большевизма докатилась до нас. У Тихорецкой была поставлена казачья застава с инструкциями не пускать большевиков на Кубань. Но казаки еще не научились стрелять по своим и сопротивления не оказали. Кубанское правительство, Рада, офицерство, которое боялось преследований, нашло приют на Кубани. Казаки, не желающие оставаться при советской власти, отступили за реку Кубань. Ушел с ними и Борис. Я пыталась его удержать, доказать бессмысленность бегства от установленной власти, которой мы все равно рано или поздно вынуждены будем подчиниться. Но Борис считал, что у оставшихся офицеров-одиночек риск больший, чем у целой организованной группы. Потом я убедилась, что он был прав.

Богатые торговцы заблаговременно закрыли магазины и выехали из станицы. Бароновы предложили мне с Верочкой половину своего дома, и мы легкомысленно согласились и переехали туда.

4 марта стали входить первые красные части, пыльные, грязные, обтрепанные, опоясанные пулеметными лентами, с винтовками за плечами, с револьверами за поясами.

Несмотря на такое вооружение, вид у них был довольно жалкий. Собственно говоря, они выглядели просто шайкой

разбойников, которой вместо кнута, было обещано благословение и покровительство новой власти. Большинство из них были пьяными, так как первое, с чего они начинали, был разгром винных складов.

В 5 часов созвали митинг у станичного правления. Увидев в толпе священника, совершенно пьяный комиссар подозвал его и, не говоря ни слова, выхватил из-за пояса револьвер, выстрелил и убил наповал. Толпа ахнула. Этот добрый, старенький священник был любим жителями. Растерявшись от неожиданности, все продолжали стоять, слушая комиссара, который заплетающимся языком долго боролся с непонятными словами "аванхар революции", "религия — опиюм для народа" и, наконец, закончил: "пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Молча расходились по домам потрясенные слушатели. Своим выстрелом комиссар убил надежду, теплившуюся в сердцах, что московская власть есть настоящая справедливая власть. Казаки, воспитанные на уважении к власти, готовы были ее признать, готовы были поступиться многими привилегиями, если бы она была справедлива. После зверского убийства священника иллюзий больше не осталось, большевики показали свое настоящее лицо.

Мы долго сидели в учительской, не решаясь разойтись. Каждый из нас чувствовал себя потенциальной жертвой на кровавый алтарь революции. Было страшно, очень страшно. Я чувствовала внутри мелкую дрожь, которая не оставляла меня все время, пока у нас в станице были большевики. Теперь мы с Верочкой поняли, какую сделали ошибку, поселившись в лучшем доме станицы. Лену с няней я отправила ночевать к сторожихе гимназии.

На следующий день с утра начались разгромы уцелевших лавок. У Босенко, который подслуживался к иногородним и надел большой красный бант, разбили и изрубили весь магазин и дом, изнасиловали дочку. Приходил комиссар со свитой и к нам в гимназию, но увидев, что мы занимаемся в классах, ничего не сказал и ушел.

Покончив с буржуазией, принялись за казаков. Под видом того, что ищут оружие, врывались в дома, отнимали птицу и скот, вывозили зерно. Оружие, конечно, было у каждого казака, но попадались немногие, — их тут же расстреливали. Большинство уже успели закопать винтовки в степи. Зерно высыпали прямо в степи за станицей, где оно портилось от дождя и солнца. Вот эта бессмысленность грабежа больше всего возмущала хозяйственных казаков.

Революция должна была идти по раз навсегда намеченному плану. Прежде всего, каждое общество разбито на классы. Есть буржуи, которых надо убивать и грабить, и пролетарии, которые должны пользоваться всеми благами жизни. В России громили помещиков, но что было делать на Кубани, где не было помещиков? В буржуи попали священники, учителя и вообще все, кто чисто одевался. Но за их счет не обогатишься. Тогда к буржуям причислили казаков. В пролетарии попали иногородние, но опять-таки между ними было много зажиточных торговцев и земледельцев, которые не подходили под разряд пролетариев. Все же отсеялась некоторая часть неимущих, главным образом пьяниц и лентяев, которые, примкнув к красноармейцам, приняли участие в грабежах и насилиях. В 30-тысячной Кореновской было не более трех тысяч иногородних, из которых небольшая часть могла быть названа неимущими, но именно представители этой группы стали господами положения. Как и во всей 200-миллионной России захватчиками власти оказались четверть миллиона большевиков и их сторонников.

Председателем станичного совета сделали пьяницу-сапожника. Он созывал собрания и важно разглагольствовал, научившись у пришлых красных нескольким мудреным словам. О чем он говорил, не понимал ни он сам, ни его слушатели, главным образом иногородние бабы, которые лущили семечки и громко сплетничали. Казаки угрюмо сидели по домам. То один, то другой, выкопав винтовку, исчезал ночью и присоединялся к своим за Кубанью.

Покончив с казаками в Кореновской, красноармейцы рассыпались утверждать советскую власть в соседних хуторах.

Кто-то из учеников сказал мне, что на хуторе Боровика повесили учителя. Я не поверила, но, к сожалению, слух этот подтвердился. Приехал ко мне Боровик и рассказал, что Петр Николаевич, беспокоясь обо мне, пробивался в Кореновскую. Пропуска у него не было. Он попал на красный разъезд, и его арестовали. Кто-то из услужливых хуторян донес, что он на собрании ругал большевиков. Его начали избивать, он сопротивлялся. Тогда его повесили. Перед уходом с хутора он просил Боровика передать мне его деньги и вещи. Я ничего не взяла, просила Боровика оставить все у себя. Я оставила себе только тетрадку с его записями, которую я спрятала и не открывала много лет.

Инстинкт самосохранения говорил мне, что есть вещи, которые нельзя додумывать до конца, что надо закрыть свой

ум и сердце для них, стереть их со своей памяти, как с грифельной доски. Иначе не выживешь или сойдешь с ума. Я не хотела иметь ничего, что бы напоминало мне о Петре Николаевиче. Я никогда о нем не говорила. Но где-то в дальних клеточках мозга образ его сохранился нетронутым.

Действительность была страшна, будущее могло быть еще страшнее. Надо было закрыть глаза и изо всех сил стараться сосредоточить свое внимание на простых, насущных вещах. И продолжать жить. Мы были во власти безумцев, в руках которых было оружие. Как от бешеных собак, от безумцев надо было прятаться и молчать.

Все мое самообладание понадобилось мне, когда ввалилась в наш двор шайка в несколько человек, солдат и хулиганов. Не могло быть сомнений в том, зачем они пришли. Я отослала няню с Леной через черный ход и открыла дверь.

— Что вы хотите, товарищи?

— Арестовать пришли, — отозвался один, постарше.

— Покажите мандат.

На третью неделю грабежей комиссар стал выдавать мандаты на арест. Мандатов у них не было.

— Чего там мандат, — заговорили в толпе. — Дело ясное. С офицерами гуляли и оружие прячете.

Спокойный тон мне не изменил.

— Сделайте обыск. Если найдете оружие, я не буду возражать против ареста.

Эта идея показалась привлекательной, так как давно ходили слухи, что в Бароновском доме спрятано много добра. Посовещались, затолпились у входа. Я загородила дверь.

— На обыск только красноармейцы идите. Посторонних я не пущу.

На хулиганов мальчишек мой учительский тон подействовал. Они потоптались, поворчали, но ушли. Четверо солдат вошли в дом. Стали копаться в наших вещах: книги, платья, белье, — ничего интересного. Подошли к запертой половине дома, потребовали ключ. Ключа у меня не было. Высадили дверь прикладами. Огромная зала и гостиная были до потолка завалены разным товаром: мануфактура, галантерея, мешки с сахаром, крупами и мукой. Вот когда наступило раздолье! Хотя и надо было донести о найденном комиссару, руки работали с лихорадочной быстротой, опуская в объемистые карманы то одно, то другое. Остановились, когда запазуху и в карманы ничего больше не лезло.

— А вы что же, мамзеля, — обратился ко мне старший. — Около такого добра живете и не попользуетесь. — Он протя-

нул мне пачку сахара. — Вот эти буржуи! — с восхищеньем произнес другой.

Счастливые и возбужденные, совершенно забыв о своем намерении меня арестовать, красноармейцы отправились докладывать о своей находке комиссару.

Через два дня комнаты стояли пустые, но население, которому уже две недели негде было купить продовольствия, ничего из бароновских запасов не увидело. Все же бароновское добро спасло мне жизнь.

Недели через две, когда грабить больше было нечего, красные части двинулись дальше, к Екатеринодару. Осталась поставленная ими гражданская власть, которая ничего, кроме презрения, не вызывала у казаков.

Возобновилось, хоть и нерегулярное, сообщение с остальной Россией, от которой мы были отрезаны почти шесть месяцев.

За эти шесть месяцев Россия перестала существовать, переименовавшись в РСФСР.

Произошла полная переоценка ценностей. Появился на сцене фанатик и великий гипнотизер Ленин и установил свою систему, вроде Хеопсовой пирамиды. Наверху — непогрешимое божество Маркс, каждое слово которого священно. Несколько ниже, почти рядом с ним, Ленин, его главный жрец. Как все жрецы, он хитер, и толкует слова божества, как ему выгоднее. Это называется Ленинизм. Ниже — его сотрудники: Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин и проч. За ними — коммунистическая партия. Дальше — рабочие и крестьяне и внизу — в пыли и грязи поверженные остатки бывших помещиков, фабрикантов, аристократии — буржуи.

Истину знает только жрец, только у него рецепт счастья всего мира в будущем всеобщем коммунизме. Массы он гипнотизирует повторением все тех же созданных им истин, облекая их в простые, удобные формы ярлыка, лозунга. Лозунги создает он на каждый случай жизни: "Вся власть народу", например, в то время как вся власть только у него. У него право судить, обрекать на смерть, в его руках право на жизнь каждого подданного, и он распоряжается ею по своему усмотрению. В его глазах жизнь отдельного человека ничего не стоит, он только пешка в руках государства, навоз для удобрения почвы счастья будущих поколений. Великий жрец считает, что пять миллионов жизней — ничтожная жертва для кровожадного божества. Прежде всего в жертву приносятся буржуи как самая неудобная часть населения, с мозгами, не поддающимися гипнозу, со способностью критически мыс-

лить. Эта способность — одна из главных опасностей, препятствие для создания единоликой массы верноподданных. И поэтому "бей буржуев", "грабь награбленное", "попили нашей кровушки" и проч. Распускаются по всей России шайки вооруженных разбойников; под видом "справедливого народного гнева" поощряются убийства, поджоги и грабежи, расчищающие поле деятельности. "Мы старый мир разрушим до основанья, а затем мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем". Остатки недобитых буржуев собираются в лагеря и превращаются в рабов с правами, не большими, чем у тех, которые строили Хеопсову пирамиду пять тысяч лет тому назад. К ним прикрепляется ярлык "враги народа". Эти рабы, подгоняемые жестокими надсмотрщиками, создадут впоследствии индустриальную и военную мощь государства, которое они ненавидят.

Вместо разрушенных моральных ценностей подставляются новые. Русский народ всегда признавался религиозным. Бросается в толпу новый лозунг: "Религия — опиум для народа". Закрываются церкви, общества безбожников безобразничают и насмехаются над святынями, священников убивают и преследуют. Достаточно было быть сыном или дочерью священника, чтобы не иметь шанса поступить в школу или на службу.

Учение Христа выворачивается наизнанку. Любовь — подставка — ненависть. Ненавидь ближнего своего! Ненавидь врага своего! Мир вдруг оказался полон врагов. Выдумали классовых врагов, врагов — капиталистических стран и проч. Злоба и ненависть сделались самыми могучими орудиями большевизма, турбиной, которая двигала весь государственный механизм.

Правда — ложь. Перевернуты, искажены все факты истории, так что старые учебники выброшены и надо писать новые. Говорят: "власть народная", думают: "всякая власть есть насилие". Говорят о мире, думают о войне. Говорят о свободе и изобретают все новые методы насилия. Если советский аэроплан обстрелял чужую территорию, говорят, что это чужой аэроплан обстрелял советский. Если народ восстает против власти, покровительствуемой большевиками, это значит, они не революционеры, а контрреволюционеры или фашисты. Но такова сила гипноза, что такая ложь, называемая пропагандой, внушает доверие миллионам людей.

Свобода — подставка — насилие и страх. Это фундамент, на котором покоится власть. Воспитание страхом весьма сложная система. Конечно, самое простое — вывести в

расход или посадить в тюрьму. Но всех в тюрьму не посадишь, а покорными надо сделать без исключения всех. Самое действенное воспитание — голодом. Лозунг "кто не работает, тот не ест". Но многие не работали не потому, что не хотели, а потому, что для них не было работы. Так вымирали "буржуи". Воспитание голодом было легко провести, так как страна оказалась разрушенной. В России, которая вывозила миллионы пудов зерна, не оказалось хлеба. Русским сахаром кормили в Англии свиней, но жители России уже стали забывать его вкус и в лучшем случае пользовались сахарином. Краюшка черствого хлеба ценилась на вес золота, каждая крошечка тщательно собиралась. Мерзлая картошка, тухлая селедка и тарань, жесткая перловая крупа, по прозванию шрапнель, распределялись по карточкам. Воспитывали, как животных. "Послужи" и получишь лишний паек. "Еще лучше послужи" — получишь еще корочку хлеба. "Дослужись до партийного билета" — и будешь кататься, как сыр в масле. Второе средство — холод. Помещичьи леса выжгли мужики, для дальнего леса не было транспорта. Жгли заборы, мебель, книги, бумаги, обертывали тело всем тряпьем, которое было дома, и все же дрожали от холода.

Голод и холод свели человека на низшую ступень животного, сделали его послушным и робким. Отвлеченные идеи никого больше не занимали, а вот где бы достать картошки или найти не сломанный забор?.. Из кожи вон лезли: льстили, клеветали, доносили — выслуживались, чтобы как-нибудь побороть голод и холод.

Но на этом правительство не успокоилось. Оно опутало население сложной системой надзора и доноса.

1. Домкомы — домовые комитеты. Каждый дом в несколько квартир имел правление, почти всегда из коммунистов. Все, что ни происходило в жизни отдельного гражданина, проходило через домком: приезд, отъезд, рождение ребенка, женитьба, смерть, перемена службы, размер жалованья. Домком по своему усмотрению распределял жилые помещения (жилплощадь), назначал плату за комнату, электричество, воду и проч. И, конечно, следил за политической благонадежностью.

2. Домовые комитеты объединялись в квартальные, куда входили представители домкома.

3. Квартальные — в районные.

4. Районные — в городские.

И надо всеми — всемогущее, наводящее трепет ГПУ.

Голодные и холодные совдепы, с опаской озираясь на

соседей — каждый подозревал доносчика в другом, — угрюмо сидели по своим комнатам, переговариваясь шепотом.

Теперь легко было управлять усмиренной страной. Это была дьвольски умная система. Опутать каждого так, что он не смеет пикнуть, вырвать у него из рук малейшую возможность сопротивления. А в случае непокорности — дьявольская жестокость и изобретательность в наказаниях.

Так или иначе покончив со старым поколением, надо было воспитывать новое. Разрушали семью, поощряли доносы детей на родителей. С малого возраста обрабатывали мозги партийными руководствами. Октябренок — пионер — комсомолец — партиец — прямая дорога для послушного. И для них упрощенные лозунги, формулы, повторяемые, как для обучения попугаев. Мечта — в будущем поколении создать роботов, чтобы ни одна свежая мысль, а главное, критика не омрачала мозг послушного гражданина.

Позднее академик Лысенко, под покровительством отца науки Сталина, пытался доказать, что приобретенные признаки передаются потомству, т. е. раз воспитав поколение коммунистов, можно быть уверенными, что следующие уже будут родиться ими. Но науку не обманешь, и опыты Лысенко признавались честными учеными лишь передергиванием фактов. Этих ученых устранили, и взамен им нашлись другие, которые хотели заслужить лишний паек и пели Лысенко дифирамбы.

Затем надо было накинуть узду на творческую мысль. Создается школа социалистического реализма. Не надо выдумок, не надо фантазии. На полотне, на бумаге изображай счастливую советскую жизнь, хвали, хвали советскую власть, — иначе ссылка и смерть. Поэзия спустилась до уровня стишков гимназиста 5-го класса. Литература обезличилась до того, что одного писателя нельзя отличить от другого в скучнейших описаниях колхозов, совхозов, фабрик, заводов, в шаблонных фабулах злодеев и героя. Россия Блока превращается в СССР Демьяна Бедного. Один Зощенко до поры до времени продолжает издеваться над гримасами советской жизни.

Убивается русская культура, создаваемая веками. Убивается все яркое, самобытное, ценное в творчестве. Как в пейзаже стираются горные вершины, ущелья, водопады, быстрые реки, буйная зелень и остается скучная, серая, однообразная равнина.

Как же защищает себя население? Приблизительно так

же, как мы защищали себя от нашествия институтской дисциплины. Был полный разрыв между начальством и нами. Так и совдеп говорит: "они", "их власть", совершенно не отождествляя себя с "ними". Раз признав, что за непослушание надо платить дорогой ценой, мы были внешне послушны, но внутренне свободны. Идет совгражданин на митинг — явка обязательна, подписывается на заем — подписка обязательна. Его жизнь так отрегулирована начальством, что свободы выбора, как было и с нами, у него нет. Ему открыт только один путь — полного послушания. Обожествляют Сталина, и все покорно воскуряют ему фимиам. Именем Сталина начинается и кончается каждая речь, каждый печатный труд, нет такого хвалебного эпитета в превосходной степени, который бы не вкладывался в уста населения, а население повторяет.

Умер Сталин, развенчана его память, осужден культ личности, и многомиллионные митинги по всей стране, которые только вчера пели ему осанну, единоогласно его осуждают. Жуков — герой, и все кричат "Жуков — герой". Скажут , что Жуков предатель, и все закричат: "Жуков — предатель".

Правительство может быть довольно — оно создало однообразную, безличную, покорную массу, которая, не рассуждая, делает что прикажут. Но ведь это только видимость, цинизм, которым защищает себя человек от нашествия дисциплины. По существу, ему нет никакого дела до Сталина или Жукова. Повторяя приказанные слова или действия, он исполняет обязательную повинность, которая его нисколько не трогает. Он научился закрывать свою душу, свой мозг от навязанных действий, исполнять их механически, оставляя для себя свою внутреннюю свободу. Несмотря на все усилия воспитания и пропаганды, роботом он не сделался. За исключением нескольких тысяч, которые все еще находятся под гипнозом коммунизма.

Пока не выдуман аппарат для контролирования мыслей и воли (как предсказал в "Мы" Замятин), внутренняя свобода человека остается его собственной. И в этом главная опасность для коммунизма. И власть это понимает. Опустошив душу от моральных ценностей, религии, прежних понятий добра, справедливости и проч., они стараются ее наполнить новым содержанием: любовью к вождям и партии, гордостью военными достижениями, ненавистью к врагам, которые якобы готовы в любой момент напасть на СССР. Покровительствуют спорту, "чтобы поменьше думали", устраивают

состязания и парки культуры, в которых ничего нет от культуры, подставляют тело вместо души.

Но все же никто не знает, что таится в привыкших к скрытности советских душах, как никто не знает, что готовит нам в будущем рука великого дирижера, управляющая ритмами истории.

Нам надо было научиться перешагнуть пропасть, отделяющую прошлое от настоящего, привыкнуть к переоценке ценностей. Мы привыкли считать себя любимыми учителями, уважаемыми гражданами станицы Кореновской. Но наша гимназия тоже разделилась, копируя взрослых, на казаков и иногородних, и вражда вспыхнула и между ними. Падала дисциплина. Вместо дружелюбных, на нас часто смотрели враждебные глаза. В станицу мы старались не показываться, с такой злобой встречали нас иногородние бабы, и вслед слышалось: "буржуйки", "небось своих ждут", "офицеры-то за Кубанью". Было обидно, очень обидно переносить незаслуженную вражду.

Все больше прибывало войска и с севера, и из Екатеринодара, который был взят красными без боя и переименован в Краснодар. Гимназию взяли под постой войск, и занятия сами собой прекратились. Пришедшие с севера красные, под командой Сорокина, бывшего фельдшера, были несколько более дисциплинированны и похожи на армию. А может быть, грабить больше было нечего, и они считали, что советская власть уже установлена. Ходили слухи, что с севера идет какая-то армия и что под Кореновской будет бой.

У нас не было газет, вообще никакого сообщения с остальной Россией, и мы не знали, что Корнилов со своими людьми пробился на Дон. Там присоединились к нему части казаков и сумевшие спастись от преследования солдат офицеры. Образовалась Добровольческая армия с тремя бывшими главнокомандующими: Корниловым, Алексеевым, Дениkиным, и они пробирались к Екатеринодару на соединение с кубанцами.

К вечеру 16 марта Кореновка превратилась в настоящий военный лагерь. Говорили, что собралось до 20-ти тысяч солдат. С раннего утра на следующий день начался артиллерийский обстрел. Войска стянули на другую сторону Бейсужка, верстах в 3—4-х от станицы. У правления стояли подводы, куда грузили награбленное добро и канцелярию. Иногородние, действовавшие заодно с большевиками, выезжали за станицу, таща на себе узлы и детей. Несмотря на то, что на-

кануне нам было сказано, что для жителей нет никакой опасности, что противник будет уничтожен за станицей превосходящими силами, особого доверия эти уверения не внушали.

Нам ясно была слышна пулеметная стрельба, снаряды перелетали за станицу, несколько разорвалось на окраине. Многие жители прятались в подвале гимназии. Я отослала туда и Лену с няней. Меня удерживало на улице любопытство. В первый раз я видела близко войну. Всякая война есть организованное убийство, но все же в международных войнах действуют какие-то законы. Есть планы компании, расположения войск, соблюдаются известные правила, неприятельских раненых подбирают и лечат. В гражданской войне не было никаких правил. Здесь каждый защищал свою жизнь, каждый бой был вопросом личной жизни или смерти. Пленных не брали. Раненых добивали на месте. Для корниловцев не победить значило погибнуть, отступать им было некуда, не было у них ни подкреплений, ни тыла. Как затравленный со всех сторон зверь, они пробивали себе путь среди настигающих гончих. Каждый был героем, каждый творил чудеса храбрости, так как безвыходность положения создавала героев. Каждый стремился как можно дороже продать свою жизнь. Не ожидая нападения, нападал сам и защищался до последнего дыхания, так как знал, что пощады все равно не будет. Эта отчаянность, бешеный натиск, воля к победе как единственному средству выжить, сокрушили красных. У красных был обеспеченный тыл, за ними были занятые красными территории, запасы снарядов, численное преимущество, но воли к победе не было и вообще не хотелось умирать, когда осуществились их самые преувеличенные желания. И 20-тысячная армия не выдержала натиска и бежала, уступая поле сражения трем тысячам неприятеля.

Бой — чисто звериное действо. Выключается все человеческое — разум и чувства. Остаются примитивные инстинкты нападения и самосохранения, остаются не люди, а преследователи и преследуемые.

Как бегущее в панике стадо копытных, спасаясь от хищников, неслись по улице красные. На бегу бросали оружие, сбрасывали тяжелые сапоги. Задыхались и падали без сил. Их давили бегущие следом. Конница затаптывала пеших. Переворачивались повозки. Тяжелое дыхание, хрипы, стоны, крики наполняли воздух.

По пятам бегущих летела конница победителей. Ну, кажется, зачем преследовать, когда победа обеспечена, когда неприятель бежит?! Но преследователи были еще страшнее

преследуемых. В экстазе боя, с блуждающими дикими глазами, открытыми в исступленном "ура" ртами, они напоминали страшные исчадия ада, более звериные, чем сами звери. Они стреляли, рубили шашками, топтали бегущих конями...

Как сокрушающий ураган пронесся по станице, оставив на улице тела мертвых и раненых, которых выстрелом или ударом приклада тут же превращали в мертвецов.

Через пару часов все было кончено. Вылезли из подвалов жители. Стали разбирать мертвецов. Корниловцы занимали станицу. Гимназию отвели под офицерскую роту, к нам, в пустую половину дома, поместили роту юнкеров. Мы с Верочкой смотрели со страхом, как входили к нам во двор несколько десятков рослых молодцов, но они как только вошли, не раздеваясь легли на пол и уснули. Доведенные до крайней степени физического изнеможения, они спали не менее 15-ти часов. Затем стали просыпаться, мыться и чиститься. Мы поставили им самовар, но ни хлеба, ни сахара у нас не было. Им принесли обед из общей кухни, и они поделились с нами. Большинство из них были совсем мальчики, от 18 до 20 лет. Им бы еще учиться или только-только вступать в жизнь, но у каждого уже был свой горький опыт: разграбленные дома и имения, разрушенные семьи, убитые родители или родственники, замученные на глазах товарищи. И всех их объединяло одно чувство мщения, ненависти к угнетателям.

Днем устроили собрание у станичного правления. Генерал Алексеев призывал казаков присоединиться к ним. Но казаки, хотя и снабжали продовольствием, и постой давали охотно, воздерживались. Все было чужое: чужие генералы, чужая армия. "Свои" были за Кубанью, и они ждали их прихода, чтобы примкнуть к ним. После схода было нечто вроде парада. Стройными рядами проходили рослые, красивые молодцы, воины-варвары. Или, перемени на них одежду, они стали бы древнеримскими легионерами, так переработала война их психику.

Они были детьми интеллигентных родителей, воспитанные в духе христианской морали, учились в школах, танцевали на балах. Но все это прошлое не имело никакого отношения к настоящему. Оно отстало от них, как ненужное, даже вредное в настоящем положении, слезло, как кожа с линяющей змеи. Отброшены были доброта, жалость, человечность, справедливость, вместо них — жестокость, ненависть, злоба. "Око за око", "зуб за зуб" — даже больше того, два за одно. Очевидно, в постоянной опасности, перед лицом смер-

ти произошел отбор, и сохранилось лишь то, что необходимо для выживания — рефлексы и инстинкты. А вместо разума — дисциплина. За них думало и решало начальство. Только стратегический гений Корнилова и Алексеева мог их вывести из совершенно безнадежного положения.

Заперев наглухо те уголки души, где хранились прежние моральные ценности и воспоминания прошлого, они превратились в великолепных варваров, приучивших свое тело к всевозможным лишениям: голоду, холоду, недостатку сна. Они мгновенно засыпали, лишь только была возможность принять горизонтальное положение, спали и верхом на конях. Они переплывали ледяные реки, за что поход и назван Ледяным. Они превосходили в жестокости красных — темных мужиков. До какой степени ожесточенности должен дойти интеллигентный человек, чтобы добить раненого! Для них большевики были не люди — "красная сволочь". И они убивали, убивали и испытывали наслаждение от убийства.

Вечером второго дня корниловцы почти бесшумно оставили станицу, отступив не к Платнировской, где их ждали красные, а в обход, к Усть-Лабинской.

На следующее утро красные войска, перегруппировавшись и получив подкрепление, не зная об отступлении корниловцев, начали обстрел станицы. Не получив ответа, выслали разведчиков, и вскоре вошли "храбрые" войска с пением и музыкой. В гимназию и к нам поместили теперь красноармейцев. Опять начались аресты и обыски. Обыскивали и нас. На моих глазах солдат взял мои часы, лежавшие на столе, и положил к себе в карман. Что я могла сказать? У всех пришедших с юга были кольца и ручные часы. Воевать им больше не хотелось. Солдаты не могли не восхищаться тактикой белых. Армия — с артиллерией, ранеными, большим обозом — растаяла, исчезла. Посланные на преследование части не могли ее найти.

— Ну и генералы! — с восторгом говорил один красноармеец, ставя самовар у нас на кухне. — Настоящие, не нашим чета. Из-под самого носа из "мешка" вывели.

— Пущай уходят, — равнодушно возразил другой. — Им все равно пропадать, а нам тоже свою пролетарскую кровь зря проливать нечего.

Скоро войска проследовали дальше. Мы пошли посмотреть, что сталось с освобожденной от постоя гимназией. Боже мой! Ураган, промчавшийся по станице, захватил и ее. Загаженные, с налипшей на четверть аршина грязью полы,

грязные, исписанные ругательствами стены, изрубленные парты, пустые корешки книг, изорванных на цыгарки, обрывки разодранных карт и картин... Моя лаборатория превратилась в груду битого стекла, с разноцветными лужицами разлитых реактивов. Микроскоп и приборы для препарирования исчезли. Уничтожено все, что с такой любовью и трудом приобреталось и устраивалось годами. Кто произвел эти разрушения — красные или белые, мы не знали. Вероятно, и те, и другие. Вероятно, мысль офицеров даже не остановилась на том, что это гимназия, где учатся дети. Для них это была случайная крыша над головой, где они устроились с наименьшей затратой энергии. Когда жизнь измеряется днями, не думаешь о будущем, не проникаешься чужими интересами. Но битье посуды и реактивов было актом красного вандализма, жестокой, бессмысленной потехи.

Наша гимназия была в моих глазах символом всей России, поруганной, опоганенной, скрученной вихрем всеобщего разрушения.

Но жизнь не стоит. Погоревав, мы созвали учеников-добровольцев и принялись за чистку помещения.

К постоянному страху за жизнь Бориса прибавился новый страх: неужели война сделает варваром и его? Спасет, может быть, то, что он не убивает, а лечит.

Мы жили слухами. Казаки держали постоянную связь со "своими, за Кубанью". От них мы узнали о соединении корниловцев и кубанцев, о предстоящем бое за Екатеринодар.

С 9 апреля стала к нам доноситься орудийная стрельба. Несколько дней прошло в противоречивых слухах. Говорили, что город взят, что красные бегут. И действительно, у нас появилялось все больше и больше отступающих частей. Казаки приободрились и готовились встречать своих. Не было сомнения, что после занятия Екатеринодара красным на Кубани не удержаться.

13 апреля пришло известие, что Корнилов убит гранатой на ферме, где была его штаб-квартира, и что белая армия отступила. Поток красноармейцев опять направился на юг.

Отступление белой армии было большим ударом для казачества. Многие кубанцы вернулись домой с рассказами о громадных потерях, недостатке снарядов и о безнадежном положении белых.

Пропала и моя надежда на скорую встречу с Борисом. Я мучилась страхом и неизвестностью. Может, и он был в числе

убитых?.. Эту пытку неизвестностью я должна была выдерживать долгие месяцы.

Приходили к нам разные части, посланные преследовать неприятеля.

— Ишь, дьяволы, — говорили солдаты, — кружат по степи, как лисицы от собак. Где тут за ними угнаться? Гоняют, гоняют из станицы в станицу преследовать врага. Куда ни придешь, был, говорят, да ушел, а куда — неизвестно.

Никто не проявлял усердия в бесплодном преследовании. Воевать надоело, и со взятием Краснодара считали войну оконченной.

— Чего зря кровь проливать.

Белая армия отходила к Дону, побеждая в совершенно неравных боях, ускользая из "мешков" и "колец" и исчезая неизвестно куда, но всегда не в том направлении, где ее ждали красные. Затем наступила тишина, замолкли слухи. Армия ушла из пределов Кубани.

Кореновская увидела настоящую войну в июле 1918 г., когда белая армия, подкрепившись вооружением и восставшими против большевиков донцами, снова начала наступление на Кубань. Опять Кореновская была выбрана красными местом для боя. На этот раз они расположились за станицей, так что все снаряды с одной и другой стороны летели через наши головы. В гимназии поместили красный штаб, во дворе — госпиталь. В большом подвале, где у грека была ссыпка зерна, прятались жители. Подвал был живой иллюстрацией на тему "всюду — жизнь". За три дня сидения публика обжилась и устроилась. Кучи зерна служили диванами, столами, постелями. Выходя по ночам, когда затихала стрельба, приносили с собой припасы, примуса, одеяла. Завязывались знакомства. Играли дети. Даже тут общество было не чуждо социальных перегородок. Нам отвели лучший угол, так что никто из проходящих не перешагивал через нас. Вверху рвались снаряды, но разговоры, лишь на минуту замирая при взрывах, продолжались на светские темы: о детях, о ценах на продукты и проч.

Словесник в нашем уголке стал читать Пушкина, и все больше и больше слушателей присоединялось к нам. В сумерках потихоньку выбирались и старались узнать новости. Но никто ничего не знал. О близости боя мы судили только по силе взрывов.

Меня мучила тревога за Бориса. Он должен быть где-то там, с наступающими войсками, и я вздрагивала от каждого

снаряда, мысленно молясь: "Пронеси мимо него". От бессонницы и недостатка свежего воздуха кружилась голова.

Я удивлялась человеческой приспособляемости. Как будто подвал был их постоянным жилищем: ели, разговаривали, спали. А наверху люди убивали друг друга. Об этом никто не говорил и, казалось, не думал.

К вечеру третьего дня прибавились новые звуки: стрекотанье пулеметов и тонкое, пчелиное пение пуль.

— Подходят!

— Кто? — послышались испуганные голоса.

Но этого никто не знал.

Приоткрыли дверь подвала. И вдруг нас как будто вынесло на гребень волны. Снаряды, пулеметы, винтовки, крики, лошадиный и человеческий топот смешались в какофонию звуков. Неистовое "ура" пронеслось над нами. И через несколько минут — тишина. Волна покатилась дальше.

Станица была взята. Робкими тенями, озираясь по сторонам, выползали мы по лестнице наверх. На улице было пусто, тихо, темно. С Леной на руках, прижимаясь к заборам, я прокралась к дому. Во дворе пофыркивали лошади. Но в доме стояла тишина — все спали. Я уже знала эту способность мгновенно засыпать от изнеможения и, присмотревшись поближе, различила офицерские погоны.

У меня была одна забота — узнать что-нибудь о Борисе. С утра я дежурила на вокзале, надеясь увидеть кого-нибудь из кубанцев. Я не могла не удивляться, как переменчиво военное счастье. Давно ли разбитая, отчаявшаяся, оборванная и почти безоружная армия бежала от Краснодара. А теперь — беспрерывно движущийся поток вагонов, груженых пехотой, конницей, артиллерийскими орудиями, снарядами, военным снаряжением и продовольствием. Все одеты, обуты, уверены в победе. И в станице, и на вокзале чувствовалось спокойствие профессионалов военного ремесла. Это все были вновь сформированные части Добровольческой армии. Уже не было в них той монолитности, героики, жестокого удальства, которые отличали великолепных варваров Корнилова.

Мне ничего не удалось узнать о Борисе, кубанцы двигались конным и пешим порядком, и многие части пошли уже в сторону Екатеринодара.

Борис приехал к вечеру. Когда он обнял меня, я почувствовала, как огромная тяжесть свалилась с моих плеч, как будто выросли крылья, так мне стало легко. Под каким гнетом страха и неизвестности жила я все эти месяцы!

Несмотря на позднее время, узнав о его приезде, собрались мои коллеги. Всем хотелось удостовериться, что это конец, что большевиков больше сюда не пустят. Борис и сам был уверен в этом. Сидя рядом с ним на диване, чувствуя его руку за моей спиной, я была счастлива, хотя то, что он рассказывал, должно было вызывать содрогание и ужас. Все отрицательные эмоции временно выключились из моей души, и я счастливо улыбалась, слушая о трудностях похода, голоде, холоде, постоянной опасности. Все это казалось страшной сказкой, а действительность-то — что он был тут, рядом со мной, и что мы больше не расстанемся.

Уложив его спать, я не хотела засыпать сама, я не хотела ни одной крохи счастья отдавать небытию. Такая умиленная нежность наполняла меня, такая благодарность к нему за то, что он жив. Я боялась закрыть глаза. Вдруг открою — а его нет рядом со мной. Я боялась двинуться, шевельнуться, чтоб не спугнуть счастье.

Но все же ранним утром оно было вспугнуто артиллерийской стрельбой. Я потихоньку встала, открыла окно. Сомнений не было. Стрельба была со стороны Дядьковской. Я все еще сомневалась, будить ли мне Бориса, когда Верочка постучала в дверь.

— Большевики наступают. Будите скорее Бориса.

При слове "большевики" Борис мгновенно проснулся. Прислушался к приближающейся стрельбе, начал одеваться. На улице появлялось все больше народа, бегущего в сторону вокзала.

— Я пойду на вокзал. Узнаю, в чем дело. Если окажется, что действительно большевики, я приду за тобой. Тебе нельзя оставаться после того, как меня видели здесь.

Он ушел. Со стесненным сердцем провожала я глазами его высокую фигуру, скоро исчезнувшую в толпе. До вокзала было версты три, пройдет час, пока он вернется. Да и вернется ли?.. И опять тяжесть прыгнула мне на плечи и придавила к земле.

Я пошла в гимназию. Со второго этажа мне было легче наблюдать и скорее увидеть в толпе Бориса. Вдали, в стороне Екатеринодара железнодорожное полотно перебегали какие-то фигуры, строились вдоль полотна. Паника на улице усилилась. Казалось, на этот раз бежит вся станица. Тачанки, повозки, мажары запрудили дорогу. Среди них — беспорядочная масса женщин, взрослых, детей, хаос узлов и вещей. Все это стремилось, сталкивалось, опрокидывалось, мешая друг другу. Со

двора гимназии стали выползать раненые. Очевидно, они были оставлены на произвол судьбы. Ползком, на четвереньках, на костылях, безрукие, безногие человеческие обрубки, они задыхались, стонали, с трудом продвигаясь вперед.

И никто из потерявшего разум человеческого стада им не помог, никто не бросил свой скарб и не предложил им место на повозке. Обходя, их бранили за то, что они задерживают движение.

Наконец я увидела бегущего против течения Бориса и выскочила ему навстречу.

— Бежим, — закричал он, увидев меня, — нельзя терять ни минуты. Красные перерезали путь с севера и обходят с юга. Войска за ночь эвакуировали станцию.

Мы бежали средь моря повозок, людей и узлов. Нас толкали и ругали, когда Борис сильным плечом пролагал дорогу.

— Борис, свернем в переулок. Я знаю дорогу ближе и не так тесно.

Выбиться из общего потока было не так легко. Одну меня, конечно, раздавили бы. Выбившись из толпы, бежать стало легче, но я чувствовала, как силы покидают меня, как вот-вот остановится сердце.

— Не могу больше, Борис. Беги один. Тебе надо спасаться. Я останусь.

Не отвечая, Борис схватил меня на руки, не замедляя бега. На вокзале нас окружила еще большая паника, еще больший хаос. Испуганное стадо беженцев бросало вещи, которые с таким трудом тащили до вокзала, шарахались от выстрелов то в одну, то в другую сторону, дрались и давили друг друга, стараясь протиснуться в стоящий на путях товарный состав, уже переполненный. Впереди на полотне были видны уже фигуры красноармейцев, стрелявших по вокзалу. Изредка им отвечали с нашей стороны.

Я не видела никакой возможности влезть в вагон. Злобные, угрожающие фигуры преграждали путь.

— Куда лезете? Видите, местов нет. — Здоровый парень расставил руки, преграждая вход.

Борис, не говоря ни слова, взял его за шиворот и сбросил на перрон, втискивая меня в вагон. Парень полез драться, но публика ему не сочувствовала, и, злобясь, он отошел.

Борис ушел на разведку. Все чаще и чаще свистели пули. Я тревожно искала глазами Бориса. Публика в вагоне волновалась: "Почему нас не отправляют? Большевики близко. Перережут нас всех".

Взоры всех обратились на бегущего к нам Бориса.

— Как, г-н офицер, скоро поедем?

— Я здесь, Борис, здесь, — закричала я, думая, что он меня не заметил. Но он пробежал мимо.

— Г-да офицеры, ко мне! — послышался его зычный голос.

Из разных вагонов выпрыгнуло около десятка офицеров.

— Комендант, сволочь, посадил народ в поезд без машиниста. Машиниста поймали, но он с другого поезда и на этом ехать не соглашаеется. Надо пересадить публику. Становитесь у входа в вагоны и стреляйте тех, кто не слушает команды.

Пассажиры уже спрыгивали из вагонов, тесня и давя друг друга. "Раненых давят" — послышались крики.

— Расступись! Раненых вперед! — закричал Борис, наступая на толпу и угрожая револьвером.

Раненых пропустили и услужливо помогли им подняться в вагоны.

— Становитесь в очередь. Без очереди никто не пройдет — командовали офицеры.

Публика, почувствовав облегчение оттого, что есть кого слушаться, покорно становилась в очередь и быстро распределилась по вагонам.

— Беги на паровоз, — обратился ко мне Борис.

— Господа офицеры, на паровоз, — скомандовал Борис, когда посадка была кончена.

Машиниста стерегли два офицера с револьверами в руках.

— Гони, — приказал Борис.

Скрипя и пыхтя, паровоз неохотно двинулся.

— Гони! — закричал Борис, наставляя на него револьвер.

Машинист прибавил ходу.

— Шпалы на рельсах, не проедем, — пробурчал он.

— Не проедем — застрелю — был короткий ответ.

Мы подъезжали к цепи большевиков, преградивших путь.

— Полным ходом — вперед! — приказал Борис.

С обоих сторон дороги нас обстреливали. Торопливо, окаянно стучали пулеметы, как орехи щелкали, ударяясь в стены вагонов, пули. Пробили стекло.

— Ложись! — скомандовал мне Борис.

Старая машина, кряхтя и пыхтя, напрягала все силы. Тише стало тявканье пулеметов, пока не смолкло вдали.

— Проехали, — широко улыбаясь, повернулся к нам ма-

шинист. — Слава тебе, Господи, — и, забыв свои большевистские симпатии, он истово перекрестился.

Путь впереди был свободен. Когда я поднялась с пола, вымазанная в саже и грязи, мой вид вызвал невольный смех у офицеров: "Получили боевое крещение".

Через несколько минут мы были на станции Платнировка. Тишина и покой поражали как нечто неожиданное. Красное станционное здание, ряды пирамидальных тополей, кусты белой акации вдоль насыпи дороги, белые хаты во фруктовых садах — все было, как всегда, — мирно, тихо, сонно. И люди, не испытавшие войны, были ласковые и добрые. Раненых накормили, устроили поудобней в вагонах. Беженцы разбрелись по станице, разыскивая знакомых. Многие тут же у полотна устроились спать. Меня с Борисом пригласил к себе начальник станции, где я помылась, почистилась и оделась в слишком широкое для меня платье начальницы. А вечером нам постлали коврик в саду. Борис быстро заснул, а я смотрела в усыпанное крупными звездами кубанское небо, благодаря судьбу за то, что она сохранила нас живыми и вместе.

Мы оказались отрезанными на маленьком железнодорожном участке Платнировка-Двинская, горсточка бойцов с весьма ограниченным количеством снарядов. От Кореновской наступала сильная армия Сорокина. Подкреплений ждать было неоткуда, надо было держаться.

С раннего утра население Платнировки отправилось рыть окопы. Казаки с оружием присоединились к воинам — каждый человек был дорог — и заняли позиции в окопах. С утра же полетели в нашу сторону снаряды красных. Сначала мы с женой начальника станции прятались, ложились на пол, но потом перестали. Подействовало на нас главным образом то спокойствие, с каким казачки продолжали свою обычную деятельность: кормили скотину, носили воду из колодцев, стирали белье. Может быть, у красных были неопытные артиллеристы, но из многих десятков снарядов ни один не разорвался в станице.

Чтобы не бояться, надо было найти занятие и делать вид, что ничего особенного не происходит. Я стала помогать в уходе за ранеными, в приготовлении пищи и заставила себя спокойно допить чашку чая, когда снаряд просвистел над головой. К концу третьего дня я их уже не замечала.

Привыкла я и к беженскому положению. У меня было только одно платье и одна смена белья, я их стирала вечером и надевала утром. И странно было вспомнить, что мы

обычно возим за собой чемоданы ненужных вещей.

Я видела, что только смерть может остановить течение жизни. Такая сила жизненности, приспособляемости дана людям. Жизнь шла под обстрелом в подвале, жизнь продолжалась в станице с тем постоянным ежедневным ритмом, который невозможно было нарушить. Дети требовали внимания, скот и птицу надо было поить и кормить. Надо было приготовить пищу для бойцов, выстирать их белье. Пищу казачки относили под обстрелом в окопы и возвращались обратно с пустой посудой.

Чуть светало, Борис, взяв винтовку, отправлялся вместе со всеми в окопы. Он был и воин, и лекарь. Раненых перевязывали и оказывали им первую помощь в окопах, потом относили в вагоны ночью. Два фельдшера ему помогали и оставались с ранеными днем. Конечно, мог бы остаться и Борис, но я знала, что так ему было легче, — некогда думать.

С заходом солнца прекращалась стрельба и измученные люди ложились на землю и засыпали.

Мы с Борисом спали на подводе около полотна дороги. Подводы были заготовлены для раненых на случай отступления и невозможности удержать дорогу.

Борис засыпал мгновенно, но я совершенно потеряла способность спать. Я лежала и слушала тишину: успокоенно шептали листьями пирамидальные тополя, буднично лаяли в станице собаки, мирно пофыркивали, жуя траву, нераспрягаемые ни днем, ни ночью лошади. Все спали так безмятежно, спокойно, как будто целый день не провели, убивая друг друга.

От бессонницы, слабости, постоянного нервного напряжения кружилась голова. Я смотрела в небо, и мне чудилось, что я тону в бархатной бездне, качаюсь на звездных качелях, баюкаюсь звездными ритмами. Я была почти счастлива. Сегодняшний день опять вернул мне Бориса, его плечо под моей головой, его дыхание на моей щеке. А умереть с ним завтра — разве не счастье? Разве не счастье перестать жить среди людей, утративших жалость и мудрость, забывших о правде и добродетели, захлебывающихся в крови.

Тишина прерывалась потоком брани, исступленным криком: "Говори, красная сволочь!" Свист нагайки, удары, униженный, почти нечеловеческий, собачий визг. Рядом в вагоне допрашивали пленного. И через несколько минут — выстрел. Убили...

Откуда в человеке эта жестокость? Она не от диких предков. Дикари убивают, но не мучают. Она не от зверей —

те убивают по необходимости, вызванной голодом или самозащитой. Это особая, человеческая жестокость, садизм, наслаждение мучениями жертвы.

И как это случилось, что за несколько месяцев люди одной страны, связанные общей историей, общей религией, общими интересами, оказались смертельными врагами, лютой ненавистью ненавидящими друг друга?

Тот народ, который научили нас любить наши писатели, народ-богоносец, народ, в жертву которому принесены бесчисленные жертвы мечтателей, таких, как декабристы, Софья Перовская, Каляев... этот народ оказался разбойником. ”Уж я времечко проведу, проведу; уж я ножичком полосну, полосну”.

Убили старенького священника, повесили учителя и сейчас, если большевики настигнут нас, разве не протянутся десятки жадных рук и не растерзают на месте?

За ними следом сбросило личину цивилизации и офицерство. Как же тонка и непрочна оказалась она, и обнаружилась сущность дикарей — убей или сам будешь убит.....

Вдруг страшный крик как молнией прорезал тишину. В ту же секунду его подхватили сотни голосов. С воплями первобытного дикарского ужаса, руководимые животным инстинктом, чующим опасность, все бросились бежать. Раненые выбрасывались из вагонов и ползли в кусты.

Это была паника, подобная институтскому ”крику”, когда сотни девочек с криками неслись по коридорам.

К счастью, есть люди, умеющие владеть инстинктами.

— Стой, остановись! — во весь голос кричал Борис, вскакивая на подводу. — Остановись, стрелять буду!

К нему присоединились другие голоса: ”Что такое? Что случилось? Где большевики?”

Выстрелы в воздух остановили толпу. Люди как будто только сейчас проснулись и остановились в недоумении. Кто закричал? Почему? Никто не знал. Через несколько минут все были на местах и продолжали прерванный сон.

Я, как и в институте, не могла двинуться, все мое существо было парализовано страхом, и я долго не могла успокоиться от пережитого потрясения, лежа рядом с сонным Борисом.

Паника поражает своей мгновенностью. Разум еще не успел включиться, как инстинкт командует: спасайся, беги! Паника действует, как электрический шок, и опустошает нервную систему.

Дрожа в нервном ознобе и прижимаясь, чтобы согреть-

ся, к теплому телу Бориса, я испытывала гордость за него. Он был один из немногих, кто умел сохранять присутствие духа в опасности и взять на себя команду в минуту общей растерянности. Война сделала и его жестоким, но варваром он не стал.

К вечеру третьего дня почти не осталось снарядов. Более обычного изнеможенные и мрачные бойцы повалились спать. Перед рассветом вдруг в кустах запела птичка, за ней вторая, и защебетал целый хор. Я слушала, очарованная. За все время боев ни разу не слышалось птичьего пения. Испуганные снарядами, они разлетелись. Я не могла удержаться и разбудила Бориса: "Птички поют!" Борис прислушался и глубоко и радостно вздохнул: "Это значит, большевики отступили". И действительно, снарядов, будивших нас каждое утро, больше не было слышно.

Обещали восстановить железнодорожное сообщение с Тихорецкой, но мы с Борисом, беспокоясь о Лене, решили, что быстрее доедем на тачанке. Всего было семь верст, но они заняли у нас три часа. Дороги фактически не осталось, надо было ехать по целине.

Неужели это была та самая, зеленая, вышитая цветами степь, где я гуляла, устраивала экскурсии с учениками...

Вытоптанная тысячами ног и копыт, поруганная, пустая и мертвая, она дышала зловонными испарениями разлагающихся трупов, чернела глыбами чернозема, вывернутого тяжелыми колесами артиллерии, вспаханного рядами окопов, ямами, воронками от снарядов. Кубанская земля, щедрая мать, лежала перед нами тяжело раненная, с вывороченными внутренностями, истекая кровью.

Было жарко, душно и нестерпимо зловонно от разбросанных по степи одутловатых, раскоряченных лошадиных трупов. По мере приближения к станице отчетливее слышалась канонада.

— Опять наступают, — вздохнул Борис. — Лучше нам прямо на вокзал ехать.

— Хоть на минуту заедем, взглянем на Лену, — просила я.

— Лишние полчаса. За это время могут отрезать, — возразил Борис, но все-таки повернул к станице.

Я едва успела расцеловать Лену, помыться и переодеться, как надо было ехать дальше. О, как мне хотелось остаться, лечь на мягкую постель и спать, спать... Но Борис торопил, и я поборола минутное малодушие.

Остановились у вокзала.

— Есть только один воинский состав, — сказал Борис, возвращаясь с разведки, — тебя туда не возьмут.

— Оставь меня, Борис. Поезжай сам. Я успею вернуться домой.

Не отвечая, Борис повернул на дорогу вдоль полотна.

— Попробуем пробраться к Выселкам. Может быть, там есть другие поезда.

Выехали в степь. Притаилась, притихла степь, но не обычной безмятежной вечерней тишиной. Ее безмолвие было полно зловещих предчувствий. Пылало закатное небо, размалеванное кровью. Кровавые отблески ложились на землю, на придорожные кусты.

Из-за пригорка показались фигуры всадников. Борис свернул лошадь в кусты. Притаились, прислушиваясь к приближающемуся топоту копыт. "Дай прикурить, товарищ", — донесло до нас ветром. Большевистский разъезд... Сердце стучало так, что казалось, его было слышно и проезжавшим большевикам.

Проехали.

— А, черт, — выругался Борис. — Я думал заночевать на хуторе, но, видно, и там большевики. Лучше повернуть назад.

Мы свернули с дороги. Быстро темнело. Страшно было ночью в степи такой ночью. Она была полна тенями, призраками, тоской, страхом. Она превращала деревья в фигуры всадников, шум ветра — в цоканье копыт.

Вдали заблестели огни станции. Мы подъехали к полотну.

— Вылезай, — скомандовал Борис. — Мы оставим тачанку здесь. Правдой или неправдой надо пробраться в поезд.

Мы пошли крадучись вдоль состава. Борис пробовал каждый вагон. Заперты. Наконец дверцы одного поддались под напором сильного плеча. Борис поднял меня, втолкнул в вагон и закрыл двери.

— Кто? — послышался окрик.

— Свои. Проверяю вагоны, — ответил спокойный голос Бориса. Я осталась одна в совершенной темноте. Держась за стену, ощупью пробралась в угол и села. Должно быть, в вагоне были лошади. Они пофыркивали, переступали ногами. Лошадей я не боялась, я боялась людей. Что со мной сделают, — думала я, — если найдут: выбросят или убьют? Могут принять за шпионку. Или, может быть, я, как в Кореновской, сижу в поезде без паровоза, и меня найдут большевики. Борис может забыть, в каком я вагоне, и не найти меня...

Наконец поезд вздрогнул и двинулся с места. Проехав несколько минут, остановился опять. Долго стояли. От усталости и нервного напряжения мной мало-помалу овладело какое-то летаргическое состояние окаменелости и безразличия. Вдруг кто-то открыл двери вагона. Я прижалась в угол. Но никто не вошел, только вбросили сена лошадям. Я пробралась меж лошадиных ног и протащила в свой угол сена.

Поехали опять. С лошадьми было хорошо, лучше, чем одной. Они так мирно пофыркивали, пожеваывая сено, что-то домашнее, уютное исходило от них.

Мало-помалу в щели стал пробиваться свет. Остановились. Кто-то снаружи возился над замком. Я спряталась за лошадей.

— Ты где? — послышался голос Бориса.

— О, слава Богу, — воскликнула я, бросаясь к нему. — Где мы?

— На станции Выселки. Кореновская опять в руках товарищей. Тот хутор, где мы собирались ночевать — тоже. С утра наступают на Выселки.

Как бы в подтверждение его слов заахала, застукала, забубнила обычная музыка. Борис помог мне вылезти из вагона. Насыпь железнодорожного полотна была устлана телами спящих. Не успели приехать и уже спят...

Вдруг в воздух взвились стекла и щепки. Снаряд попал в здание станции. Другой — в последний вагон.

— Ишь, наловчились, собаки, — равнодушно заметил кто-то из группы растянувшихся на насыпи тел.

Потом что-то зажужжало, зашуршало, защелкало, шлепнулось в стену, в дерево и посыпалось, как крупный град.

— Ложись в канаву и не вставай, пока я за тобой не приду, — сказал, уходя куда-то, Борис.

Я изо всех сил прижималась ко дну канавы, стараясь распластаться как можно площе, слиться с землей.

Равномерное неуловимое та-та-та и шлеп-шлеп внушало мне ужас. Пулеметы были гораздо страшнее снарядов. Казалось, они сеяли повсюду, и некуда от них было спрятаться.

И только тогда, почесываясь и кряхтя, стали подыматься с насыпи фигуры, выводить лошадей, запрягать в тачанки.

Я боялась выглянуть подальше и в страхе ждала Бориса.

— Беги к тачанке полковника — видишь? — сказал Борис, появившись на краю канавы. — Он хоть и ворчал, но обещал тебя взять.

— А ты?

— Я пойду пешком с отступающими частями. Беги скорей!

Я бежала, пригибаясь к земле, падая, прячась за деревья. Сердитый, заспанный полковник недружелюбно покосился на меня, но не возражал, когда я влезла в тачанку. Тут было еще страшнее, пули шлепали кругом, и негде было укрыться. Я едва удерживалась, чтобы не спросить, почему мы не едем. Ведь нас же убьют. Наконец полковник сказал молодому офицеру на козлах:

— Трогай потихоньку.

Офицер, вероятно, разделял мое нетерпение и быстро взял с места.

— Потихоньку! — холодно приказал полковник. И так мы и ехали шагом среди пулеметного и орудийного огня, среди людей, коней, подвод отступающих.

— Бежать — так их много, наступать — так нет никого, — ворчал полковник. — Проспали станцию.

Тихорецкая, большая узловая станция на полдороге от Ростова до Екатеринодара, была превращена в тыловую базу и забита военными до отказа. Тут были штабы, канцелярии, учреждения, происки, интриги — все, что полагается в тылу армии.

Я ночевала в одной комнате с пятью офицерами, на жестком полу, не раздеваясь. Они все спали как убитые, а я, не смея встать, вертелась с боку на бок в бессонице. О, какой роскошью казались мне теперь ночи, проведенные на подводе под звездным Платнировским небом!

Только на седьмой день возобновилось сообщение с Кореновской, и мы могли проехать туда по железной дороге.

Сильно пострадала наша станица. Здание правления было разрушено снарядами, на площади вместо домов — обгорелые пни, остовы зданий. На дворах и улицах свалены были груды поломанных вещей, куски мебели, битая посуда. Мелкие лавочки и склады были разгромлены дотла. Казаки, кто мог, скрывались от красных в степи и, вернувшись, находили себя разоренными: поля были вытоптаны, лошади уведены, скот и птица перерезаны, дома разрушены. Видно, потешались товарищи напоследок.

Но такова сила жизни, что через две недели после того, как ушли красные, — о них вообще больше не было слышно, — начал налаживаться привычный обиход. Появились новые горшки, новые куры и свиньи, заскрипели арбы, — вы-

ехали казаки пахать и сеять, поливать потом пропитанную кровью родную степь.

Армия Сорокина отступила, и Кубань возвращалась к мирной, привычной жизни.

Борис получил назначение в Екатеринодар, и я без особого сожаления оставила станицу.

Тихий провинциальный Екатеринодар превратился в столицу. Все, кто успел спастись, держали путь на Кубань. Многие пытались через Новороссийск выбраться за границу. Крупная буржуазия, дипломаты, чиновники, адвокаты, политики, шикарно одетые женщины наводняли улицы днем и ночью. Но главную массу составляли военные, кажется, всех существовавших в России форм: уланы, драгуны, гусары, кавалергарды... Каски, кивера, перья, звенящие шпоры, шашки и палаши... Поражало, почему такое количество военных в тылу, а не на фронте. Магазины сияли огромными витринами — духи, пудра, шоколад, шелка, кружева. В ювелирных магазинах выставлялись редкие фамильные драгоценности, свезенные со всех концов России, взамен которых услужливые армяне ссужали беженцев с каждым днем все более обесценивавшейся валютой.

Вечерами, еще больше, чем днем, город гудел, шумел, переливался пестрыми людскими волнами, световые рекламы зазывали в места развлечений, музыка, заглушая разноголосый шум, вырывалась на улицу из кафе и ресторанов. Гастролировали столичные артисты большой и малой сцены. Чудесно пела русские песенки Новицкая. Входил в моду Вертинский. Одетый в костюм арлекина, он нашептывал-напевал свои песенки, потрясая сердца дам. Постоянно вырастали новые кино — Вера Холодная, Мозжухин, Полонский, Максимов были кумирами зрителей. ”У камина”, ”Позабудь про камин...” и проч.

Общее впечатление было как от ”пира во время чумы”. Но чума в начале 1919 года была еще далеко. Газеты были полны описаний успеха донцов и добровольцев, радостных встреч, которые им устраивало население, а, главное, ожиданием союзников, которые уже прислали миссии для ознакомления с положением на местах и обещали немедленную помощь. Не было сомнений в сердцах знатных беженцев, что скоро-скоро они вернутся к себе домой, в свои дома и поместья, и заживут прежней беспечной жизнью. А пока они снисходительно терпели неудобства провинциальной жизни, с пренебрежительной развязностью третируя казаков, хозяев Кубани. Большинство старалось пристроиться около

добровольческого командования, в качестве поставщиков, советников и проч., создавая и развивая интриги, вовлекая командование в политику. Спекулянты и шкурники раздували тыл армии. Честные благородные воины сражались на фронтах, рискуя своей жизнью, терпя холод и голод. Казаки в окопах просили теплой одежды и сапог, а в тылу щеголяли ловко сшитой черкеской, френчами и галифе, пили вино, хвастали своими подвигами, звенели золотом и говорили, говорили...

Мы занимали большой дом на Карасунской улице, которая спускалась вниз, к Кубани. Был большой двор с несколькими десятками фруктовых деревьев: черешен, слив, абрикосов. Борис в свободное время занимался хозяйством. Вскопал большую часть двора под огород. Я была рада, что могла больше вермени посвятить Лене. Я боялась, как бы последние события в Кореновской не отразились на ее нервной системе. Она похудела и часто плакала во сне. К счастью, у нас оказались хорошие соседские дети, и скоро, оставив позади все тревоги, наладилась на дворе буйная детская жизнь. Любимым развлечением было сидеть на заборе и наблюдать жизнь на улице. Недалеко от нас была церковь, и там постоянно случалось что-нибудь интересное для детей: то похороны, то свадьбы. Лена была красивая умненькая девочка. Читать она выучилась без труда, но книги не заслоняли от нее жизнь, как было со мной. Я не замечала в ней комплекса неполноценности, мучившего меня в моем детстве. В это время шла в кинотеатрах картина "Невеста солнца" в семи сериях. Лена со страшным волнением следила за фантастическими похождениями "невесты", а потом ребята разыгрывали картину по-своему у нас на дворе.

В Екатеринодаре встречались люди, которые не виделись много лет; так и я, идя однажды по Красной улице, натолкнулась на В. М. Мы оба остановились, не веря своим глазам, потом он схватил меня за руки и стал целовать.

— Пойдем тут рядом в кафе, — предложила я, — сядем и поговорим.

— Рассказывайте все по порядку, — попросила я, когда мы уселись. — Как Женя? Как все Вольфы?

— Они успели благополучно выехать. Купили маленький домик в Кисловодске и доживают свой век. Любомир разграбили, но дом не сожгли, по крайней мере, пока я там был. Писаревку сожгли дотла. Меня предупредили верные люди, и я успел ночью выехать верхом на станцию. Вещи пришлось бросить. Деньги и документы я заранее перевел в Варшаву.

— Что вы делаете здесь?

— Ищу возможности проехать через Новороссийск в Европу и оттуда — в Польшу. Пробираться через красную Россию слишком рискованно.

— Поговорите об этом с мужем. Он может помочь. Приходите к нам вечером обедать.

Несмотря на полное расхождение характеров, Борис и В. М. понравились друг другу. Борис обещал познакомить его с нужными людьми.

Моя жизнь с приездом В. М. стала веселее. Борис часто был занят по вечерам, кроме того, развлечения были весьма дороги. В. М. уверял, что у него денег более чем достаточно на театры, кабаре, кино. Когда Борис был свободен, мы ходили втроем. В. М. открыл кабаре, где пели цыгане, и хотя это не были цыгане Стрельны или Яра, но все же было хорошо, и сделалось нашим любимым развлечением. Как-то сама собой восстановилась наша молчаливая созвучность.

— Ах, Зиночка, — говорил В. М., целуя мне руки, — я знаю, что Борис — как раз тот муж, который вам нужен, но себе я никогда не прощу, что я вас прозевал.

— Не надо было ждать пять лет, — смеялась я.

Через месяц он уехал.

Вторая неожиданная встреча была у меня с младшим братом. Я работала в огороде и увидела входящего в калитку высокого худого военного.

— Не узнаешь? — спросил он подходя.

— Боже мой! Коля! Слава Богу, ты жив! Я так боялась за тебя.

Коля был мобилизован красными в Воронеже. Попал в армию Сорокина и с нею на Кубань. Под Дядьковской заболел сыпным тифом и при отступлении красных был оставлен один на хуторе.

— Жутко было, — рассказывал он. — Кругом ни души. Горю, как в аду, пить хочется, воды нет. Наконец жажда так замучила меня, что я встал и, держась за стены, выбрался в сад, где был колодец. Падал, вставал, опять падал. Несколько часов ведро воды из колодца тащил, да так и не вытащил, упал без сознания. Так меня и нашел офицерский разъезд, который подъехал к колодцу напоить лошадей. Пнул ногой меня какой-то ферт, чтоб узнать, жив ли "красная сволочь". Я открыл глаза да как посыпал в него кавалерийским жаргоном, он остановился, а то по привычке собирался добить. Поволокли меня в штаб. Пытали разными вопросами, но я все толково рассказал: и где наш полк стоял, и в каких бит-

вах принимал участие, и фамилии командиров и офицеров. Поверили. Стыдно, говорят, кавалеристу у красной сволочи служить. Пробирался, говорю, к генералу Деникину. Ждал только случая, чтоб отстать. Отпустили.

— Оставайся с нами, Коля. Здесь тебя никто не тронет.

— Нет, спасибо. Буду пробираться в Воронеж. У меня там жена и маленькая дочка. А красные меня не тронут. Я многому у них научился во время похода. Сумею за себя постоять.

Коля рассказал мне о смерти бабушки, о том, что у дяди отобрали большой дом, оставив ему только флигель, что наш прекрасный беккеровский рояль реквизировал какой-то клуб.

Борис тоже уговаривал Колю остаться, обещал найти ему работу, но Коля остался непреклонен и, пожив у нас две недели, почистившись и откормившись, двинулся дальше.

Вскоре после его отъезда Борис сообщил мне, что ему предлагает Кубанское ведомство здравоохранения поехать во Францию для закупки медикаментов и медицинского оборудования, в котором был большой недостаток. Предложение было заманчивое, и жаль было от него отказываться. Мне очень хотелось поехать вместе с Борисом, но французская миссия в визе мне отказала. Страшно было расставаться в такое нестойкое время, но все же я считала, что не имею права удерживать Бориса. Я поехала проводить его на пароходе до Батума в надежде, что, может быть, там французский представитель окажется добрее. Но надежда моя не оправдалась.

В Батуме было много иностранных миссий, много войск. Две ночи мы провели в гостинице, где бесчинствовали казаки.

Не дождавшись отъезда Бориса, я села на пароход в Новороссийск. Несмотря на печаль разлуки, поездка была приятной. Море было спокойно, берега красивы. Я познакомилась с морским офицером, который вызвался сопровождать меня на берегу в Сухуми и в Сочи. Между прочим, он мне рассказал, что он является представителем военно-морского кооператива, которому один из великих князей разрешил пользоваться его землей в красивой долине между Сочи и Туапсе. Но желающих находилось мало, так как для пропитания надо было работать: завести хозяйство, пахать и сеять.

— В наше время нет людей, которые хотели бы заняться честным трудом, — с неудовольствием говорил он, — предпочитают быструю наживу.

Сам он жил в Сочи и предлагал мне бесплатно на лето

одну из прекрасных дач на берегу моря близ Туапсе. Хозяева выехали за границуу и дали ему право распоряжаться имением. Меня пленила красота черноморского побережья, и я решила воспользоваться его предложением. Борис вернется только через четыре-пять месяцев, с Екатеринодаром меня ничего не связывает, и для меня и для Лены лучше будет провести три месяца у моря. Мы условились, что когда он будет в Екатеринодаре, он зайдет ко мне и мы уговоримся о дне отъезда.

В июне я была готова к отъезду: устроилась с хозяйством, сдала половину дома вдове адмирала Д. и, взяв Лену и няню, отправилась в товарном вагоне в Туапсе — пассажирские не ходили.

Побережье было застроено дачами всех известных в царской России вельмож. Одна чудесная дача следовала за другой. Наша — как будто сошла с киноэкрана. Белый дворец, с просторной террасой в гранитных колоннах, с широкой пологой лестницей, с великолепным видом на море, и розы, розы, вьющиеся, ползучие, в куртинах — воздух был сладким от их аромата. Это были поистине царицы цветов, аристократы с именами и родословной, собранные владельцем со всего мира. Крутая дорожка, охраняемая выстроившимися парами часовыми-кипарисами, вела к морю. Художник-природа не пожалела красок, щедро намазала густым ультрамарином море и небо, размалевала изумрудом долины и склоны гор, разлила слепящее обилие света. Получилась нарядная, яркая картина расточительной южной природы. Только заколоченные двери и окна домов, брошенных хозяевами, выехавшими за границу или потерявшими средства для поддержания роскошных имений, вносили нотку печали. На многие мили кругом жителей не осталось.

"Охрана" нашего дворца была поручена двум древним старичкам. Они, как верные псы, блюли хозяйское добро, хотя работать были уже не в состоянии. Раз в неделю старушка выходила с тряпкой и щеткой и сметала пыль с тяжелых драпри и ковров, с затейливых ампирных стульев и креслиц, резных секретеров и зеркал в затейливых рамках и опять запирала на ключ гостиные и залы.

Иногда к ним откуда-то издалека приходила в гости такая же древняя пара. Разговоры велись главным образом о "зеленых" и их последних проделках.

Зеленые были настоящие разбойники, не прикрывающиеся политическими мотивами. Они жили в лесах и "гуляли" по дорогам и селам. Грабили оставленные хозяевами да-

чи, но ампирными креслицами не интересовались. Там же, где остались припасы или полезные для них вещи, все было растащено. Останавливали поезда и обыскивали пассажиров, отбирая деньги и ценности.

Ночью было страшно. Завывали шакалы, чудились шорохи, выстрелы. Вдруг начинала лаять собака стариков. Я подходила к окну и прислушивалась, вглядываясь в темноту. Решала, что нельзя рисковать, надо уехать, но приходил день, сияющий, радостный, душистый, и я забывала о своем решении. Красота побеждала страх.

Я брала Лену, и мы спускались к морю, совершенно пустынному. В тихие дни мириадами огоньков зажигалась муаровая синь, ласково, шелково шелестели, осторожно подползая, волны, украшая берег кружевами пенных брызг. Лена плескалась в оставшихся от ночного прибоя тепловатых лужицах, собирала разноцветную, отполированную гальку, смеялась над хлопотливыми крабами, бочком торопящимися к норкам, иногда находила морского ежа или морскую звезду, только и слышался ее радостный голосок: "Мама, смотри, что я нашла". Я плавала, отдыхая на спине, отдаваясь во власть мерно баюкающих волн.

Но было и другое море, вздыбленное волнами, взмыленное пеной. Трудно было ему сопротивляться. Оно хватало лапами, опрокидывало, больно царапало о камни, плевало в глаза соленой слюной. В такие дни я оставляла Лену дома. Пару раз чуть не утонула.

Иногда навещал нас моряк, устроивший мне дачу, со своей подругой, маркизой Н. В прошлом она была невероятно богатой женщиной, с роскошным домом в Петербурге, обедами на золотых приборах и проч. Муж ее пропал без вести, все состояние отняли, она зарабатывала игрой на рояле в одном из кинотеатров и не жаловалась на жизнь.

Мне пришлось встретить несколько таких "бывших людей", которые сумели приспособиться к изменившимся условиям. Молоко нам привозила княгиня Л., обветренная, крепкая, немолодая женщина. У нее было две коровы, и она развозила молоко и тоже не жаловалась на жизнь. "Мы-то их работу сделать сумеем, — говорила она, — а вот они-то нашу не сумеют".

Князь Д., крепкий человек за шестьдесят, окапывал в нашем саду фруктовые деревья, за что старики поили его чаем и давали овощи с огорода. Конечно, все они верили, что это временно, что скоро Добровольческая армия восстановит прежнюю власть, и они вернутся к привычной, обеспеченной жизни.

В конце июля вернулся Борис, и мы провели на даче две чудесных недели. С Борисом я ничего не боялась.

Он привез с собой ворох всяких вещей: и платья, и материалы, и галантерею, и парфюмерию, и обувь — словом, все, включая и прелестную парижскую шляпу. Я превратилась в очень элегантную даму, увы, не надолго.

Невесело подходил 1920 год. После блестящих побед, пройдя почти до Воронежа и Орла, белая армия отступила. Отступала бесславно, проигрывая сражения слабейшему противнику, бросая богатую военную добычу. Армией овладела непреодолимая инерция отступательного движения, о которую разбивались все расчеты и планы командования. Падение воли к победе тонким ядом проникало в психологию каждого бойца, делая его восприимчивым к большевистской пропаганде.

Армию губил тыл, эта масса здоровых, приспособленных к военному ремеслу людей, которые днем фланировали по улицам, ночью предавались разгулу, пьянству и кутежам, вызывая негодование казаков, своей кровью удобрявших воронежские и курские земли.

Непреклонно преследуемая командованием Деникина политика "Единой и неделимой" восстанавливала против себя казачество. Казачество Дона и Кубани считали себя хозяевами своей страны. Их вольность не была выдумана самостийниками, а уходила корнями глубоко в историю казачества, к Екатерине Великой и к Алексею Михайловичу. Правительства, которые они установили, поддерживали порядок и давали возможность командованию спокойно заниматься своими делами. Они были гостеприимными хозяевами, но гости третировали их как слуг, и сами занимали хозяйские места. Казакам оставили черную работу — бить большевиков, а командование в тылу занималось политикой. Казаки вытерпели бы и это, но чаша их терпения переполнилась, когда на Дону смещен был их любимый атаман Краснов, на Кубани разогнана Рада, арестованы члены правительства, а, главное, повешен один из них, Калабухов, которому в вину ставилось подписание договора между кубанцами и Союзом горцев. Только такие недальновидные политики, как генерал Покровский, могли взять на себя задачу "усмирения" Кубани, разгон ее Рады и правительства. Конечно, в Раде были крайние левые элементы, как и во всяком парламенте, но были и правые, сочувствующие Деникину. Их дело было столковаться и вывести среднюю приемлемую для большинства линию. И во всяком случае, преждевременно было решать судь-

бы России, когда она была еще под властью большевиков и единственное, что нужно было — сосредоточить все силы на освобождении ее.

Добровольческое командование усмирило Дон и Кубань и потеряло поддержку казаков, его главной военной силы.

То же делалось и в России. Россия была разорена большевиками. Она чернела пустыми, незапаханными полями, вытоптанными тысячами ног, копыт и колес. Россия, раздетая и разутая, темная и холодная, светила по вечерам, как в старину, лучиной, сжигала на топливо помещичьи леса, постройки, ценные библиотеки. Россия спала, не раздеваясь, не развязывая узлов с пожитками, в любой момент готовая сняться с места и бежать — то от красных, то от белых, то от зеленых, великой волной беженства перенося обывателей с севера на юг, и опять на север. Россия кормила своим голодным грязным телом мириады вшей, блох и клопов и беспомощно умирала от тифов — сыпного, брюшного, возвратного — в нетопленных домах, на полу вокзалов, в нагруженных без всякой меры вагонах. И эта Россия жаждала мира, порядка и правильной власти, которая накормит, оденет, даст крестьянину землю, рабочему — работу, вернет семьям отцов и мужей. И добровольцев встречали как освободителей, с хлебом-солью и колокольным звоном. Но они оказывались не лучше большевиков, Махно и Петлюры. Огнем и мечом завоевывали мирные села и города, разоряли и грабили жителей, расстреливали и вешали. А следом за воинством двигалась рать помещиков, дворян, земских начальников и чиновников, возвращающихся на свои земли, на свои места, к прежней жизни, к прежней власти, к старому укладу, ничего не поняв, ничему не научившись в революции. Но прежних земель больше не было, как не было и прежних крестьян. Земля — крестьянская, эта истина была твердо усвоена мужиками. Прежние губернаторы и начальники тоже оказались не нужны народу. Возврат к старому оказался невозможен, и "Единая, неделимая" осталась без поддержки населения в завоеванных местах.

В то же время красные многому научились. Армии делались регулярными и ставились под команду офицеров. И никогда не умолкала пропаганда, не останавливаясь ни перед каким извращением истины, обещая невозможное, но находя путь к сердцам слушателей, уставших от междоусобицы.

Не оправдали надежды Деникина и союзники. Все их миссии и комиссии оказались мыльными пузырями. Ни в наступлении, ни в отступлении помощи они не оказали.

И вот мы сделались свидетелями великого отступления. Это был третий виденный мною лик войны. Первым были великолепные варвары Корнилова, горсточка героев без штабов и тыла, которые знали только победу над вдесятеро сильнейшим противником, выходили из сплошного большевистского кольца, бросались, почти безоружные, на бронепоезда, без сомнений и колебаний, с непреклонной верой в вождей.

Вторым были деловые профессионалы военного дела второго Кубанского похода, разгромившие армию Сорокина.

Теперь был третий лик. Десятки тысяч крепких, здоровых, хорошо вооруженных людей бросили фронт. Сплоченные раньше дисциплиной военные части превратились в дезорганизованную, распущенную массу, где каждый думал только о своем личном спасении. Потерявши силу сопротивления, они шли, куда нес их общий поток. Друг за другом, по нескольку в ряд, плечом к плечу, подвода к подводе, катилась грозная лавина, затопляло город наводнение, захлестнувшее широким потоком Красную улицу, разлившееся по боковым. Неумолимо грозная сила была в упорном, медленном, безостановочном движении. За городом движение, разбитое по ручейкам улиц, сливалось в общий могучий поток. Не уместившись на дорогах, двигались по целине. Кони увязали по брюхо в вязкой черноземной грязи. Останавливались, обессилев. Волна перекатывалась через них, ждать было некогда. Сплошной табор раскинулся на много верст у берега реки. Каждая пядь моста бралась с боя, так же, как и места на паромах. Многие всадники переправлялись вплавь. Широки и быстры мутные волны Кубани, не все достигали другого берега.

За воинскими частями двигались повозки беженцев, бесконечный цыганский табор — женщины, дети, домашний скарб. На повозках грязные навесы защищали от дождя и солнца. В котелках на мангалах варилась пища. Сушилось постиранное тряпье. Мусор и нечистоты выбрасывались тут же на улицы. Вереница верблюдов тащила калмыцкие повозки-кибитки с седоками в пестрых халатах, с грязными, но все же в живописных уборах, женщинами.

Сколько сотен верст они прошли, захваченные стихийной инерцией беженства? Не мылись, не раздевались, лишь на заторах выходили поразмять ноги. Покорные, безучастные, ко всему привыкшие, они были лишь частью потока. Как будто ожила древняя, скифская, кочевая Русь...

Семь суток не умолкал смутный гул беженского наводнения. Кубанское правительство и учреждения, готовые к

эвакуации, лишь ждали возможности влиться в общее отступление. Казаки отступали не к Новороссийску, куда шли добровольцы, а к Грузии: они надеялись, что грузины выполнят договор, подписанный в Париже, за который несчастный Калабухов поплатился жизнью, и пропустят армию в пределы Грузии.

Я умоляла Бориса остаться, доказывая ему, что это уже конец, что возврата назад быть не может, что это может быть разлукой навсегда, что это его последний шанс включиться в общую, советскую жизнь. Но он был твердо уверен, что риск для одиночек больше, чем для группы. "Если мы будем в Грузии, — говорил он, — я найду способ переправить туда тебя с Леной".

Кубанцы отступали последними, когда уже поредела толпа беженцев. Борис, верхом, сопровождал санитарную часть войска.

Тяжело, ах, как тяжело было мне его провожать, но тревога моя достигла предела, когда, часа через два после его отъезда, послышалась орудийная стрельба.

— Барыня, — вбежала, запыхавшись, няня, — большевики в городе.

— Не может быть, — в ужасе воскликнула я и выбежала за ворота. Прежде всего поразила тишина. Я прошла по направлению к Красной улице. Улицы, только что кипевшие, бурлившие людскими толпами, вымерли. Только несколько одиночных, выжидающих фигур маячило около своих домов.

— Вы не слышали, — подошла я к одному из них, — говорят, большевики в городе.

— Говорят, вошли. Пойду посмотреть.

— И я с вами.

На тротуарах, вдоль Красной улицы редкими кучками стояли жители: женщины в платочках, мужчины в кепках. Группы в несколько всадников проезжали по улице, приветствуемые жидким "ура".

— Откуда стрельба? — спросил кто-то в толпе.

— Товарищи сбоку зашли, с нефтяных заводов, — словоохотливо сообщила кепка. — Как начали кадет пулеметами, да снарядами поливать, что тут поднялось — ужас! Повозки бросают, лошадей повыпрягли, да вплавь. На мосту паника. Наши-то по мосту прямо жарили. Скольких поубивали, сколько поутонуло — страсть! — В голосе парня слышалось искреннее удовольствие.

— Да и на больничной площади, говорят, многих поубивали...

— Конец кадетам... Попили нашей кровушки...

Я приставала то к одной, то к другой группе, стараясь что-нибудь узнать об отступающих. Но никто ничего определенного не знал.

Темнело. Я вернулась домой, решив с раннего утра пройти к берегу Кубани.

Насколько хватал глаз — от Екатерининского сквера до самой реки было сплошное кладбище тысяч брошенных, искалеченных, опрокинутых телег, повозок, тачанок. Они как будто застыли в запутанно переплетающемся, кошмарном танце смерти. Ветер полоскал рваными полотнищами навесов, брошенными на веревках тряпками, развевал вывезенный хозяевами за сотни верст скарб. Валялись лошадиные трупы. Санитарная повозка с красным крестом как будто грозила небу поднятыми оглоблями. Мне была ясна картина паники, предельного ужаса, хаоса, отчаянной борьбы за место, за жизнь под обстрелом неприятеля.

Вскоре я заметила, что я не одна. Тут и там деловито сновали женщины, собирая бездомное добро.

Я подошла к берегу реки. Сколько утопленников — людей и коней — неслось в ее быстрых, мутных водах!

Я прошла к больничной площади. Она была уже очищена от вещей и повозок. Подошла к зданию окружного суда, в подвалах которого держали арестованных.

— Кто там? Кадеты? — спросила я часового у окна.

— Проходите, гражданка, — сердито отогнал он меня.

Днем мне сказали, что можно узнать фамилии арестованных в канцелярии Агабекова, нового начальника города.

Долго ждала в угрюмых коридорах, чтобы получить короткий ответ: фамилии неизвестны.

Опустился железный занавес. Как я ни пыталась, я только ударялась о его непроницаемую стену.

Наступили дни долгой, тревожной неизвестности.

Как по мановению волшебного жезла Екатеринодар, снова ставший Краснодаром, переменил свой лик. Гигантская метла беженства вымела штабы, учреждения, блестящие формы, нарядных женщин. Улетели за море перелетные птицы. Закрылись кафе, кабаре, театрики и театры. Опустели витрины. Закрылись магазины. Исчезли не только шоколад, драгоценности и духи, но и вещи первой необходимости. Базары, где несколько недель тому назад трудно было пройти от обилия подвод, груженых продовольствием, зияли пустыми местами. Женщины в платочках и мужчины в кепках то-

ропливо проходили по улицам. Видно было, что только необходимость выгнала их на улицу. У немногих продовольственных магазинов, открытых по приказанию начальства, выстраивались хвосты очередей с вновь полученными продовольственными карточками, которые обеспечивали скудное пропитание. Неподметаемые улицы заплевывались семечками. И скоро Краснодар принял тусклый, серый вид обычного советского города.

Новая власть перекраивала жизнь по советскому шаблону. Завелись домовые, квартальные и районные комитеты, взявшие под надзор частную жизнь обывателей. Реквизировали дома под великое множество учреждений с непонятными названиями: НКСО, НТО, НКП и проч. Комиссары деловито ходили по частным квартирам, отбирая ковры и мебель, чтобы обставить их пошикарнее.

Борис перед отходом прибил несколько кусков подметочной кожи к внутренней стороне стола, думая спасти их при обыске. Но как раз этот стол полюбился коммисару. Как я ни уговаривала его взять другой, лучший, стол унесли. Я только надеялась, что они его не перевернут и не откроют спрятанную кожу, — мне пришлось бы плохо "за сокрытие народного добра".

Вообще все наше имущество стало народным. Забирали у владельцев дома, забирали ковры, мебель и вещи, особенно ценные. По ночам робкие тени, озираясь по сторонам, закапывали в углах дворов и садов деньги и драгоценности. Я успела еще до отхода белых выменять у армян деньги на золото и бриллианты и, положив их в железный ящичек, закопала в огороде. Но кое-что у меня еще осталось, и, выбрав ночь потемнее и заранее вырыв ямку, я отправилась закапывать свое добро. Велик был мой ужас, когда, подняв голову, я увидела длинную белую фигуру, наблюдавшую за мной через соседний забор.

— Копаете? — спросил меня глухой голос.

Пойманная на месте преступления, я не знала, что ответить.

— Не бойтесь. Я тоже копаю.

Обоюдно успокоенные, мы мирно закончили работу.

Каждый двор превратился в место для клада, так же как и в домах прятали вещи в стенах, полах, потолках. Красные скоро это поняли и при обысках отдирали доски со стен и полов.

В добавление к нормальному грабежу, был объявлен "день обыска" по всему городу. Образовались тройки, кото-

рые, разбив город по кварталам, одновременно производили обыск.

К нам пришли двое мужчин и одна женщина. У женщины был нюх охотничьей собаки. Она обшарила все уголки, нашла все вещи, которые я пыталась припрятать, и после каждой находки торжествующе укоряла меня в "сокрытии народного добра". В последнюю минуту перед обыском я сняла с руки кольца, браслет и золотые часы и, влезши на стол, положила их в абажур висячей лампы. Женщина нашла и их. Отобрали каждый несшитый кусок материи, каждую катушку ниток. Ковры были вывезены еще заранее, как подлежащие обязательной реквизиции. Все прелестные вещи, которые привез Борис из Парижа, перешли в руки сыщиков. Наконец, удовлетворенные богатой добычей, нагрузив две полные подводы, они удалились, оставив мне то, что полагалось "по списку": по две простыни на каждую постель, по две наволочки, по две смены белья, по одному пальто на сезон, и т. д. Кража моих вещей проходила при полном сознании своей правоты и моей преступности, с угрозами в мой адрес, упреками в "несознательности".

Я получила "советское" крещение. Моя жизнь, мое имущество перестало принадлежать мне. Они сделались "народными", отошли в собственность государства, которое получило право распоряжаться ими по своему усмотрению.

Добыча, собранная за "день обыска" превзошла все ожидания. Несколько зданий были забиты вещами с пола до потолка. Ковры, мебель, рояли стояли во дворах, портясь под открытым небом. Власти, удовлетворив свои аппетиты, совершенно не знали, что им делать с этим добром. Через несколько недель обыск был объявлен "ошибкой", и населению предлагалось найти свои вещи и взять их обратно. Судя по тому, что груда вещей не уменьшалась, можно было судить, что мало кто воспользовался этим разрешением. Свои вещи разыскать в хаосе было немыслимо, а жители города еще не научились грабить награбленное.

Пока еще не реквизировали домашнюю птицу и коров, мы торопились съесть свое хозяйство. Корм для коровы было все труднее доставать, а корова была наша главная кормилица. За деньги никто ничего не продавал, приходилось менять оставшиеся юбки и кофты, причем восседавшая на возу половы баба долго их рассматривала и примеривала и часто отвергала, так как они были слишком малы для ее солидной фигуры. Я откопала столовое и чайное серебро, которое оказалось хорошей разменной валютой.

Входили в обиход ленинские лозунги. Один из них — "кто не работает, тот не ест" — заставил меня искать работу. Я скоро устроилась учительницей в смешанной гимназии. В школах была такая же неразбериха, как и в жизни. Все старые программы, старые методы были отвергнуты, но чем их заменить, не знал никто. Никаких определенных "директив из центра", которыми пользовались прочие ведомства, у нас не было. Директор прогимназии, зайдя как-то в мой класс и увидев, как ученики группами работают над заданиями, пришел в восторг. "Это как раз то, что нам надо. Пожалуйста, сделайте доклад о вашем методе на педагогическом совете". Хотя я и уверяла его, что таким образом я работала в классах до революции и ничего нового тут нет, все же он не преминул щегольнуть "революционными" методами перед другими школами. Мне было забавно, что я сделалась чем-то вроде героини и на мои уроки приходили учиться преподаванию.

Собрался многолюдный учительский митинг. Говорилось много речей, которые сводились главным образом к критике старых школ. Так как коммунистов среди нас не было, то собрание носило свободный, демократический характер, и в правление вновь учрежденного комитета вошли уважаемые педагоги. Но оформиться ему не дали коммунистические "отцы города". Усмотрев крамолу в том, что в комитет не вошло ни одного коммуниста, они посадили над нами свой комитет не из учителей, а из партийцев. Так кончились все свободные выступления, и работа пошла по партийной указке. Ученики стали называть учителей "товарищами", отменили домашние работы; история, за неимением новых учебников, выпала из курса, грамотность считалась необязательной, и свободные сочинения писались с ужасающими ошибками. Вскоре опытные, пользующиеся авторитетом педагоги были заменены приехавшей из РСФСР развязной и мало знающей молодежью. Следуя привезенной моде на сокращение слов, учителя стали называться "шкрабы".

Жизнь становилась сухой и скучной, как учение Маркса.

В мае вернулся Борис. Поход закончился неудачей: Грузия не пропустила кубанское войско в свои пределы. Условия похода были чрезвычайно трудные: по горным хребтам и перевалам, где не было пищи для коней; среди бедных черкесских аулов, которые не могли снабжать армию продовольствием; почти без передышек, необходимых для истомленных людей и лошадей. За спиной, по удобному черномор-

скому шоссе, катились красные, и вопрос жизни и смерти был в том, кто первый достигнет границы Грузии. Когда кубанцы вышли к Адлеру, начались переговоры с Грузией. Она отказалась выполнить договор и закрыла свои границы. Эта мера была продиктована самосохранением, захват их территории красными был неминуем.

Исхода не было: сзади были большевики, слева — горы, справа — море. Был подан пароход "Бештау", куда погрузилось некоторое количество войска и учреждения для следования в Крым. Но большая часть осталась и сложила оружие по требованию подошедших красных частей. Те даже растерялись от такого количества пленных. Их отправили по железной дороге на север в эвакуационные пункты, где им давали новые назначения. Бориса откомандировали в качестве ординатора военного хирургического госпиталя в Краснодар. Так он включился в советскую жизнь.

Хотя особых репрессий не было, и жители еще не научились доносить друг на друга, все же было не безопасно оставаться в городе, где знали прошлое Бориса. Мне стало спокойнее за него, когда ему удалось устроиться в Ростове, хотя и трудно было справляться с хозяйством.

Такова была сила советской пропаганды, что даже няня, которую зачислили в союз домашних работниц, не устояла против нее. Хотя она и продолжала называть меня барыней, но заявила, что господ теперь нету и что работу мы с ней должны делать одинаковую. Один день я чистила сарай и поливала огород, другой — она. Так же мы поделили и стирку, и работу по дому. Очевидно, преданность старых слуг отходила в область преданий.

Это неудобное время выбрала для рождения моя вторая дочка. К счастью, Борису удалось получить недельный отпуск, так что при мне были и доктор, и фельдшерица. В госпиталях не было ни мест, ни достаточного комфорта. Роды пошли не совсем благополучно, и взволнованный Борис побежал за специалистом. Было военное положение, и красноармейцы патрулировали улицы. Десятки раз его останавливали и спрашивали документы, в некоторых местах совсем не хотели пропускать. Только исключительный напор энергии привел его наконец к доктору и потом вместе с ним обратно к дому. Эти два часа его отсутствия фельдшерица, стараясь скрыть свое беспокойство, занимала меня какими-то историями, которые все глуше и глуше доносились до меня, когда я стала постепенно слабеть. Но все обошлось в конце

концов благополучно, и у меня родилась здоровая и красивая девочка.

Скоро Борису стало небезопасно оставаться и в Ростове. Следователь Донского Чека стал угрожать ему арестом и шантажировать его, под видом игры в карты выманив у Бориса большую часть обращенных в деньги драгоценностей, которые мы перед отъездом в Ростов выкопали и поделили.

В октябре закончилась героическая эпопея Добровольчества. Оставив на полях сражений тысячи погибших юных жизней — только горсточка бойцов осталась от великолепных корниловцев, — белая армия эвакуировалась из портов Черного моря, чтобы никогда больше не возвращаться в пределы России.

Несмотря на обманчивые названия: РСФСР, затем СССР, Россия сделалась Единой и неделимой советской страной с абсолютной диктаторской властью.

Теперь вскрыты все причины, приведшие к поражению добровольчества: ошибки командования, недальновидная политика советников, обманутые ожидания помощи со стороны союзнико, улучшение организации Красной армии и т. д. Но за всем этим скрывается и невидимая рука Дирижера, которая, следуя неведомым нам историческим ритмам, погрузила Россию на дно, чтобы потом, по истечение положенного времени, вынести наверх на гребне волны.

Краснодар торжественно отпраздновал день Великой Октябрьской Революции. Грязный, серый город разукрасился флагами, с балконов, из окон вывесили ковры, в изобилии отобранные у населения. Выстроили арки на площадях. Домкомами и кварткомами было "предложено" жителям присутствовать на митингах и участвовать в процессиях. Не смея ослушаться, потянулись на площади унылые подневольные граждане, нацепив на грудь обязательный красный бант.

Ученики всех школ, с красными флажками и знаменами с разных сторон вливались на Екатерининскую площадь.

Приезжие "из центра" ораторы бойко оттараторили положенные речи, за ними медленно, как тяжелыми камнями, ворочали словами местные партийные организаторы. Казалось, видно было, с каким трудом поворачиваются в их мозгу мысли. Так как ничего нового никто сказать не мог, топтались на одном месте, распространяя невыносимую скуку, пережевывая все одни и те же слова. Я даже не имела духа ос-

тановить начинающих пошаливать школьников. Я смотрела на серое небо, угрюмые лица и вспоминала сияющий солнечный день, торжественный молебен на Кореновской площади, радостные детские голоса, сливающиеся с пением жаворонков в поле, и неомраченное предчувствиями счастье, наполнявшее наши сердца.

Как мы были наивны...

Глава 7. Москва двадцатых годов

Борис стал хлопотать о переводе в Москву и получил его в 1921 году. Нам удалось получить теплушку, которую мы поделили с продовольственным союзом, отправлявшим прдукты в Москву.

От Краснодара до Москвы мы ехали три недели. По своему усмотрению служащие железной дороги нас отцепляли, переводили на запасные пути, где мы стояли по несколько суток. Прицепляли нас обычно лишь после того, как продовольственники давали взятку в виде муки, крупы, соли и т. п. Иногда останавливались просто в поле. Я успевала выстирать и просушить детские пеленки. Лена бегала и собирала цветы. Пищу мы готовили на примусе. Недостатка в продуктах, благодаря нашим соседям, у нас не было. Трудно, конечно, было с маленькой, которая капризничала, не получая нужного ухода. Но так как все на свете кончается, кончилось и наше путешествие, и мы въехали в Москву.

На несколько недель нас приютила старшая сестра Бориса Соня, полная, решительная женщина, гордо пронесшая через всю жизнь знамя ''идеальной'' хозяйки. Хотя не было ни прислуги, ни прежнего положениия жены директора большого банка, ни старых знакомых, знамя все же держалось высоко. У них была, хоть и небольшая, из трех комнат, но своя квартира с кухней и ванной, с хорошей мебелью, с концертным роялем (Соня была неплохой музыкантшей). В кухне сверкали начищенные до блеска сковороды и кастрюли, которые из-за скудости продуктов находили малое применение. В комнатах была чистота и строгий порядок. Конечно, со стороны Сони было немалой жертвой принять к себе семью с думя детьми, но она была по-своему добрая женщина и очень любила Бориса.

Я ее побаивалась и старалась как можно меньше нарушать порядок. Нам отвели угол в столовой, отделив его ширмой. В этом углу помещались мы и все наши вещи. Труднее всего было с маленькой Таней, которая не хотела признавать никакого порядка и начинала плакать, когда Соня ложилась спать после обеда. Сонин муж, маленький, кругленький, был

под башмаком у своей жены. Он был очень добрый, незлобиво ворчливый старичок, ласковый с детьми.

Борис уходил устраиваться со службой и жильем, я же, как затворница, сидела около детей, слушая Сонины советы о том, как надо вести хозяйство. Она вынимала книжечки, где за много лет были записаны ее приходы и расходы, и начинала мне читать цены на мясо и овощи в 1900-м и т. д. годах. Один только раз нам с Борисом удалось вырваться вместе, и мы, чувствуя себя виноватыми школьниками, сбегали в кино.

Все привезенные с собой продукты, мы передали Соне, о чем я потом не раз жалела, когда мы устроились самостоятельно.

Если бы не доносящийся с улицы шум и звон трамваев, можно было бы подумать, что я не в столице РСФСР, а вне времени и пространства, в замкнутой ячейке из трех комнат или, вернее, угла за ширмой.

Наконец Борис явился с известием, что он получил комнату и мы можем переезжать.

Я увидела Москву.

Какая это была Москва! Голодная, оборванная, грязная нищенка. Хмуро насупились насквозь промерзшие дома с мертвыми трубами на крышах. Обнажились благородные старые особняки, скрывавшиеся от любопытного глаза за палисадниками и заборами, — каждая доска и ветка были растащены на топливо. Сугробы снега навалились по дворам и по бокам неразметаемых улиц. То тут, то там торчали брошенные остовы зданий, пострадавших от бомбардировки, незаконченных в стройке или просто разрушающихся от недостаточного присмотра. Они медленно умирали, растаскиваемые по бревнышку, по кирпичику жителями соседних домов. По пустырям гулял ветер, наметая сугробы. Все лучшие дома были заняты под учреждения: РКИРКК, МОСНКП, ВОНХ, НКСО... без конца и без края... Приходила толпа оборванных совслужащих одного из этих ребусов, обдирала штоф со стен и кресел, сжигала в печах мебель, картины, бумаги, загаживала грязью паркетные полы и, приведя здание в полную негодность, бросала его и переходила в другое. Полоскались по ветру выцветшие тряпки старых знамен и лозунгов.

Жители были вполне достойны своего города. Изможденные, угрюмые, небритые совдепы в солдатских шинелях, дубленых полушубках, дамских шубах, подвязанных веревками, в рваных ботинках, ботах с чужой ноги, в неуклюжих валенках, в самодельных варежках, с ранцами, мешками за

спиной, бежали по улицам, везя за собой детские салазки. Проходили трамваи с гроздьями висящих на подножках тел. На остановках толпились, ругались, толкались часами ожидающие своей очереди пассажиры. Длинные темные фигуры закутанных во что попало женщин мерзли в хвостах у продовольственных магазинов за скудной подачкой очередного пайка.

Москва находилась в первой стадии "интернационала" — старый мир разрушен до основания. "Новый" еще не начинался, а разрушение было в полном разгаре. Выполнялась первая часть программы — совдепы воспитывались голодом и холодом, нивелировались во всеобщее братство нищих и покорных граждан социалистического государства.

Борис был прикомандирован к Наркомсобесу (социальному обеспечению), и нам удалось получить одну комнату в общежитии для служащих. Пятиэтажный барский дом в Мерзляковском переулке, предназначенный для пяти семейств, вмещал несколько сот жителей. Большие комнаты были поделены фанерными перегородками на клетушки, каждая из которых считалась "квартирой".

В нашем этаже вместо пяти человек помещалось пятьдесят. Считалось, что нам очень повезло достать даже такое скромное убежище в переполненной сверх всякой меры Москве. Ни о какой "прайваси" нельзя было мечтать — все, что делалось за соседней перегородкой, было ясно слышно в нашей "квартире". Было две уборных, из которых одна использовалась как комната, и одна ванная комната, которая служила складом ненужных вещей. Ванна не действовала и служила постелью случайным квартирантам. Умывались все под одним краном, где вода постоянно замерзала и в лучшем случае капала по каплям. Каждый старался встать пораньше и занять очередь перед умывальником. В комнате с высоким потолком и большими окнами было так же холодно, как на улице. Первой заботой было достать "буржуйку" — маленькую железную печку. Пока я, не снимая шубы, сидела с детьми на груде вещей, Борис сходил на Смоленский рынок и вернулся с печкой. Положив под низ железный лист, он установил буржуйку посреди комнаты, соединил трубы и вывел их в отверстие в форточке. Упаковочная бумага служила топливом. Но сколько он ни старался, огонь не разгорался. Ветер загонял дым обратно в трубу, и скоро в комнате стало невозможно дышать. К счастью, соседка, к которой тоже проник дым, постучалась и показала "фокус", каким можно было заставить огонь разгореться. Стало теплее, и

можно было раздеться. Мы принялись за устройство нашей квртиры. Разгородив комнату комодом и гардеробом на две части, мы сделали столовую и детскую. Покрыв наши кровати коврами, превратили их в кушетки. По стенам я развесила гобелены и картины, из ящиков сделали полки для книг. Если бы не плебейская буржуйка, было бы даже неплохо. Но на буржуйку сердиться было нельзя. Она была центром всей нашей жизни: около нее мы грелись, кормились, купались, стоя в деревянном корыте. Эту же воду я использовала потом для стирки, и сушила мелкое белье, протянув веревку над печкой. Беда была в том, что буржуйка была страшно требовательным маленьким божеством. Ее ненасытное чрево требовало все новых жертв. Быстро таяли бумага, картон, ящики, а остаться без топлива значило замерзнуть. Борис смастерил из одного из оставшихся ящиков нечто вроде санок и, уходя на службу, брал их с собой. Привозил ненужные бумаги и книги из канцелярии, подбирал по дороге палочки, иногда удавалось найти недоломанный забор. Спали мы, натянув на себя все одеяла, пальто и шубы, и просыпались в промерзшей за ночь комнате. После холода, проблемы № 1, был голод — проблема № 2. У Бориса было две службы — утром и вечером. Он получал хорошие по тому времени пайки, но они выражались главным образом в "шрапнели", разварить которую до мягкости было почти невозможно, в ржавой селедке и тарани, мерзлой картошке, иногда муке с отрубями. Молоко для детей я получала по карточке, за ним надо было стоять в очереди, так же как и за хлебом. Жиров совершенно не было. Приходилось ходить на Смоленский рынок и обменивать что-нибудь из белья или посуды.

Странную картину представлял из себя Смоленский рынок. Бывшим богачам, дворянам, помещикам не было места в социалистическом обществе. Им, "недорезанным буржуям", не полагалось продовольственных каротчек, но великодушно предоставлялось право или умереть с голоду или самим изыскать способы пропитания. Единственным способом являлась продажа вещей. Длинным рядом, плечо к плечу, стояли или сидели на принесенных с собой скамеечках унылые, обреченные на вымирание людские тени. Стояли целыми днями, переступая иззябшими ногами, похлопывая руками, чтобы не замерзнуть, измученные женщины с гордыми профилями, мужчины с породистыми подбородками, заросшими густой щетиной.

Я встала рядом с прямой, высокой старухой. Через пальцы рук в дырявых лайковых перчатках были перекинуты

кружева и цветные ленты, с локтя свешивалась вышитая салфетка, на плечи накинута бархатная накидка с шеншилями. У ее ног на коврике стояли разрозненный чайный сервиз, серебряный бокальчик, лежал высокий гребень с бриллиантами, атласные туфли на высоких каблуках, собачий ошейник... О, если б вещи умели говорить!

Вдоль рядов прохаживались посредники, спекулянты, живая связь между "аристократией" и "народом". Это они умели убедить восседавшую на возу бабу, что ленты или ручное зеркальце — как раз то, что ей надо, и получить у нее в обмен пшена или картошки. Хороший процент приходился в их пользу.

Я выменяла серебряную ложку на две бутылки конопляного масла. Не могла выдержать взгляда высокой старухи и отлила ей масла в серебряный бокальчик. Она даже меня не поблагодарила, только губы ее задрожали.

Подгоняемая холодным ветром, я торопилась домой, ждать трамвая было дольше. Счастливая обладательница драгоценных "жиров", я могла сделать "настоящий" обед — поджарить картошку к селедке и сделать лепешки из отрубей.

У нас была общая кухня, просторная комната с большой плитой посредине. Но топить плиту было нечем, все готовили на примусах. Как и все помещения общего пользования, кухня была чрезвычайно грязна. Закопченые стены и потолок были густо заплетены паутиной, тусклое окно едва пропускало свет. Десять примусов кряхтели и свистели, распространяя копоть и вонь. Десять хозяек трудились над одним и тем же меню: шрапнель, селедка, картошка... Завистливые глаза поглядывали на мои лепешки и на стаканчик конопляного масла.

— Выменяла сегодня на Смоленском, — объяснила я соседке.

— Что дали?

— Серебряную ложку.

— Недорого.

— Хорошо, когда есть, что менять, — сухо заметила одна из хозяек. — Вы — новенькая, а мы-то уж давно все выменяли.

Помимо нашего желания мы знали друг о друге все: кто уехал, приехал, кто с кем поссорился, сошелся, разошелся, кто получал больший паек, кто — меньший... Публика была разнообразная, от сторожихи до жены профессора, но интересы у нас были одинаковые — что есть и чем топить. Голод и

холод не способствовали ровности характера, постоянно вспыхивали конфликты по всякому ничтожному поводу. Кто-то по ошибке помешал свою кашу чужой ложкой, кому-то показалось, что из ее кастрюли отлили суп. Была и политическая вражда. Жены коммунистов получали лучший паек и были чище одеты. Они вызывали недоверие и зависть, и получали колкие замечания по своему адресу от беспартийных соседок и в свою очередь отплачивали им тем же.

К счастью, большинство наших со-квартирантов были служащие мужчины, но десять женщин и столько же детей делали жизнь достаточно неприятной.

Время от времени устраивались квартирные собрания, где выяснялись нужды квартирантов и докладывались в домовый комитет, который распределял комнаты, устанавливал цены на "жилплощадь", электричество, воду, в зависимости от получаемой платы, так что одна и та же комната могла быть оценена в пять и в пятьдесят рублей.

К концу первого года нам посчастливилось получить вторую комнату рядом, с глухой стеной, так что мы получили возможность разговаривать, не будучи услышанными соседями.

Способность человека приспосабливаться к окружающим условиям безгранична. Первое время я выбивалась из сил в борьбе с голодом, холодом и хозяйственными неурядицами, но мало-помалу все стало входить в колею. Лена поступила в школу. Я нашла девчонку, которая присматривала за Таней. Отправив их на бульвар, я могла спокойно работать. Я научилась ничего не откладывать на завтра: чистить примус как только он закоптится, мыть посуду и пол, стирать белье, не накапливая. Только чистота могла сделать жизнь в тесноте сносной.

Приехала в Москву Ася с семьей. Муж ее служил в банке. У нее было два мальчика, 8-ми и 6-ти лет. Виктор был хороший специалист, так что, несмотря на свое дворянское происхождение, занимал пост заведующего одним из отделов госбанка. Он был обаятельный человек, хорошо воспитанный, остроумный и очень музыкальный. Он прекрасно играл на гитаре, не "бренчал", а играл серьезные, классические вещи. Был обладателем бархатного баритона, и было истинным удовольствием слушать романсы Чайковского и Рахманинова под аккомпанемент гитары. Любил он также и умел петь цыганские романсы, а у детей была своя любимая пе-

сенка — про комара и муху. Музыка вносила разнообразие и красоту в серенькую советскую жизнь.

Мальчики тоже были талантливыми. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь с такой быстротой и точностью вырезал фигуры из бумаги, как это делали они. Придумывалась и история: охотник отправлялся на охоту (фигурка охотника), лев падает (фигура). Ножницы поспевали за словами истории, превращая газету в фигуры, полные экспрессии и движения. Эти импровизации продолжались часами, к большому облегчению остальных членов семьи, которые могли заняться своими делами. Между мальчиками и Леной скоро завязалась дружба.

Гостила в Москве и мать Виктора, полная величественная дама, которая редко покидала постель или кресло у окна, не потому, что была нездорова, а потому, что ей нечего было делать. Она была типичная "барыня", выросшая и всю жизнь прожившая чужими заботами. Удивительно, что жизнь ее нисколько не изменилась и после революции, она отказалась принять перемены. При ней была все та же "раба", Паша, которая будила ее в 12 часов, принося в постель кофе. Раньше это был душистый мокко со сливками и свежими булочками, теперь это были молотые жареные желуди с кусочками черствого хлеба, но процедура осталась той же, с серебряным кофейником и тонкой фарфоровой чашкой на подносе. Потом Паша ее одевала и причесывала и переводила на кресло. Как только барыня открывала глаза, она начинала разговаривать и не умолкала до тех пор, пока не засыпала. Курить и разговаривать было единственным занятием ее жизни. За неимением папирос, Паша крутила ей вертушки из газетной бумаги, насыпая туда дешевый табак, вставляя все это в мундштук из слоновой кости прежде чем подать барыне. Барыня была не глупа, и ее разговоры были интересны, но ни у кого не было времени ее слушать. Ася первое время мучилась, заставляя себя сидеть и слушать, но потом поняла, что это словоистечение не требует внимания с другой стороны и продолжается и без слушателей.

У барыни было несколько мужей. Остряки уверяли, что она их заговаривала до смерти. Последний муж был очень богатый человек, с домом под Москвой, известным редкими коллекциями предметов искусства и мебели. Чтобы избежать реквизиции, он пожертвовал свое имущество музею, сам оставаясь при доме как его хранитель. Время от времени он посылал в Москву с оказией десяток яиц или фунт масла. Тогда устраивался "пир", и мы приглашались в гости.

Конечно, такое праздное существо должно было действовать на нервы Виктору и Асе, но Паша была такой клад в доме, что из-за нее можно было претерпеть и большее. Она делала всю работу споро, но не спеша: убирала, стирала, готовила обед, смотрела за детьми, которые ее очень любили и слушались. У нее не было ни одной мысли о себе, ни одного желания только для себя. Под ее внимательной заботой жизнь в маленькой трехкомнатной квартире шла гладко, "по-старому". К обеду постилалась на стол чистая скатерть, блестел начищенный самовар. Даже "шрапнель", предварительно обработанная за несколько дней в воде и соде, превращалась с съедобную и принимала вид то супа, то каши, то лепешек, то, размолотая в кофейной машине, превращалась в манную крупу.

У Аси, со свойственной ей живостью и общительностью, быстро образовался круг знакомых, и по вечерам часто собирались гости. Из серебряного чайника и самовара наливался в тонкие чашки морковный настой и подслащался сахарином. Банковцы приносили свежие анекдоты, в которых, потихоньку от власти, они отводили душу на ее счет. Виктор играл и пел, иногда составлялся и хор. У них я познакомилась с "Лапушкой". Она окончила Петроградскую консерваторию с золотой медалью и была блестящей концертной пианисткой, но в Москве не давали ей хода. Она была совершенно особое существо, живущее в царстве звуков, беспомощная и непрактичная, лишенная инстинкта приспособляемости. Она совершенно терялась, когда надо было иметь дело с домкомом, разговаривать о пайках и квартирной плате. За то, что она имела несколько уроков, на нее наложили плату, как с "частника", и она отдавала домкому все, что зарабатывала. Я урывала часок от рабочего дня и бегала послушать Лапушкину игру на прекрасном, полученном ею в награду от консерватории, рояле. Она не удовлетворялась игрой для себя, для случайных слушателей и учеников, она жаждала признания, игры с симфоническим оркестром, выступления перед большой публикой. Пару раз ей удалось выступить с оркестром филармонии, но без связей и практичности ей не удалось упрочить своего успеха, и она осталась преподавательницей музыкального техникума.

Я стала посылать Лену к ней на уроки, но и у меня самой проснулась забытая было любовь к музыке. Нам удалось дешево купить пианино, и я отправилась к Лапушке на урок. Когда я бойко заиграла выученные еще в институте пьесы, она с удивлением посмотрела на меня.

— Это совсем не то. Вы играете так, как будто все ноты одинаковы. (Т. е. как меня учили в институте.)

Она показала мне значение каждой ноты, ее индивидуальность. Музыка зазвучала по-новому.

Но как ни увлекательно было это занятие, дом, муж и дети требовали непрестанного внимания. Я решила выписать старую Ленину няню. От нее было несколько писем с "низкими поклонами". В деревне ей жилось плохо, она очень скучала по Лене и просилась приехать. Меня удерживало опасение иметь около нас человека, знающего прошлое Бориса, но желание освободить себя хоть несколько от домрабства взяло верх. С двумя комнатами хоть и прибавилось работы, но прибавилось и комфорта. С кроватями-диванами, пианино и гобеленами, мы имели приличную комнату.

Борис решил заняться частной практикой, так как жалованья нам хронически не хватало. Отделали в коридоре уголок для ожидающих, а наша спальня, сверх гостиной, сделалась приемной.

Больных пошло много, но это не поправило нашего финансового положения: зоркое око домкома не могло допустить процветание "частника", и на нас наложили такую плату за площадь, электричество и воду, что она с излишком покрыла весь заработок Бориса. Не было смысла работать "впустую", и практика прекратилась. Но все же она дала нам интересные знакомства. Одним из пациентов Бориса был заведующий распределением всех артистических сил Союза. Сам он был небольшой опереточный артист, веселый и очень признательный за удачное лечение. Власть у него была большая, и через него мы получили неограниченный доступ во все театры на лучшие места. Он привел за собой лечиться многих других артистов, а так как больные Бориса легко делались его друзьями, то у нас образовался обширный и приятный круг знакомств. Мы стали устраивать у себя вечера с Лапушкой, в качестве пианистки и аккомпаниатора, и такими певцами, как Григорий Петров, Лабинский и Троицкая. Остальные квартиранты не протестовали, так как собирались у дверей в коридоре слушать бесплатный концерт.

В числе наших знакомых был литератор, учитель антропософии С., умнейший человек, не от мира сего, знавший об астральных и эфирных планах значительно больше, чем об окружающей жизни. Жена его была приятельницей Бориса в его студенческие годы. Жили они на задах барского дома, в одной из комнат, перестроенных из прежних конюшен. Когда ему приходилось выступать на литературных вечерах, он за-

нимал у Бориса брюки, сюртук был тоже с чужого плеча.

Там же жил замечательный художник В. с женой, тоже художницей, Т., которая сделала портрет Лены. Но картины в то время заработка не давали.

Все были нищи, все были одинаково голодны и холодны. Тело было порабощено, но дух свободен. Все продолжали жить своей привычной духовной жизнью, выработав привычку внешней покорности. "Они" и "мы" не смешивались. Они наверху издавали декреты, разрушали и строили, мы изо всех сил старались продолжать жить так, как раньше. От сознания невозможности изменить положение выработался своего рода политический цинизм. Протест слишком дорого стоил. Вы хотите, чтоб я явился на собрание "явка обязательна", вот я тут, но слушать ваши коснеющие речи вы меня не заставите, думать свои мысли не запретите, считать дураков умными и советских краснобаев ораторами не обяжете, мое собственное мнение о вас как о тупицах, лишенных оригинальности и ума, как о попугаях, повторяющих все одни и те же чужие мысли, как о лакеях, выслуживающихся перед хозяевами, вы у меня не отнимете. А руку поднять — пожалуйста, вот вам моя рука, но мой ум, моя душа остаются при мне.

В ленинские дни еще не накинута была узда на творческую мысль. Мозги и силы старой интеллигенции еще считалось возможным использовать. Луначарский либеральничал с артистами и писателями. Борис Пильняк выпустил "Голодный год", Сельвинский в "Пушторге" сверкал неиссякаемым потоком образов. На виду у всех Маяковский паясничал, но в то же время писал "Скрипку-позвоночник". Айседора Дункан обучала молодых босоножек Шопену и Интернационалу и "крутила роман" с хулиганствующим талантливым Есениным. Мейерхольд вертел мельницами, играл световыми эффектами в "Великодушном рогоносце", превращал артистов в акробатов и клоунов, которые бегали, катались по пологим площадкам, вертелись в скользящих плоскостях, но были так хороши, что даже все эти затеи не затмевали таланта. Затаив дыхание, мы следили за судьбой симпатичного белого офицерства в "Днях Турбиных". Ставили "Карамазовых". Какая это была игра, какое непревзойденное мастерство Художественного театра.

Сидя в Большом театре, слушая Барсову в "Мадам Баттерфляй", я вспоминала, как я слушала ту же оперу с В. М. в "старой" Москве, среди смокингов и белых жилетов, вельвета, бархата и драгоценностей. Как будто не семь, а семьде-

сят лет прошло с тех пор. Нет, нельзя годами измерить той пропасти, которая отделяла старое от нового. Эти бледные, голодные, изможденные лица, помятые костюмы и косоворотки, убогие платья... Только галерка свежела молодыми лицами комсомола. Но искусство осталось все то же и так же давало отдых и радость измученным людям.

Дух не так легко убить, как тело. Понадобилось сорок длинных лет, бесчисленные жертвы, ссылки, пытки, расстрелы, лагеря, затемнение мозгов подрастающего поколения долбежкой политграмоты, исключением всякой свежей мысли, всякой критики, чтобы убить творческую мысль, обезличить, обесплодить страну, сделать ее сухой и скучной копией Капитала Маркса.

В Москве, столице коммунизма, неожиданно оказалось легче дышать, чем на периферии. В Кореновской, где каждый человек был на счету, я была "подозрительной" "буржуйкой", в Краснодаре мы были на учете, и я постоянно боялась за судьбу Бориса, здесь мы затерялись в толпе, нас было слишком много.

С приездом няни убавилось работы, и я могла уделять больше времени музыке и Лене. Лена усердно зубрила политграмоту и разбиралась в том, когда и зачем были созваны три интернационала, украшала ленточками Ленинский уголок в школе, писала "серьезные" сочинения с ужасающими ошибками, не учила истории и географии за неимением учебников, но в общем вела нормальную школьную жизнь с подругами и свойственными ее возрасту интересами. К счастью, она любила читать, так что классики и исторические романы пополняли ее образование. В музыке она успевала хорошо, и мы начали играть с ней в четыре руки. В девять лет она была самостоятельной, разумной девочкой, с собственными мнениями и суждениями. Я подумывала взять место учительницы, но слишком уж непривлекательны были условия: грошовое жалование, нетопленные, грязные помещения, отсутствие лабораторий и учебных пособий, а главное, полное падение дисциплины. В старших классах учителя часто были запуганы учениками, и ученические комитеты диктовали свои условия педагогам.

А московские жители запугивались беспризорниками. Сотни, если не тысячи голодных, оборванных, невероятно грязных, вшивых ребят разных возрастов хулиганили в Москве и ее окрестностях. Некоторые были сиротами или брошенными своими родителями, без роду и племени, но были и такие, кто убегал из дому и предпочитал полную аван-

тюр жизнь улицы семье и школе. Днем они шатались по городу, занимаясь мелким воровством и всякого рода бесчинствами, а ночевали в подворотнях, в пустых помещениях, в пустых чанах, в которых варился асфальт, — это было привелигерованное место, так как чан сохранял некоторое тепло. Один раз, идя вдоль набережной Москва-реки, я заметила внизу огромную кучу из обрывков афиш и газет, которая как-то странно шевелилась. Подойдя ближе, я увидела, что это была куча беспризорников, для тепла обернувшихся бумагой и прижавшихся друг к другу. Было около десяти градусов мороза.

В другой раз я шла по Арбатской площади с бидоном молока в одной руке и сумкой — в другой. Меня окружила толпа ребят человек в пять, я почувствовала, как они выдернули у меня из руки сумку и тотчас же разбежались в трех разных направлениях. Я подошла к стоявшему недалеко милиционеру и рассказала о случившемся. "В какую сторону убежали?" — спросил он. Я показала на все три стороны. "Оставьте, гражданка, их все равно не поймаешь. А поймаешь, вам же хуже. Мстить будут".

На моих глазах, когда мы садились в трамвай после театра, мальчишка стал вырывать сумку из рук одной женщины с угрозой: "Пусти, с..., а то укушу, у меня сифилис!" Женщина отпустила. Пассажиры безмолвно смотрели, даже не пытаясь поймать вора, так как знали, что за поимку будет расплата — все беспризорники стояли друг за друга.

В темных переулках снимали с прохожих пальто и шубы, угрожая ножами. Были случаи ранений и даже убийств.

Правительство пыталось бороться с этим явлением. Устраивали дома для беспризорников, с участками земли, где они должны были разводить огороды и хозяйство для своего пропитания. Устраивали облавы и насильно помещали их в такие колонии, но большинство разбегалось, так как работать никто не хотел, в лучшем случае переживали там зиму, довольствуясь скудным пайком, и уходили весной. С началом лета поезда, уходившие на юг, были полны бесплатными пассажирами, которые прятались под лавками, лепились на буферах и крышах, — беспризорники отправлялись на курорты.

Случилось мне ехать с одним коммунистом в военной форме. И у него, и у меня под лавкой оказалось по беспризорнику.

— Вот это наши будущие коммунисты, — с удовольствием говорил военный, — эти не заражены буржуазными предрассудками. А их у нас до пяти миллионов по всему Союзу!

Не знаю, сколько из них вышло коммунистов, но в последующие суровые годы с ними расправлялись жестоко, выводя их в расход, как крыс.

Как-то на одном из собраний — "явка обязательна" — я встретила Андрея. В кожаной куртке и кепке, в высоких сапогах он выглядел настоящим партийцем и держался уверенно, даже высокомерно. Собрание было недалеко от нашего дома и я попросила его зайти. Хотя Андрей занимал скромное место в какой-то из партийных организаций, он чувствовал себя наверху, у власти.

— Так вы считаете, что все, что происходит сейчас, правильно? — спросила я.

— Безусловно. Чего же лучшего мы могли ожидать?

— А голод, холод, дезорганизация всех отраслей жизни?..

— Это временно. Наследие царского режима. Скоро мы все наладим.

— А свобода? Ведь мы шагу не можем ступить без разрешения начальства.

— Диктатура необходима в переходный период от революции к социализму, так же как и репрессии в отношении врагов пролетариата.

Андрей говорил и мыслил лозунгами. Разговаривать с ним стало так же скучно, как читать политграмоту. Мысль не выходила за пределы предписанного партией.

— А вы знаете, что Вольфы очень бедствуют в Кисловодске?

Я уже почти знала заранее, что он ответит.

— Дворянский класс обречен историей на вымирание.

Я была рада, когда он ушел.

Каждый раз, когда мне случалось разговаривать с коммунистами, я наталкивалась на ту же непроницаемую стену, за пределы которой они не пропускали свою мысль. Вопреки всякой очевидности, они отрицали факты во имя теории. Человеку отказывалось в пайке, потому что он дворянского происхождения. Но невозможно было доказать, что человек не выбирает сам своих родителей. В бесчисленных анкетах, которые мы заполняли по всякому поводу, вдруг все оказались детьми рабочих, крестьян, в лучшем случае служащих, и я должна была ставить в графе об образовании: "окончила школу второй ступени", хотя какие могли быть школы "второй ступени" в царской России?! Упоминание об институте закрыло бы передо мной все возможности работы.

Самое страшное, что это "рефлекторное" мышление

прививалось молодежи. Так легко ответить готовой фразой, вместо того, что бы подумать и высказать свое мнение, так легко без критики проглотить то, что готовым, разжеванным вкладывается в рот. Так настойчиво, назойливо лезли в глаза и уши заготовленные наверху стандарты и так раболепно повторялись тысячами ртов, не пропущенные предварительно через разум. Постепенно проводилась политика власти — подставить рефлекс вместо разума, превратить живого человека в роботообразное существо.

В конце 1922 года приехала в Москву Женя. Она постарела, похудела, потух огонек, который так привлекал к ней сердца раньше, но подход к жизни остался тот же — через сердце. Жизнь в Кисловодске была очень тяжела, заработать было невозможно. Старики кормились около своего скудного хозяйства и один за другим сходили в могилу. Жене стало там уж очень тяжело, и она приехала в Москву искать работу. Я к ней присоединилась, и мы вскоре нашли то, что нам показалось по душе. Это учреждение носило благозвучное название Музексин — музейно-экскурсионный институт. Там была база для приезжающих со всех концов Союза учительских, студенческих, окончивших техникумы или вторую ступень экскурсий. Каждая экскурсия состояла из 20—30 человек. Им давали ночлег и стол и показывали Москву в разных аспектах под руководством специалистов. Естественники руководили экскурсиями в зоопарк и естественно-исторические музеи, искусствоведы — в картинные галлереи и музеи, историки — по историческим местам Москвы, экономисты — по фабрикам и заводам. Затем экскурсанты получали билеты на один или два спектакля, и таким образом у них составлялось всестороннее и правильное представление о Москве. Экскурсоводы должны были представить разработанный план экскурсий по своей специальности и время от времени представлять отчеты о своей работе. В остальном они были совершенно самостоятельны. Полагалось маленькое основное жалованье и три рубля за каждую экскурсию. Мы с Женей включились в секцию естественников, но понадобилось два-три месяца, чтобы "освоить материал", прежде чем приступать к работе.

Мы начали с зоопарка, который расширялся почти в два раза против прежнего за счет соседнего парка, принадлежавшего раньше богачу Морозову. Вместо старых тесных клеток звери переводились в условия, как можно больше напоминающие естественные. Был создан остров хищников со скалами и пещерами, где разгуливали великолепные звери, от-

деленные от зрителей рвом с водой. Большие пруды для водяных животных и птиц, обширные поляны для ланей, оленей и антилоп, скалы для козлов, дворцы с площадками для слонов, большие вольеры для птиц.

Мы чувствовали себя растерянными среди такого обилия материала, но у Жени, как всегда, был свой подход к работе. Надо было "подружиться" с заведующим, который каждый день обходил зоопарк. Мы стали следовать за ним, иногда задавая вопросы. Он сначала косился на нас, но, увидев наш искренний интерес к жизни животных, стал общительнее. Он был большой знаток и энтузиаст своего дела. Он редко останавливался у львов и слонов, но подолгу стоял у пруда с различными видами водоплавающих птиц, которых нам с Женей казалось очень трудно отличить друг от друга. Животные были его друзьями, и он, казалось, понимал их нужды больше, чем человеческие. Он с тревогой ждал приближения родов у медведицы, устраивал помещение для лисенят, чтоб слишком заботливая мать не затаскала их до смерти, стараясь скрыть от чужого глаза, проведывал самца страуса нанду, который уже пятую неделю сидел на яйцах без питья и пищи. Около него был кружок юных биологов, которые входили во все подробности звериной и птичьей жизни.

— Самое главное — это наблюдение, — говорил он нам. — Никто вам не расскажет так много о жизни животного, как оно само. Не мешайте ему и смотрите.

Была чрезвычайно интересная опытно-биологическая станция профессора Завадского, где путем пересадки половых желез производилась перемена пола у птиц. Мы наблюдали, как после первой линьки куры превращались в петухов, утки — в селезней и наоборот.

Я очень волновалась перед своей первой экскурсией, но она оказалась из группы рабочих, которые интересовались главным образом крупным зверем и проделками обезьян, так что подробных объяснений с моей стороны не потребовалось.

Вскоре я полюбила свою работу и научилась варьировать материал, подбирая его по различным темам: покровительственная окраска, симбиоз, борьба за существование и т. п. Утомляла только обширность территории, которая требовала для обхода не меньше трех часов. Когда у меня было две экскурсии в день, я падала от усталости.

Интересно было также и общение с молодежью, когда мы прорабатывали виденный материал. Хотя они были из

разных углов Союза: из Сибири и Туркестана, с Кавказа и с Украины, но в общем все они были похожи друг на друга. Почти все — дети рабочих и крестьян, с уровнем интеллигентности значительно ниже прежнего, но с деловым, практическим, целевым подходом к жизни. Они сознавали, или, вернее, им внушали, что они — хозяева страны, что им придется строить новую жизнь. Новые впечатления и знания впитывались ими жадно и непосредственно.

Один студент очень удивился, когда увидел лося: "Я, — говорит, — всегда думал, что лось — это жена оленя".

Красота как таковая мало привлекала экскурсантов. Перед витриной экзотических бабочек или роскошных райских птиц они не восклицали: "как красиво!", а торопились дальше, к тому, что более знакомо, полезно, нужно для жизни. Статистика Музексина показала, что экскурсии на фабрики и заводы нравятся больше, чем в картинные галлереи и музеи.

Обычно я встречалась с каждой группой три раза: в зоопарке, в одном из музеев и на проработке материала, где я отвечала на вопросы и выясняла, насколько понята моя главная тема. Со студентами сельскохозяйственных институтов, где акцент ставился на естествознании, темы были сложнее и разнообразнее, и мы дольше работали вместе. Мне понравилась одна из этих студенток, комсомолка и староста группы, и мы с ней разговорились. Она была очень довольна жизнью, кончала институт и оставалась работать при лаборатории.

— Я — дочь рабочего, — говорила она с такой гордостью, как мы бы сказали: дочь князя. — Мой отец немного умеет читать, а мать неграмотная. А я вот, может, профессором буду.

Никакие партийные распоряжения не вызывали в ней сомнений. Ленина она обожала. На жизнь смотрела просто и бодро. "Это наша, рабочая жизнь, нам времени терять некогда". Читала она и классиков: Тургенева и Толстого.

— Праздную жизнь они вели, эти помещики — балы да охоты. А девушки их все чего-то скучали. Князь Андрей мне понравился. Жаль, что он был не большевик.

Боже мой, думала я, ведь за восемь лет выросло новое поколение, которое идеологически дальше от меня, чем Наташа Ростова, которая жила более ста лет тому назад. В его умах уже произошла переоценка ценностей. Новое студенчество не сохранило никаких традиций старого. Ни тени романтики, идеализма не чувствовалось в них, их вытеснил

марксизм и политграмота. Они не мечтали о будущем, они трезво и практично устраивали работу сегодняшнего дня. Я смотрела на эту девушку, как спокойно и деловито устраивала она дела своей группы, без смущения разговаривая со старшими, заведующими и экскурсоводами. А я бы на ее месте стеснялась, краснела, не знала, как подойти... В первый раз я почувствовала себя "старым поколением". И мне стало страшно за моих детей, не так за Лену, у которой была способность критически мыслить, как за маленькую Таню. При все уменьшающемся влиянии семьи и увеличивающемся — партии и школы, она неизбежно вырастет среди новых, чуждых мне влияний и станет идеологически чуждым мне человеком.

С введением Новой экономической политики — НЭПа — жизнь стала легче. Открылись базары, где, правда, по дорогой цене, можно было купить продукты. Открылись кое-какие магазины, где можно было после долгого стояния в очереди получить отрезочек случайной мануфактуры или галоши не того размера, какой нужен. Бабы разносили по домам молоко в бидонах. Даже елочки под Рождество продавались с возов.

Политика НЭПа вызвала осуждение в партийных кругах и преувеличенные ожидания у населения. Действительно, это была нелогичная мера со стороны мастера логики Ленина, "шаг назад". Ведь нельзя же было предположить, что каменное сердце вождя революции могло быть тронуто страданиями населения. Не разрешив загадки НЭПа, Ленин умер в январе 1924 года.

У обывателя прежде всего возник вопрос — что будет? Лучше или хуже? И всем чувствовалось, что будет хуже. При всем отрицательном отношении к политике Ленина, нельзя было не признать его железной логики и воли, его своеобразной политической честности. Он был вождем, который умел увлекать за собой, а кого не увлекал, того заставлял подчиняться.

День его смерти был объявлен днем национального траура. Тело, перевезенное из Горок, было выставлено для народного "прощания" в Доме союзов.

Каждая свадьба и похороны вызывают любопытство прстолюдина, но тут это любопытство перешло в массовый психоз. Каждый считал своим долгом "побежать посмотреть". Инсценировка, правда, была замечательная. Колонный зал, задрапированный в траур, со знаменами и цветами, неви-

димый оркестр, игравший похоронные марши, посреди — гроб с почетным караулом из видных партийцев и военных, непрерывная лента безмолвно движущихся почитателей... Все было создано, чтобы произвести глубокое впечатление на зрителя.

Учреждения и школы шли организованно, жители выстраивались в очереди, которые растекались далеко по радиусам улиц. Няня, которая не могла не посмотреть того, что видели другие хозяйки, простояла в очереди 15 часов, но вернулась довольная и украшением зала и музыкой, хотя сам покойник ей не понравился.

— Невидный из себя... Да и креста в руки не дали. Какие же похороны без креста?

Лена приколола себе траурный бантик, но особой печали не испытывала.

Мне стало стыдно, что пропускаю такое историческое событие, и, одевшись потеплее, я решила встать в очередь. Очередь в нашем районе доходила почти до Никитских ворот, не уменьшившись и на вторые сутки стояния. Двигались медленно. Казалось, вся Москва стояла на улицах в эту морозную январскую ночь. Что-то древнее, скифское было в этих толпах, закутанных во что попало фигурах — поверх платков и шапок многие натянули мешки и рогожи; в кострах, разложенных на улицах, в смутном говоре, в покорности ожидания, особенно в отдельных фигурах, которые подбегали к кострам и, чтобы согреться, делали странные телодвижения. Что привело сюда всех этих людей? — думала я. — Что заставило бросить дом и дела, стоять на морозе десятки часов? Любовь к Ленину?! Я прислушивалась к разговорам вокруг. Имя Ленина не упоминалось. Разговоры шли на обычные житейские темы... Как всегда, в толпе находились остряки, которые вызывали внимание и смех. Некоторые нарочно забавно приплясывали у огня.

Страшная вещь — толпа! Она способна на все: давить друг друга на Ходынке, чтобы получить кружку с портретом царя; кричать исступленное "ура" ему и его воинству; провожать со славою и крестным знамением в могилу патриарха Тихона и бить, грабить, терзать окровавленными руками несчастных жертв революции. Толпа — это не собрание отдельных людей с индивидуальной волей, а особый, цельный, страшный конгломерат с собственной психологией. Она способна на такие действия, которым потом удивится и ужаснется отдельный ее участник, перестав быть частью толпы.

Простояв три часа, промерзнув и подвинувшись вперед на несколько шагов, я вернулась домой.

Хуже стало очень скоро. Еще не были изданы декреты, а уже один за другим закрывались магазины и базары, крестьяне перестали привозить на рынки продукты. В учреждениях уже шла чистка. Вместо старых опытных служащих "с прошлым" или "дворянского происхождения" сажались новые, без опыта, но с революционными заслугами или идеологией. Участились обыски и аресты. Лица совдепов, на которых появились было редкие улыбки, стали опять угрюмыми и подозрительными.

Начиналась сталинская эпоха, которой суждено было изумить весь мир своей варварской, азиатской жестокостью.

Однажды ночью мы были разбужены резким стуком в дверь. Борис открыл. Два агента ГПУ с предписанием произвести обыск вошли в комнату. Сердце мое упало — донесли... Посмотрели наши документы, бумаги в письменном столе, книги, перерыли вещи в комоде, выбросили из гардероба платья. "Встаньте, гражданка!" — обратился один ко мне. Завернувшись в одеяло, я стояла, пока он смотрел под матрацем и под кроватью. Кончив нашу, отправились в другую комнату.

— Там спят дети, — заметила я.

Внимания не обратили. Перерыли все и там.

— Предмет культа? Богу молитесь! — спросил насмешливый голос, очевидно, заметив образок над няниной кроватью. Подошли к телефону в коридорчике и стали разговаривать. Я была уверена, что сейчас скажут Борису одеваться и идти с ними. Но, кончив разговор по телефону, они вышли, даже не закрыв за собой дверь, и мы слышали стук в соседнюю комнату. Совсем ушли или придут еще? Арестуют Бориса или нет? Мучимые сомнениями и неизвестностью, мы лежали и прислушивались к повелительным стукам, которые обошли все комнаты. Потом захлопнулась входная дверь. Ушли.

Фигуры в ночных рубашках и халатах собрались в коридоре. Никто не знал, почему был обыск, но каждый чувствовал себя потенциальной жертвой, каждый трепетал за свою судьбу. Бесправные, беззащитные совдепы дрожали перед лицом всемогущего ГПУ. Утром мы узнали, что обыск был произведен во всем доме, так же как и во многих домах Москвы. Причины обысков оставались обывателю неизвестны.

С этой ночи меня никогда не покидал страх за жизнь Бориса. До сих пор ему удавалось скрывать свое контрреволюционное прошлое, участие в Добровольческой армии, но рано или поздно оно должно было выйти наружу при превосходно поставленной системе доносов и сыска. Уже доходили до нас слухи об арестах подобных ему лиц.

Усиливалась коммунистическая бдительность и на "идеологическом фронте". Назначена была комиссия для инспекции работы Музэскина. На одной из своих экскурсий я заметила постороннего типа, который внимательно прислушивался к моим объяснениям. Потом он отрекомендовался как уполномоченный комиссии и сделал мне замечание.

— У вас, товарищ, совсем не чувствуется классового подхода. Вы так говорите о покровительственной окраске, что можно подумать, что это Бог так премудро сотворил.

Хотела я его спросить, какой может быть классовый подход к обезьянам и тиграм, да я уже по опыту знала, что дискуссия с подобного рода типами бесполезна и небезопасна.

— Но ведете экскурсию очень живо и интересно, — в заключение прибавил он.

Подобного рода замечания получили и другие экскурсоводы.

Женя подружилась с искусствоведкой из Третьяковской галлереи, бледнолицей, скромной, монашеского вида девушкой с глубоким знанием своего дела. У нее была одна платная экскурсантка, жена комиссара одного из советских учреждений, которая платила ей три рубля за экскурсию, то есть столько же, сколько полагалось за целую группу. Ходить с группой комиссарша не хотела, но не возражала против Жениного и моего присутствия. Два раза в неделю мы вчетвером отправлялись в галлерею. Катя ничего не рассказывала и не объясняла. Она ставила нас перед картиной и говорила: "Смотрите". Мы молча смотрели пять-десять минут, пока не начинали чувствовать таинственный контакт между собой и произведением искусства, какие-то невидимые токи, проникновение вглубь создания художника.

Когда мы были готовы со своим мнением, мы его высказывали. Катя дополняла, и таким образом раз просмотренная и прочувствованная картина навсегда становилась близкой. Мы успевали просмотреть и обсудить две-три картины за одно посещение. Прежде всего мы учились смотреть. Для теоретических бесед мы собирались у комиссарши. Она

занимала хороший номер в гостинице. Нам подавался чай с печеньем и вареньем. У нее были хорошие меха и платья. Сама она была простая, малообразованная женщина, но с желанием использовать свое привилегированное положение не только для приобретения материальных благ, но и для пополнения своих знаний. К нам она относилась с большим уважением, но местами не поменялась бы.

Однажды, вернувшись домой, я застала у себя заплаканную Асю.

— Виктора назначают заведующим госбанком в Урумчи, в Туркестане, — сказала она. — Я не знаю, что делать. Ехать с ним в эту дыру значит оставить детей без образования. Оставаться здесь — мы можем никогда больше его не увидеть.

— Как это случилось? — спросила я.

— Чистка! Почти всех старых служащих вычистили. "Развели, — говорят, — в банке контрреволюционное гнездо".

— Хорошо, что не арестовали.

— Урумчи — это ссылка. Там и банка-то еще нет. Виктор должен организовать. Школ нет, да и вообще русские семьи наперечет.

— Когда он должен ехать?

— Через два месяца.

— Пусть он едет один, посмотрит, как там, и напишет все потом, если окажется возможным.

— Вероятно, мы так и сделаем, но как страшно разъединять семью в такое время.

— Ничего нельзя сказать, Ася. Может быть, там будет и лучше. Здесь становится страшно. После этого обыска у нас я не могу найти покоя. Я бы с удовольствием уехала из Москвы, и чем дальше, тем лучше. Я очень устала от этой жизни.

— Мать Виктора на днях уезжает, — прибавила Ася, помолчав. — Дом в имении реквизировали под какое-то военное учреждение, вещи вывезли в Москву.

— Вряд ли они попадут в музей, вернее, на квартиру какого-нибудь партийца.

— Для отчима Виктора оставили маленький флигель в одну комнату с кухней. Он требует жену к себе.

— А Паша?

— Паша останется с нами, там ее поместить некуда. С Пашей я могу пойти работать, когда Виктор уедет.

— Бедная Барыня, — пожалела я.

— Она не пропадет. Будет разговаривать с комиссарами,

а муж будет подавать кофе в постель и набивать папиросы. Мальчиков жалко, они так привязаны к отцу, — и Ася опять заплакала.

Мне нечего было сказать ей в утешение. Я ясно сознавала, что я и сама в любой момент должна быть готова к такому же положению, а, вероятно, и к худшему.

Через два месяца Виктор уехал и никогда больше не увидел своей семьи. Через несколько лет он был арестован и умер в тюрьме.

Прекратились вечера у серебряного самовара. Наши вечера-концерты прекратились уже давно, после того, как домком сделал нам замечание, что мы ведем "слишком буржуазный образ жизни".

Постепенно зажимали в клещи общественную и культурную жизнь. Сняли с репертуара Художественного театра "Дни Турбиных". Покончил самоубийством Маяковский. Трудно стало мятущейся душе поэта среди буден диалектического материализма. Исчезла с горизонта Айседора Дункан, так и не доучив босоножек. Повесился Есенин. Смерти поэтов замалчивались печатью, но широко обсуждались публикой. Старая интеллигенция, смещенная с работы или поставленная под начало партийных молокососов, с тревогой смотрела в будущее, ожидая худшего.

Глава 8. «От Москвы до Шанси...»

Весной я раз возращалась домой после экскурсии очень усталая, шла по Тверскому бульвару, смотрела на закат, позолотивший кресты Страстного монастыря. Вдруг у меня закружилась голова, я присела на скамейку и на несколько минут потеряла представление о пространстве и времени, как будто у меня в мозгу повернулся выключатель и исключил меня из жизни. Я вдруг оказалась сама по себе, ничем не связанная с окружающим миром. Но рефлексы сохранились. Я встала, пошла к дому, прошла в свою комнату. Посмотрела на Лену, сидящую у стола за уроками, на Таню, которая готовилась спать. Ни малейшее чувство не шевельнулось в моей душе. Но я нашла в себе силы сказать им несколько подходящих к случаю слов.

Пришел Борис. И он был таким же совершенно чужим, посторонним. Но в моем внешнем виде не было ничего, что бы говорило о моем состоянии отчужденности. Борис, усталый и голодный, сел обедать. Я есть не могла. После обеда, когда он лег на кушетку, я постаралась описать ему свое состояние, но он отнесся без должного внимания. ”Ты просто переутомилась. Ложись спать”.

Но спать я не могла. Я лежала с открытыми глазами, переживая ужас своего одиночества. Я была уверена, что это непоправимо, что я навсегда останусь этой оболочкой без души, исключенной из жизни. Утром я встала с тем же чувством нереальности окружающего. Но так как моя телесная оболочка делала все, что полагается, то мой внутренний ужас никому не был заметен. В тот день у меня должно было быть две экскурсии. Первую я провела таким же бесчувственным манекеном, повторяя заученные слова. Но на второй я стояла у клетки тигра, забыв, как называется это животное. К счастью, поблизости оказался один из юных биологов, я попросила его закончить экскурсию и поехала домой. Дома я разрыдалась неудержимо от отчаяния и страха. Борис, на этот раз уже встревоженный, записал меня на прием к доктору Восослимо, известному тогда и популярному врачу по нервным болезням.

Или я не сумела объяснить, или доктор не понял, но он отнесся ко мне, как к обыкновенной нервной барыньке, сказал несколько слов в утешение и прописал снотворное, которое мне не помогало. Я поняла, что только я сама должна бороться, и моя воля к жизни должна побороть мой страх перед надвигающимся сумасшествием, как я это тогда понимала. Работу я должна была оставить, но я продолжала свое манекенное существование: вставала, одевалась, шла за покупками или гулять с Таней, проверяла Ленины уроки. Только бессонными ночами отчаяние овладевало мной. Долго ли я могу бороться с собой, надолго ли хватит сил? Мысль о моей маме постоянно возвращалась ко мне, я старалась представить себе, что она, бедная, должна была пережить. Законы наследственности показывали, что хоть и не обязательно, но я могу пойти по ее пути.

Некоторое утешение внес в мое состояние профессор Г., к которому мы пошли вместе с Борисом. Он был профессор советского времени, но человек оригинального ума и больших знаний.

— Если вы без конца работаете мышцами руки, и они в конце концов отказываются служить, вы не удивляетесь. Но если вы бесконечно нагружаете нервную систему и она временно выбывает из действия, это вас удивляет. Ваша болезнь называется церебростения и является последствием вашей жизни. Ваше дело бороться с ней.

Мне стало несколько легче от того, что моя болезнь имеет название и я не являюсь каким-то уродом.

— Если можно, перемените обстановку. Найдите новые интересы в жизни, — прибавил профессор, отпуская меня.

Как можно было переменить жизнь в Москве, когда невозможно было даже переменить комнату. Я с тоской смотрела на все те же надоевшие стены, где мне, вероятно, суждено жить до самой смерти. Я не спала, почти не ела, но продолжала держаться, сделав ставку исключительно на свою волю.

На время меня вернул к жизни случай, произошедший с Таней. Лена обещала взять ее к своей подруге, и Таня оделась и вышла на улицу. Когда вышла Лена, Тани не было. Мы обыскали весь дом и переулки, но Тани не нашли. Мы с няней разделились: она пошла по Мерзляковскому переулку, я — по бульварам. Обошла Никитский и Тверской, останавливалась, спрашивала у нянь с детьми, сидящих на скамьях, не видели ли они девочку пяти лет в голубой шубке и капоре. Никто не видел. Тревога моя все росла и росла. Остановилась у Арбатской площади — пятилетний ребенок не мог

перейти площадь с неостановимым потоком движения. Я вернулась домой. Няня была уже дома, она не нашла Тани. Я позвонила Борису. Он не мог приехать раньше трех часов. Позвонила в милицию. Никакой заблудившейся девочки там не оказалось.

— Не можете ли вы принять какие-нибудь меры, чтобы найти ее, — просила я. — Может быть, ее украли, или с ней несчастный случай.

— О несчастном случае нам донесут. Сейчас мы ничего сделать не можем, — и равнодушная рука повесила трубку.

Няня молилась у своего образка, и я встала рядом с ней. Вспомнила, как бабушка выстроила нас, детей, молиться о пропавшей маме.

— Я, барыня, сбегаю еще раз по Мерзляковскому, — сказала няня, — и площадь на ту сторону перейду, где Ленина подруга живет. А вы дома ожидайте.

Я чувствовала, как поднималось во мне нестерпимое волнение, билось сердце, подкашивались ноги. Я была уверена, что случилось непоправимое и что Таню я больше не увижу. Ждать в комнате было невыносимо. Я вышла и поплелась навстречу няне.

Из-за поворота улицы показалась няня, ведущая за руку Таню. Когда я схватила ее на руки и прижала к себе, как будто у меня внутри выключили ток огромного внутреннего напряжения и настала тишина.

Няня увидела Таню, стоявшую у дома Лениной подруги. Таня решила пойти туда одна и там ждать Лену. Через площадь ее перевела за руку какая-то "тетя". Таня поднялась по лестнице, но не могла дотянуться до звонка, спустилась опять и встала около дома, поджидая Лену. Я разделась и легла в постель, наслаждаясь необычайной тишиной. Мускулы расслабились, ровно билось сердце, глубоко дышалось, я была как вычищенная внутри, без мыслей и эмоций — только блаженная тишина. Такова, вероятно, нирвана.

Этот нервный шок на время включил меня в действительность, показал мне, что чувства во мне живы. Мне стало не так страшно, но все же борьба продолжалась.

Из всех моих близких лучше всех меня понимала Женя.

— Я сама была такая же после смерти мужа, — говорила она. — Мне было все безразлично, и думать я могла только о смерти. И вот прошло. Ах, если бы был Любомир! — с горечью прибавила она. — Любомир, с его запахами и цветами, соловьиными песнями...

— Тебе не кажется, Женя, что не в этой жизни мы с тобой

гуляли в любомирском лесу и мечтали о счастье, а в каком-то другом воплощении? Так изменилось все вокруг, вся жизнь, все люди, а мы — какие-то обломки, выброшенные на чужой берег щепки от потонувшего корабля. Я себя чувствую такой старой, такой усталой. Теперь мне понятно значение слов — "влачить существование". А для чего? Чтоб умереть в тех же опостылевших стенах, без света, без красоты, без радости?

— Я думаю, мы оттого и захирели, что нет ни капли красоты в нашей жизни, — поддержала Женя. — Ты посмотри, как мы одеты, какие на нас ботинки, платья. И мы привыкли к этой серости, убогости, а молодежь ее просто не замечает. Только и отдохнешь, когда посмотришь на красавцев тигров или павлинов.

— Вот я насильно заставляю себя жить, с таким трудом, с таким напряжением, но часто опускаются руки и думаешь: нужно ли?

— Нужно, — твердо ответила Женя. — У тебя дети, муж, и ты им нужна, как бы ты себя ни чувствовала. Я вот думаю о своих стариках, что и я не имею права их надолго бросать. Я у них единственная радость в жизни. Весной поеду в Кисловодск. И все же там небо над головой, и красные маки цветут.

— Если бы и мы могли куда-нибудь уехать. Мое подсознание беспрерывно твердит: "Надо бежать, надо бежать". А куда бежать, когда везде одинаково? Бежать туда, куда не достанет всесильная рука ГПУ. Но где это?! Если бы ты знала, Женя, какой тоской, страхом, отвращением наполнена моя душа. Мне противно все, все люди, все вокруг, все это невежество, грязь, нищета... Я, как каторжник, связана с ними на всю жизнь. И некуда бежать! Вот эта безвыходность положения и угнетает больше всего.

— Ты не думай только о дурном. Думай о чем-нибудь приятном — о картинах в Третьяковской, о театре.

— Не могу. Мой мозг отравлен пессимизмом. Вчера не могла досидеть на "Садко". Не могла связать — какие-то чужие люди кривляются на сцене, а мне до них нет никакого дела. Стало страшно, и я ушла. И картин я больше не чувствую, токи не идут. Меня мучают страшные предчувствия, а когда придет настоящая беда, скажем, арест Бориса, сил уже не будет.

— А, знаешь, будут! Настоящая беда встряхнет тебя и вернет к жизни. Так было со мной, когда мы бежали из Любомира.

— Заведующий зоопарка, вероятно, уйдет, — переменила Женя тему. — Не ладит с новым директором, который ничего не понимает и отдает глупые распоряжения.

— И он? Такой человек! Где же они другого такого найдут.

— А им все равно. Поставят какого-нибудь партийного дурака, а что животные будут страдать, это неважно. Страдания людей не трогают, что уж говорить о животных.

Женя ушла, а я осталась со своими невеселыми мыслями. Пять лет как мы в Москве. Пять лет грязи и серости. Серое небо, серые стены, серые лица, примус, печка-буржуйка, пропитанный вонью и копотью городской воздух... Гнет безрадостной повседневности превращается в невыносимую тяжесть, и нервная система не выдерживает. Из нашей жизни ушли радость и красота. У нас отняли уверенность в себе, уверенность в том, что наши силы, опыт, знания могут быть полезны. Старую интеллигенцию выжали, как тряпку, и выбросили за ненадобностью. Некоторых еще продолжают жать, пока не подоспела подмена. У Бориса было две службы, была еще диспансеризация, обследование рабочих на производстве, и его выбрали председателем месткома. Раз в месяц он должен был выпускать стенгазету, и так как других "сотрудников" не было, он должен был сам ее написать, составить, склеить, украсить рисунками. За газетой он просиживал ночи. Надо было осветить местные события, остроумно, но не обидно высмеять одного, похвалить, но не чрезмерно, другого, поощрить третьего, заставить посмеяться всех над фельетоном или каламбуром. Только талантливость и работоспособность Бориса помогли ему справиться с таким, полагающимся быть коллективным, творчеством.

У нас не было времени перекинуться словом. Дети вообще не видели отца, так как он уходил и приходил, когда они спали. Он был сильный и здоровый человек, но и он начал сдавать. И он твердо знал, что никакое усердие в работе не купит ему прощения его прошлых "грехов", что "своим" он никогда не будет и признания не заслужит. И у него тоже поднималась тоска: бежать, если бы было куда бежать от этой жизни... Во второй части интернационала: "Мы наш, мы новый мир построим..." ему не было места.

Новый мир строился грубо и неуклюже, топорными, медленными мозгами. Правда, наверху оставались еще старые, тренированные в борьбе партийные мозги, но работа в учреждениях поручалась молодым, и ответственные места получали не по знаниям или опыту, а по партийным заслу-

гам. Более сообразительный начальник старался еще сохранить опытного служащего, чтобы у него чему-нибудь научиться, но стоило тому сделать малейший промах или навлечь на себя неудовольствие комячейки, как он вылетал со своего места. Но большинство новых отличались необыкновенной самоуверенностью. Это была их страна, они творили в ней жизнь, и кто же посмел бы их критиковать.

Профессора жаловались на сильное снижение уровня интеллигентности вновь поступающих студентов, особенно рабфаковцев.

— Все в мире просто, — говорил один из моих экскурсантов-студентов, когда мы обсуждали эволюционную теорию. — Сначала были камни, потом — инфузории, потом рыбы, птицы и обезьяны, а из обезьян — люди.

И он был совершенно доволен таким объяснением и не требовал большего. Чем меньше человек знает, тем он самоувереннее. Страшно было это снижение уровня, падение вниз, презрение к культуре, которая с таким трудом создавалась веками. "Интеллигент" — произносили с насмешкой комсомольцы, как мы бы сказали "пьяница" или "бездельник".

Музексин перестал существовать, его переименовали в Экскурсионную базу Наркомпроса, переменили устав и начальство. Вероятно, установлен был классовый подход и к животным зоопарка, и к картинам Третьяковской галлереи. У Кати уже был конфликт по поводу того, что она показывала во время экскурсии портреты Боровиковского и прошла мимо "Крестного хода" — картины, как ей было сказано, "глубокого социального значения".

Я продолжала тосковать и томиться, не видя выхода... жизнь без радости и красоты постепенно затягивала, засасывала, входила в привычку, убогую вторую натуру, замену настоящего "я". Все кругом тускнело, окутывалось дымкой отдаленности. Все мои душевные силы уходили на то, чтобы удержаться на грани реальности.

К счастью, деятельная натура Бориса не сдавалась так скоро, как моя. Он искал пути для осуществления крепко запавшей ему в голову мысли. Раз вечером он пришел более оживленный, чем обычно:

— Кажется, намечается выход, — сказал он, крепче закрывая двери в соседнюю комнату, где няня укладывалась спать. — Я случайно узнал, что помощник заведующего международным сообщением в НКП мой старый приятель, еще по Петербургу. Я зашел к нему в перерыв между службами. Он очень мило меня принял, разговорились о прошлом. Он хоть

и партиец, но я сразу почувствовал, что ему можно доверять. Рассказал ему о твоей болезни и о требовании врачей переменить обстановку на более спокойную, подальше от Москвы. Он немного подумал, затем спросил: "В Харбин хотите?" — "По правде говоря, я никогда не слышал об этом городе". — "В Маньчжурии. Шесть тысяч верст отсюда. Китайская железная дорога находится частью в нашем ведении. Если хотите, я могу вас туда устроить. Как раз приехал заведующий медчастью искать старшего врача для больницы КВЖД. Заходите завтра часа в три. Он будет у меня". Я поблагодарил, сказал, что подумаю. Что ты на это скажешь?

— Харбин!.. Что-то смутно вспоминается — Хабаровск, Харбин, на Дальнем востоке.

Я достала географический атлас. Харбин в северной Маньчжурии, на реке Сунгари, — и больше ничего...

На следующий день Борис пришел с более подробными новостями.

— Познакомился с приезжим из Харбина доктором. Тип не очень приятный, молодой, из партийных выскочек, но с головой. О Харбине рассказывает чудеса: жизнь, как в довоенное время. Продуктов сколько хочешь, без карточек, без очередей, и остального товара тоже. Заходи в магазин и покупай что понравится. Дамы носят котиковые манто и шелковые чулки.

— Шелковые чулки?!

— А самое главное, дешевая и исполнительная китайская прислуга. И повара, и бои. Ты там будешь жить барыней. Говорит, прекрасные магазины, рестораны, ночные кабаре с программой.

— Что-то звучит слишком хорошо. Правда ли?

— Какой ему смысл выдумывать? Но эти дни, пока он здесь, надо за ним поухаживать, так как от него зависит мое назначение. Повидаю завтра Ванечку, возьму у него контрамарки в театры. И давай у нас ему прием устроим. Я приглашу кое-кого из артистов.

Я видела, что Борис был уже захвачен идеей поездки в Харбин. Я еще колебалась, но и меня прельщала мысль избавиться от сверхнагрузок и сверхнапряжения, выбиться из колеи безнадежности, на которую обрекла нас советская власть. Неизвестность манила, но и пугала. Все же, хоть и убогая, Москва была своя, свои, родные в ней люди.

Ася, которая вызвалась мне помочь с устройством приема, очень одобряла план поездки и расхваливала китайскую прислугу.

— Только паспорта заграничные вам дали бы. Это самое важное. Я уже несколько месяцев хлопочу для поездки к Виктору, и все отказывают.

— Приятель Бориса в НКП обещал помочь, но все же страшно навлекать на себя внимание. Начнут расследовать и докопаются до чего не надо.

— Все дело в протекции. Сильная протекция, так дадут.

Прием наш удался на славу. Борис, опять-таки при помощи партийного приятеля, достал припасов, закуски и водки. Последнее оказалось особенно важно, так как харбинский доктор пил водку стопками. Не понравился он мне, особенно глаза — маленькие, бегающие, пронзительные, чекистские глаза. Но все рассказы Бориса он подтвердил, прибавив, что есть и прекрасная библиотека и школы. Играла Лапушка, пел Лабинский. Доктор остался очень доволен. Перед отъездом он подтвердил Борису, что место остается за ним.

Паспортов мы ждали шесть месяцев, переходя от надежды к отчаянию и снова к надежде. Если бы не заступничество партийного приятеля Бориса, мы их, конечно, не получили бы.

Хлопот было много. Надо было сдать квартиру, не навлекая подозрений домкома, который не знал о нашем предполагающемся отъезде, продать пианино, кое-какие вещи. Так как чемоданов у нас не было, то укладывали вещи в ящики и узлы. Ящики заполнились, главным образом, книгами.

Надо было получить в Наркоминделе разрешение на вывоз денег и ценных вещей. Без разрешения могли все отобрать на границе с Маньчжурией. Я собрала в шкатулку все оставшиеся у меня кольца, браслеты и брошки, золотые часы Бориса, и он отнес ее в соответствующее учреждение, откуда она вернулась с печатями Наркоминдела, так же как и разрешение на вывоз 200 червонцев. Мы были удивлены признанием правительства за нами права собственности на наши вещи, не предчувствуя, что это оказался лишь остроумный маневр.

Наконец, все было готово, паспорта и разрешения получены, вещи собраны. Борису вручили билеты на два купе международного экспресса. Друзья и знакомые собрались проводить нас на вокзале. Ящики и узлы загромоздили наше купе, но все же это было большое удобство — ехать в двух смежных купе, соединенных коридорчиком с умывальником. В одном купе поместились Борис и Лена, в другом — я с Таней.

Измученная суетой последних перед отъездом дней, горем разлуки со своими близкими и с Москвой, я долго не могла заснуть. Боясь, что Таня может упасть с верхней полки, я уложила ее внизу, закрыла на предохранитель дверь, потушила свет.

Несмотря на то, что это был международный экспресс, поезд визжал, кряхтел, тарахтел не хуже товарного. Я потряхивалась на верхней полке, прислушиваясь к ритмичному постукиванию колес. Та-та-та... та-та-та... поехали... поехали... казалось, выговаривали они. Куда поехали? На край света, за шесть тысяч верст... Десять суток экспрессом... Как всегда бывает в дороге, первую половину пути все мысли были позади, слезы навертывались на глаза при мысли об Асе, Жене, о всех милых сердцу людях, обреченных, но не теряющих мужества, о Москве, где все пережитое казалось дорого — и радостное, светлое, молодое, и нищее, и тревожное.

Наконец я задремала. Проснулась от яркого света электрической лампочки. Отчего горит свет? — удивилась я. — Неужели сотрясение поезда могло автоматически включить его? Слезла вниз, перевернула Таню, у которой ноги оказались на подушке, заглянула в соседнее купе. У Лены подушка тоже выбилась из-под головы. Поправила предохранитель у двери, который почему-то оказался открытым. Борис и дети крепко спали. Я снова легла и задремала, прислушиваясь к мерному та-та-та... поехали...

— Мама, мама, посмотри, какой мост, какая река большая... — разбудил меня возглас Тани, которая привыкла вставать рано и стояла у окна. Она была переполнена новыми впечатлениями и не в силах была удержать их про себя.

Я выглянула в окно. Полноводная, неторопливая, одна из многих русских рек лениво потягивалась навстречу утреннему солнцу. Таня взобралась ко мне наверх, и мы смотрели, как пробегали мимо леса темно-зеленой хвои, позолоченной осенними березами, приветливые полянки, неведомо куда уходящие проселочные дороги. С детства знакомое чувство: если бы соскочить с поезда и брести по ним, брести куда приведут.

Проснулись Борис и Лена. Надо было вставать. Надевая платье, я заметила, что не было брошки. Это была моя самая ценная, еще мамина брошка, с изумрудом и бриллиантами, которую я, не доверяя Наркоминделу, решила сохранить, прицепив к платью. Мы с Леной искали на диванах и на полу.

— Найдется, — утешала меня Лена, — зацепилась как-нибудь за вещи. Будем раскладываться и найдем.

Когда проводник принес нам в вагон кипяток, я сказала ему о своей пропаже.

— Я за вашими брошками, гражданка, смотреть не приставлен, — нахально ответил он.

Ресторана в нашем экспрессе не было, и мы сами должны были заботиться о своем пропитании. Паша и друзья снабдили нас съестным только на первые два-три дня.

— Станция! — сообщила Таня, которая, боясь что-нибудь пропустить, стояла у окна в коридоре.

— Папа, давай выйдем. Молоко продают и яйца.

Они вышли, но возвратились без покупок.

— Кошелек, должно быть, в вагоне забыл, — объяснил Борис.

Кошелька не оказалось. Я стала искать свою сумку, в которой были деньги, но ее тоже не оказалось. Борис открыл портфель.

— Ты не брала деньги отсюда?

— Нет.

— Значит, нас обокрали.

— А шкатулка?

Шкатулки тоже не было. Борис торопливо вынимал бумаги.

— Слава Богу, паспорта тут и все мои свидетельства. Как бы там ни было, я благодарен вору за целость паспортов. Нам пришлось бы вернуться, и других мы никогда не получили бы.

— Что же мы будем делать без денег? — Я была в отчаянии. — Мы умрем с голода. Ведь девять дней в дороге.

— Подожди, мама. Где твоя муфта? Я туда положила десять червонцев, которые принесла тебе соседка за проданные книги, — вспомнила Лена.

После долгих поисков мы нашли муфту на верхней полке за вещами и в ней — десять червонцев. Я облегченно вздохнула:

— При большой экономии как-нибудь доедем.

Борис заявил о краже проводнику и начальнику поезда, но они не подавали никакой надежды, что вещи и деньги могут быть найдены.

Таня, которая уже успела познакомиться с другими пассажирами, облетела вагон с новостью, что нас обокрали. Скоро наше купе заполнилось сочувствующими. Рассказывались

аналогичные случаи, а один "бывалый" пассажир прямо заявил:

— Это дело ГПУ. У них инструкции отбирать то, на что раньше дано разрешение. В контакте с ними действуют и проводники. Они открывают большое окно из коридора и впускают их в вагон, а затем выпускают из поезда на одной из станций.

— А ведь это верно, — сказал Борис, когда мы остались одни. — Я теперь припоминаю, что в Наркоминделе за мной следил какой-то тип, и я его потом видел на вокзале. Простой вор не мог бы так спокойно работать: отстегнуть брошку, пересмотреть портфель и взять только то, что надо — 200 червонцев и драгоценности, оставив 25 американских долларов. Вор взял бы весь портфель, что было бы для нас катастрофой.

— Да, и это он зажег свет, перевернул Таню, ища под подушками у нее и у Лены. Но как я не проснулась?! Может быть, они подсыпали или покурили у нас чем-нибудь снотворным. Мне теперь кажется, что я слышала, как хлопнуло, закрываясь, окно в нашем коридорчике. И потом все провалилось.

— Если бы ты и проснулась, они нашли бы, чем оправдаться.

— Слава Богу, что я не проснулась. Был бы шок на всю жизнь.

Так советское правительство вернуло себе деньги и вещи, которые оно "великодушно" разрешило вывезти.

Но после этой ночи я не спала все остальные восемь, пока мы не приехали.

Десять дней в вагоне оказались не такими тягостными, как я ожидала. Борис был занят составлением плана своей будущей работы. Лена писала дневник и письма подругам. Я лежала, отдыхая после напряжения последних московских дней, — ничего не надо было делать, некуда торопиться, — или смотрела в окно вместе с Таней. Проехали Урал с мягко выгнутыми спинами зеленых гор. Остановились у столба, отмечающего границу между Европой и Азией. День за днем поезд катился по тайге, непроходимой чаще деревьев и кустов, загроможденной поросшими мхом, сваленными стволами и сухими ветвями, пронизанной могучими, неторопливыми реками, единственными артериями Севера. На сотни и сотни верст — первобытные, нетронутые земли, страшные своей таинственной мощью. Такими маленькими, неважными каза-

лись политические перемены и страсти, потрясающие жителей городов, перед лицом векового спокойствия, нерушимого величия природы. Становилось холоднее, и мы сменили пальто на шубы.

"Бывалый" пассажир, который подружился с Таней и, сочувствуя нашей потере, старался поделиться с нами своими припасами, снабдил нас сведениями о Харбине, которые мы не могли получить в Москве.

Харбин был совсем молодой город. Около пятидесяти лет тому назад на его месте была небольшая рыбачья деревня Харрабин, что значит Темный берег. В 1898 году русское правительство получило разрешение провести железную дорогу между городами Маньчжурии и Владивостоком, сокращая таким образом путь на 500 верст против прежнего. Новая дорога была названа Китайско-восточной железной дорогой — КВЖД. После неудачной Японской войны русские утратили влияние в южной Маньчжурии и должны были уступить южную часть дороги японцам. Много русских осело в северной Маньчжурии после войны. Новая волна беженцев появилась, когда была разбита армия Колчака и большевики появились во Владивостоке. В 1926 году дорога перешла в ведение Советов, и новые советские служащие заменили "эмигрантов", как стали называться старые жители Харбина.

— Много миллионов рублей было потрачено на создание русского города на берегах китайской реки Сунгари, — рассказывал пассажир. — В первый раз я был там лет двадцать назад. Деньги текли, как вода, состояния делались и терялись в короткое время. Жили весело и дружно, но теперь, как и везде, советчики внесли политические страсти, разделили население на "своих" и "чужих". Строители города, которые знали о революции только понаслышке, оказались "эмигрантами", "белыми", "врагами народа" и проч. Но надо сказать, что это происходит только на территории КВЖД, в остальном городе советчики и эмигранты живут дружно, а китайские власти ко всем одинаково благосклонны или, вернее, безразличны.

На пограничной с Маньчжурией станции мы были встречены чрезвычайно любезным начальником станции, который был предупрежден из Харбина о нашем приезде. Вещи наши пропустил без таможенного осмотра, которому подвергались остальные пассажиры. Узнав о том, что нас в поезде обокрали, он снабдил Бориса деньгами и все так, как будто не он нам, а мы ему делали большое одолжение. Давно отвыкшие

от любезности со стороны официальных лиц, мы смотрели на него с изумлением.

В последнюю, девятую, ночь я была встревожена страшным шумом и криками, проникавшими даже через закрытые окна. Я выглянула в окно. Сотни, а может быть, тысячи одинаково одетых в синее людей неистово кричали высокими, визгливыми голосами, отчаянно жестикулируя, наступая друг на друга. Уверенная, что случилось какое-то страшное побоище, восстание, я разбудила Бориса.

— Какая станция?

— Цицикар. Мы давно уже стоим, и они все кричат.

— Значит, мы уже в Китае. — Борис встал рядом со мной у окна. — Ничего страшного нет. Они просто осаждают поезд, каждый старается занять место раньше другого... Темпераментный народ!

— Выйдем, — попросила я. Успокоившись, я захотела посмотреть поближе на жителей нашей новой "родины".

Синий водоворот мгновенно захватил нас и на время отделил друг от друга. На путях напротив нашего экспресса стоял товарный состав, куда и устремлялся весь этот людской поток. Все одинаково одетые в стеганые синие штаны и куртки, с желтоватыми лицами, раскосыми глазами, они были так же неотличимы для меня друг от друга, как муравьи в муравейнике. Присмотревшись, я заметила, что у мужчин на головах круглые шапочки с цветными шариками наверху, а у женщин — с бумажными розами. Многие старые женщины ковыляли на маленьких ножках-копытцах, а старые мужчины еще заплетали волосы в длинные тугие косы.

Несмотря на исступленные крики и жестикуляцию, в этой толпе не было ничего страшного. Это была не наша русская толпа, в которой всегда чувствуется затаенная сила и угроза. Здесь все чувства экспансивно выливались наружу в криках и жестах, никому, в сущности, не угрожая. Была в этой толпе кака-то легкость, может быть, благодаря бесшумной походке в матерчатых туфлях.

Устроившись в поезде и угомонившись, оставшиеся на перроне обратили свое внимание на нас. Разглядывали нас с откровенным любопытством. Мне чувствовалось какое-то неодобрение в прищелкивающих "тчи-ча-тчо", которыми они обменивались на наш счет. Вероятно, наша кожа казалась им неприятно бледной, наши глаза — слишком большими. пощупали мою шубу и пальто Бориса и защелкали одобрительно.

Пасмурное утро, пронизанное холодным сибирским ветром, встретило нас в Харбине. И здесь нас также приветствовал чрезвычайно вежливый и любезный начальник станции. Разогнал половину носильщиков, облепивших наш багаж, устроил нас в один автомобиль, вещи — в другой, и через несколько минут мы остановились у внушительного подъезда Гранд-Отеля.

После московского жилтоварищества мы были подавлены "роскошью" Гранд-Отеля: блестящим паркетом, широкой летницей с красным ковром, зеркалами во всю стену, почтительными служащими за конторкой, безукоризненно белыми "боями", вносящими наш багаж. Наши узлы и ящики выглядели довольно убого рядом с новыми кожаными чемоданами иностранных пассажиров. Так же как и мы сами, в потертых шубах и пальто и шапках-ушанках. В Москве мы не отличались от других, но здесь я невольно сжималась под взглядами проходящих дам в котиковых манто и высоких ботах.

Мы устроились в двух смежных комнатах с мягкой мебелью, драпри и коврами. В сущности, Гранд-отель был не лучше той гостиницы в Самаре, где мы жили с Борисом, но тогда все это было привычное. Советский же быт приучил нас к такому убожеству, что все вокруг казалось необыкновенным. Прежде всего, я с ребятами отправилась в ванную. Таня никогда еще в своей жизни не принимала ванны, я же, погрузившись в теплую душистую воду, почувствовала себя возрожденной для новой жизни.

Я долго выбирала, что бы поприличнее надеть на всех нас, чтобы спуститься в ресторан к обеду. Бой взял выгладить наши вещи и сообщил мне, что внизу имеется парикмахерская для дам и мужчин. Борис пошел побриться и постричься, я сделала себе прическу и маникюр, и мы оба сразу почувствовали себя лучше.

Таня, вначале подавленная окружившим ее великолепием, начала свои вопросы "а почему?.."

— А почему в коридоре дети не бегают? А почему по лестнице ногами не ходят, а поднимаются в машине? А почему у меня два ножа и две вилки? А почему у этой тети платье до самого пола, и т. д.

Наши "лучшие" платья выглядели весьма скромно среди фешенебельных дамских нарядов и вечерних мужских костюмов. Предупредительные лакеи подвели нас к ожидавшему нас столику с белоснежной скатертью и сверкающим

хрусталем. Танин рот опять открылся от изумления при звуках оркестра.

— Таня, закрой рот, не болтай ногами, — строго сказал отец, — смотри, как я и мама будем есть, и делай так же.

Лена с неодобрением смотрела на прислуживающего нам старого официанта.

— Мама, можно его попросить сесть за наш стол? — спросила она. — Он совсем старенький, а я сама могу принести наши тарелки.

— Нельзя, Лена, это против правил отеля... Положи хлеб на тарелку с левой стороны.

Дети выросли "дикарями", без всяких манер, и мне предстояла большая работа приучить их к новым условиям жизни.

К нам подошел познакомиться доктор X. с женой, будущие сослуживцы Бориса. Заметив, с каким ужасом Лена смотрела на ярко красные губы и ногти и низкое декольте дамы, я поторопилась отослать детей в наш номер, как только они покончили с едой. Доктор и его жена познакомили нас с еще несколькими русскими, которые уже знали о назначении Бориса, вызвались помочь нам с покупками и пригласили к себе. Когда я, беспокоясь о детях, встала, доктор учтиво проводил меня до дверей. Как я отвыкла от простой любезности...

На следующий день м-м X. заехала за мной, чтобы ехать за покупками. Я откровенно призналась, что у меня очень мало денег.

— Об этом не беспокойтесь! — воскликнула она. — Ваш муж занимает высокое положение, и кредит ему обеспечен. Покупайте все, что вам нужно. Счета пришлют потом вашему мужу, и он заплатит, когда найдет возможным. Мы здесь ничего не покупаем за наличные.

Мы сели в автомобиль Гранд-отеля.

— К Чурину, — приказала она.

"Чурин "показался мне таким же роскошным, как и Гранд-отель. Я испытала давно забытое удовольствие покупать, выбирать материю, мерить платья, ботинки и шляпы. Все уже знали, кто я такая, и никто не заикнулся об уплате. Вскоре я оказалась обладательницей котикового манто, такого легкого и мягкого после моей старой нескладной шубы, новой шляпы, туфель и ботиков и нескольких пар шелковых чулок.

После "Чурина" мы заехали в кафе Марс. За чашкой

душистого шоколада с пирожными я не могла не вздохнуть о своих бедных москвичах.

Дома я застала Бориса в новом хорошо сшитом костюме, вместо привычной толстовки, а на вешалке висели новое пальто и шляпа. Как будто вместе со старым платьем мы сбросили советскую личину и вернулись в наши прежние "я", и мне показалось совершенно естественным, когда, выходя из номера, Борис открыл передо мной дверь и пропустил меня вперед.

Через два месяца мы перебрались в наш "собственный" казенный дом рядом с центральной больницей. Дом был удобный, просторный, с большим двором, в котором размещались службы, и садом. Он был одним из таких же, идущих улица за улицей, домов КВЖД, в так называемом Новом городе. Это была лучшая, более высокая часть Харбина, с импозантными зданиями Управления и Правления дороги, Железнодорожного Собрания, библиотеки и прочих учреждений, с новым собором, с отделением магазина Чурина и другими магазинами. Здесь, в казенных домах, жили солидные, обеспеченные хорошим жалованием ка-ве-же-деки.

Низкая часть города, примыкающая к реке Сунгари, Пристань, являлась торговым центром и резиденцией, главным образом, эмигрантского населения. В пригородах Пристани, таких, как Нахаловка, ютилась беднота.

В нескольких милях от Харбина находился китайский город Фу-тзя-дан, во много раз превышающий население Харбина.

Жизнь наша постепенно налаживалась. Борис был поглощен делами большой больницы, Лена поступила в пятый класс ж/д коммерческого училища, Таня — в "киндергартен". Толстый повар Ван прекрасно готовил, не требуя моего участия. Вечером он только спрашивал: "Мадама, как готовить: холошенько или шибка холошенько?" Последнее значило, что у нас обедают гости. Пару раз я сама попробовала пойти на базар, но купила все гораздо дороже, чем Ван. Бой бесшумно и проворно убирал комнаты. Прачка аккуратно приходил и возвращал белоснежное белье. Дворник китаец чистил и подметал двор и сад и приносил дрова для топки печей. Я могла начать ленивую и праздную жизнь КВЖДевских жен.

Долгое время я не могла привыкнуть к реальности такого существования. Мне все по привычке хотелось торопиться и оглядываться. Мой организм уже привык к совет-

скому тревожному ритму и никак не хотел приспосабливаться к здешнему — умеренному и неторопливому. Я убеждала себя, что все хорошо, что я могу сидеть в ванне сколько мне хочется, что я могу лечь на диван, взять книгу и не двигаться с места до самого прихода Тани из школы, но внутреннее волнение не прекращалось. Я все ждала, что что-то случится. Лучше всего я чувствовала себя, когда отправлялась "исследовать" город. Незнакомое всегда притягивало меня. Я шла на Новогородскую улицу, которая сохранила свой китайский характер среди европейского окружения. Почти каждое здание было украшено своеобразной формы золотыми или красными с золотом вывесками, которые говорили о занятии его жителей, золотыми иероглифами и значками. Пронзительная, однообразно ритмичная музыка раздавалась из окон магазинов, витрины хвалились тяжелыми китайскими шелками и парчой. Большая торговая фирма Кун-хо-ли возвышалась над остальными зданиями. Я заходила туда купить какую-нибудь мелочь и любовалась искусными ручными вышивками на кофтах, скатертях и одеялах. Одна пара голубых одеял с нежными пастельными расцветками вышивки так пленила меня, что я не могла удержаться и купила ее. Приятная семейная атмосфера царила в магазинах. Приезжая за покупками, иногда издалека, китайцы соединяли приятное с полезным. Они пили душистый цветочный чай, часами разговаривая о своих делах и неторопливо выбирая то, что им надо.

На параллельной Участковой, японской улице, я останавливалась перед выставленными в окнах резными фигурами из слоновой кости тончайшего искусства, перед пестрыми веерами и кимоно. Иногда я брала с собой Таню, но она обычно прилипала к окну первого же магазина с игрушками и не отставала, пока я ей не покупала пленившей ее вещи. Ведь у девочки никогда не было игрушек, кроме самодельных тряпичных кукол...

Раз мы с Таней подошли к Сунгари и тотчас же были окружены толпой кричащих, жестикулирующих китайцев.

— Что они хотят? -- с испугом спросила я проходящего харбинца.

— Предлагают вам поехать на "толкай-толкай".

Таня немедленно пристала: "Поедем!"

Мы сели в высокие мягкие санки с меховым, весьма грязным покрывалом для ног. Китаец, стоя сзади, толкал сани высокой палкой, и они плавно и быстро скользили по мягкому снегу. Мы остановились на другом берегу реки, где под глубоким снегом прятались дачные домики. Все кругом

было тихо, бело и пусто, совсем как в занесенной снегом русской деревне. Дав отдохнуть нашему "толкаю", мы поехали назад.

Однажды, проходя мимо собора, я услышала пение и зашла. Каково же было мое изумление, когда я услышала панихиду по Николаю Второму и его семье. Еще осталось на земле место, где можно молиться об убитом царе и не бояться быть повешенным!..

Харбин был действительно особенный город, конгломерат религий, верований и обычаев. Железнодорожная администрация, от которой, в сущности, зависела вся деловая жизнь и благополучие города, не имела власти запретить эмигрантам молиться или иметь портреты царя в своих домах. Советчики, провозглашая себя атеистами и коммунистами, вели самый буржуазный образ жизни. Китайцы почитали своих добрых и злых духов и не меняли своих верований и привычек много тысяч лет. Японцы подбирались к торговле и промышленности северной Маньчжурии. И китайские власти относились ко всем с одинаково безразличной терпимостью..

Не было особой неприязни между советскими гражданами и эмигрантами, они свободно общались друг с другом, но железнодорожная администрация, и особенно ее "головка", держались отдельно.

Так как Борис получил назначение из Москвы, то нас, естественно, считали если не коммунистами, то во всяком случае попутчиками. Это сразу поставило нас в ложное положение, так как ничего "попутного" советской власти в нас не было, а по своему положению мы попали в круг советской администрации, в большинстве своем состоящий из партийцев. Но таков был своеобразный колорит Харбина, что партийность не выставлялась напоказ как заслуга, а скрывалась. Партийцы не отставали от прочих граждан и старались жить, как все. Инструкции свыше указывали, что они обязаны не ударить в грязь лицом перед иностранцами и китайцами, а показать им, что они тоже понимают, что такое хорошее воспитание и хорошие манеры. Жалованье КВЖД платила большое, в золотых рублях, но вывозить их с собой в Союз не разрешалось, они должны были быть истрачены в Маньчжурии. Поэтому жили весело, хорошо одевались, отлично питались, веселились и "разлагались". Была установлена целая сеть шпионажа для наблюдения за тем, чтобы советские граждане не очень входили во вкус свободной жизни и не за-

бывались. Обычно служащих не оставляли в Харбине более четырех-пяти лет и отзывали в Москву.

Радуясь своей свободе, мы не подозревали, что за нами идет постоянная слежка. Я это открыла совершенно случайно, когда заметила, что бой передал какую-то бумагу бывшей у меня в гостях даме.

— Бой, — позвала я, когда она ушла. — Что ты дал мадаме?

Он молчал.

— Ты отправил письмо, которое доктор дал тебе утром?

Бой молчал.

— Ты дал это письмо мадаме? Так? Если ты не признаешься, я тебя отправлю домой, — прибавила я строго.

— Моя буду говори, — наконец решился бой. — Моя письмо давай, мадама мне доллар давай.

— Зачем ты это делаешь? Разве ты не доволен своим местом?

— Моя шибко доволен. Ваша мадама шибко хорошо, и капитана и куни шибко хорошо. — Он помолчал и прибавил решительно. — Моя больше письма мадама не носи.

— Ну вот и хорошо. Можешь идти.

Но бой медлил у двери.

— Моя тако думай. Моя письма не носи, ваша мене доллар плати.

По-видимому, он считал, что честность, так же как и предательство, должна быть вознаграждена.

— Хорошо, бой, я дам тебе доллар, но ты мне обещай больше ничего мадама не говорить и не передавать.

Бой обещал и ушел очень довольный собой.

Когда я рассказала об этом Борису, он немедленно хотел уволить боя и пришел в негодование от мысли, что за нами следят.

— И не принимай у себя больше эту дрянь.

— Ничего подобного. И дрянь принимать буду, и боя оставлю. Он выведен на чистую воду, а какая гарантия, что новый бой не будет шпионить? А с ней ссориться нет никакого смысла, так как мы принадлежим к одному обществу и неизбежно будем встречаться.

"Дрянь" продолжала выказывать мне самую нежную дружбу, осаждала вопросами о малейших подробностях нашей жизни, а я ей рассказывала всякие небылицы о наших советских заслугах в Москве. Бой старался не попадаться ей на глаза и не отвечал на ее вопросительные взгляды.

Случай с боем заставил меня относиться с большей осторожностью к окружающим нас людям.

Первое время наше окружение состояло все из одних и тех же лиц, с обязательным участием доктора В., с которым мы встретились в Москве, его жены и супругов Х. Не меньше одного раза в неделю у кого-нибудь устраивалась вечеринка с неизменной программой: обильный обед, еще более обильная выпивка, танцы и поездка в одно из ночных кабаре.

Ван, когда ему бывало сказано готовить ''шибко холошенько'' являл чудеса кулинарного искусства. Заливные рыбы подавались в цветном желе, из овощей вырезались цветы, иногда в середине свекольного ''цветка'' он ставил тоненькую свечку. Крем и пломбиры возвышались в виде башен и замков.

На харбинских рынках было чрезвычайное обилие и разнообразие пищевых продуктов. Дичь, среди которой фазаны были наиболее обычными; рыбы всевозможных пород. Амурская кетовая икра не считалась деликатесом, так ее было много. Были также прекрасные гастрономические магазины с колбасами и ветчиной, по нежности не уступавшей Чичкинской в старой Москве, с солеными и копчеными рыбами и консервами.

Ели много и вкусно, но еще больше пили. Дамы не уступали мужчинам. Мы с Борисом представляли печальное исключение. Но у Бориса была способность чувствовать себя хорошо и развлекаться во всяком обществе, я же, лишенная этой способности, скоро стала скучать. Без тумана алкоголя это общество казалось мало привлекательно. Здесь я была только женой своего мужа, которая казалась, вероятно, скучной и мало интересной уже по одному тому, что оставалась трезвой среди пьяных. Следуя новому советскому кодексу манер, с женщинами надо было танцевать и флиртовать, а не разговаривать. А себе они как будто поставили правилом: веселись, наслаждайся жизнью, забудь все остальное и пользуйся короткой передышкой в презираемом капиталистическом мире, набивай свою утробу для будущей голодовки, запасайся жирком...

Часов в 11 отправлялись в ''Мажестик'' или ''Фантазию''. Большая зала ''Фантазии'' была густо заставлена столиками, посредине было оставлено место для танцев. В полупритушенном свете разноцветных лампочек пары сплетались под изнывающие звуки джаза. За столиками с кипящим в кофейниках ароматным кофе, фруктами, винами и ликерами, си-

дели шумные компании. Лучшие столики отводились самым щедрым патронам, кавежедекам. Большой стол около сцены был занят администрацией КВЖД. Если бы я не знала, кто они такие, эти хорошо упитанные, прекрасно одетые джентльмены, я бы приняла их за бюрократов старой России. И то подобострастие, которым окружали их служащие, стоявшие на более низких ступенях служебной лестницы, тоже напоминало старые времена.

Дансинг гэрлс, в костюмах маркиз, занимали гостей или сидели, ожидая приглашения.

— Это все эмигрантки, из хороших в прошлом семейств, — пояснила м-м Х., — а та, что прислуживает за большим столом, — бывшая княжна.

Это была почти единственная возможность заработка для русских женщин, где они не встречали конкуренции со стороны китайцев. На сцене шли номера. Бойко выбивали дробь чечетки несколько едва прикрывавших наготу дев. Особенно бросалась в глаза одна очень стройная женщина с усталым лицом.

Шли номера за номерами, рассчитанные, как всегда в подобных местах, возбудить чувственность мужчин видом обнаженного женского тела. Но сценой "Фантазии" не гнушались и настоящие артисты, выступая с декламацией или пением.

Чем больше пила наша компания, тем непринужденнее становились нравы. Доктор В. глушил стопками водку, по-видимому, не пьянея, только все больше ненависти и злобы выглядывало из его маленьких глаз, особенно когда они останавливались на жене, от которой ни на минуту не отходил высокий, красивый инженер. Мадам Х. кокетничала с Борисом, обучая его новым па фокстрота. Ее муж исчез куда-то вглубь корирода с хорошенькой дансинг-гэрл. Все шумнее и шумнее становились в зале неистовые взвизгивания джаза. Даже каменные лики администраторов утратили свою важность и оживились пьяными улыбками и смехом. Подальше от них "отчаянное" веселье царило среди их подчиненных. Как будто они заставляли себя веселиться, наслаждаться жизнью, ловить минуту радости и свободы. И у каждого за плечами стоял страх — скоро отзовут домой, в Советский Союз. А Харбин останется в памяти как прекрасный сон.

Не годится быть трезвой среди пьяных... Пьяный, проснувшись на другой день, забыл, что он натворил и наговорил накануне, а у трезвого, при встрече с ним, все вылезает в памяти его звериная, обезображенная вином рожа. Так я

стала бояться доктора В. и все ждала какой-нибудь неприятности с его стороны.

Неприятности не заставили себя долго ждать.

Борис, независимый по натуре, с трудом выносил неизбежное в Москве вмешательство коммунистов. Здесь же, отдавая все силы и время работе, он не допускал вмешательства профсоюза в свои дела. На какое-то бестактное замечание В. он ответил резкостью, и с тех пор глаза В. зажигались злобой не только при взгляде на кавалера своей жены, но и на Бориса. Открытой вражды еще не было, но чувствовалась большая натянутость в их отношениях, которая меня пугала. Я уже понимала относительность свободы для советских граждан в Харбине, — по настоянию В. Борис мог быть отозван в Москву с плохой аттестацией ответственного партийца, что грозило большими неприятностями.

Мало-помалу мы выбились из своего окружения и нашли более интересное общество. Стали бывать у м-м Б., экзальтированной женщины, бывшей артистки, которая продолжала "играть" в жизни. Она устраивала у себя музыкальные и литературные вечера. Борис прочел пару своих стихов и приобщился к поэтам. Поэтесса Н. приглашала докладчиков и делала инсценировки. У проф. У. были интересные четверги, но, к сожалению, после ужина мужчины удалялись для разговоров в кабинет хозяина, оставив дам с хозяйкой беседовать о детях и прислуге. Проф. Ч., бывший моим инспектором в институте, заведовал прекрасной ж/д библиотекой. Жена его, тоже бывшая институтка, была его верной сотрудницей и помощницей. Я часто стала приходить в библиотеку, найдя там много интересных книг по естествознанию. Начальница женской гимназии М. А. О. тоже была воспитанницей Николаевского института. Иногда она собирала нас, "бывших", у себя на ужин. Она была замечательная женщина, полная, величественная, мудрая. Она не требовала от своих учениц невозможного и знала, что большинство из них по окончании никогда не возьмутся за алгебру. Ее любили и уважали ученицы и учителя.

Был Музей изучения Маньчжурии, где велась ценная исследовательская работа. Экспонаты животных и птиц были сделаны более искусно, чем в музеях Москвы, где они уже успели состариться. Самоотверженные работники науки отдавали много времени и сил музею.

Дорога давала прекрасный доход, денег было много и их надо было тратить на месте, и потому администрация не скупилась на культурные начинания.

Коммерческое училище в большом, специально построенном здании с двором и садом, не ударило бы в грязь лицом перед подобными учебными заведениями Москвы и Петербурга. Учебные пособия для классов и лабораторий выписывались без отказа по заявлению преподавателей.

Прекрасно оборудованный Политехнический институт тоже мог похвалиться своими мастерскими и лабораториями. Пять ж/д гимназий помещались в различных частях города. В читальню ж/д библиотеки выписывались газеты и журналы всего мира, а в самой библиотеке были склады книг по всевозможным вопросам. Студенты и учителя могли приходить и изучать там интересующие их предметы.

Центром культуры и развлечений служило Ж/д собрание. Лучшие артисты столиц с удовольствием ехали в Харбин, на хороший оклад, с перспективой отдохнуть от советской жизни, подкормиться, а главное, подновить сценический гардероб. Дирижеры и солисты оркестров тоже были главным образом приезжие. В 1928 году пел Лемешев, тогда еще молодой, стройный и красивый. К каждой премьере местными талантливыми художниками писались новые декорации, так что опера являлась тем, чем она должна быть, — не только музыкой и пением, но и зрелищем.

Приезжала труппа Александринского театра с Ведринской. Были и местные драматические труппы.

Устраивались балы, где советские дамы показывали свои туалеты.

Кроме железной дороги, культурнная жизнь бурлила и в эмигрантской части города. На Пристани, на Юридическом отделении преподавали и учились и советские, и эмигранты. Были коммерческое училище и несколько частных гимназий. В Коммерческом собрании устраивались концерты, вечера и доклады, на которые собирались интеллигентные слушатели, независимо от того, какой паспорт у них был.

Группа дам организовала при Коммерческом собрании женский клуб, в котором я приняла деятельное участие. Мы устраивали доклады с дискуссиями, в которых принимали участие и мужчины, вечера на литературные темы с инсценировками, и проч. Докладчиком обыкновенно была я, сценической частью заведовала талантливая артиска К. Наши вечера посещались охотно и привлекали много публики. Потом мои доклады были даже напечатаны клубом в виде отдельной книжки "Мы и наши дети (к вопросу о биологическом понимании жизни)".

В гимназии Х. С. М. собирались у "зеленой лампы" жи-

тели Чураевки, там поэты и писатели читали и обсуждали произведения друг друга. Среди них было несколько очень талантливых молодых людей. Выступали с докладами и "старики", в том числе и я.

По нашей с Леной инициативе организовался кружок изучения Китая и издавался журнальчик "Вестник Китая", в котором нам помогал писатель В. И.

Харбинцы чистосердечно считали Харбин "своим", русским городом. И единственный контакт с Китаем был через боев, поваров и портных. Многие, прожив 20—30 лет в Маньчжурии, ни разу не были в Фу-цзя-дяне.

Администрация дороги встречалась со своими коллегами-китайцами на общих собраниях. Считалось, что дорога находится под совместным управлением, называемом паритетом, но по существу она была в руках советчиков. Китайцы занимали номинальные должности, получали большие оклады и прибыли от эксплоатации дороги и не вмешивались в ее управление. Таким образом, обе стороны были довольны. Были китайцы с русским и иностранным образованием, некоторые имели русских жен. Они принадлежали больше к интернациональному, чем к китайскому обществу. Таков был главный врач дороги, начальник Бориса, некоторые члены правления.

Ду-Бань, китайский председатель, раздавал должности за соответствующие взятки или своим родственникам, как это практиковалось и в других китайских учреждениях. Им полагались кабинеты и столы, которые в большинстве случаев пустовали. В ж/д больнице было пять китайских врачей, но они не пользовались доверием больных, даже китайские пациенты предпочитали обращаться к русским врачам.

С нами усиленно старался "подружиться" инженер Кун-бао-тан и его жена, пухлая, миловидная, на вид добродушная блондинка. Хотя он и выставлял напоказ свою "русскость", развязные манеры и широту натуры, он по существу был настоящим китайцем среднего сорта, с любовью к деньгам, со стремлением ловчить, т. е. не делая ничего, продвигаться по службе, благодаря родственным связям, с практичностью, доходящей до мелочности. Так он просил нас засолить на его долю лишнюю кадку помидор или огурцов или выписать на наше имя дрова, которые ему не полагались, и не заботился об уплате. У них были две девочки, совершенные китаянки.

Я думала воспользоваться дружбой с Куном для знакомства с Китаем, но он относился с пренебрежением к свое-

му народу и его истории. Все же у него нашлись родственники, которые говорили по-русски и соблюдали все обычаи китайской жизни.

Мы поехали к ним в канун Нового года. Китайский новый год отмечает конец зимы и начало весны, возрождение надежд земледельца на новый урожай. Он приветствуется оглушительными взрывами хлопушек и фейерверком.

В доме мистера Чу все семейство собралось для чествования Цао-Вана, бога домашнего очага. Перед его изображением, стоявшим посреди комнаты, горели благовонные свечи и были разложены приношения — вареный рис, печения и сладости. Лошадь, на которой сидел бог, тоже не была забыта — перед ней стояли две чаши: одна с водой, другая с мелко нарезанным сеном. Алтарь, на котором они помещались, был задрапирован красной бумагой с золотыми надписями. Они просили бога сообщать только о хороших делах, не упоминая плохих, и принести с собой мир и благоденствие. Затем Цао-Ван был почтительно вынесен на двор и сожжен при взрывах хлопушек и ракет, провожавших его к высшему богу неба Ю-Хуань, которому он должен был дать отчет о поведении семейства Чу. Двери и окна дома закрылись и запечатались, и старший в семье Чу произносил заклинания против злых духов, чтобы они не вошли в его дом, оставшийся без покровительства Цао-Вана. Затем печати ломались, двери открывались, и Чу приглашал бога домашнего очага вернуться в их семейство, где его ждало новое нарядное изображение со свежими приношениями и благовониями.

По окончании церемонии хозяева пригласили нас к ужину, который состоял главным образом из пельменей и рисовых печений, символизирующих счастье и благополучие в новом году.

На следующий день сынишка повара Вана с другими китайчатами пришли к нам в дом, с пением предлагая купить картинку с изображением какого-то бога. Как я поняла из объяснений Вана, это был бог богатства Цай-Чан, сидевший под деревом, ветви которого были покрыты монетами и золотыми фруктами. Надо было потрясти дерево, т. е. купить картинку, чтобы приобрести богатство. Мы повесили одну в передней, а Таня настояла, чтобы одна была и в ее комнате.

Губы китайчат были натерты священной красной бумагой, которая имела свойство превращать каждое плохое слово в хорошее.

День и ночь во дворах домов звенела музыка, рвались

хлопушки и ракеты — китайские слуги просили покровительства бога богатства Цай-Чана.

На пятнадцатый день после наступления нового года мы вместе с семьей Кун поехали в Фу-цзя-дян, чтобы посмотреть процессию фонарей.

Обычно грязные улицы города представляли феерическую картину. Мириады разноцветных фонариков в форме цветов, птиц, бабочек, лодок, которые каждый в запрудившей улицу толпе нес в руках, тянулись длинной, мерцающей рекой, опоясанной огненными взрывами фейерверков.

— Вот для чего они выдумали порох, — сказал Борис, когда мы вместе с толпой задержались посмотреть на один особенно причудливой формы фейерверк.

Наш автомобиль медленно продвигался, то и дело останавливаясь, когда какое-либо зрелище привлекало особенно густые толпы.

— Дракон! Дракон! — закричала Таня, которая с нетерпением ждала этого момента.

Толпа расступилась, давая дорогу шествию. Несколько музыкантов пронизывали воздух визгливыми, почти невыносимыми для нашего слуха, однообразными нотами. За ними торжественно двигался великолепно одетый "рыцарь", на конце его меча сверкал "драгоценный" камень, предназначенный для игры с драконом. Сверкающий красками, огромный дракон извивался, бросаясь то к одной стороне улицы, то к другой, как бы стараясь схватить своей страшной открытой пастью какую-нибудь жертву. "Преследуемые" шарахались в сторону, взвизгивая от страха и восторга.

— Он живой? — спросила Таня, со страхом глядя на приближающееся чудовище. Я показала ей на выглядывающие из-под великолепного тела чудовища ноги в грязных синих штанах, которые бегали и прыгали, делая всяческие усилия, чтобы "оживить" дракона.

Потом проследовала процессия Хан-чан, лодки на земле. Грациозные сооружения в виде лодок с богато вышитыми палантинами наверху, "плыли" в толпе, движимые своеобразными существами, "пегасами" — наполовину женщинами в расшитых кофтах и со сложными прическами, сидевшими в лодках на скрещенных картонных ногах, наполовину мужчинами, несущими лодки на мускулистых ногах и исполняющих какой-то сложный, ритуальный танец под пронзительные звуки музыки.

Последней шла процессия львов, Ши-Цзи-Куй. "Львы" с огромными головами, украшенными гривами из конских во-

лос, со свирепыми, блуждающими глазами, открывали страшные пасти и бросались в публику за "жертвой". В то же время оркестр издавал оглушительный львиный "рев". Зрители были в восторге.

Как они умели веселиться, самозабвенно отдаваясь моменту удовольствия, позабыв о нужде, лишениях, нищете, невероятно тяжелых условиях труда, который составлял их жизнь. Для китайцев условия существования были на таком низком уровне, что ниже уже нельзя было скатиться. Люди-лошади пробегали, не замедляя шага, полчаса за 10—20 центов и потом умирали от туберкулеза. Кули таскали тяжести и впрягались в тяжелые повозки, изнемогая от напряжения. Рабочие зависели всецело от милости хозяина, не имея ни профессиональных союзов, ни законодательства, защищающего их интересы, устанавливающего заработную плату и часы работы. Крестьяне не имели ни рабочего скота, ни земледельческих орудий, обрабатывали землю руками и выращивали каждый росток, как мы выращивали овощи в маленьком огороде. Питались они гаоляном, чумизой, черемшой и прочими травками. Несмотря на бедность, они несли тяжелые оброки. То один, то другой генерал, воюя друг с другом, тянули из них продовольствие для своих армий или забирали их самих в солдаты.

Можно допустить, что с приходом коммунистов бедному населению Китая стало лучше, потому что хуже быть уже не могло.

И все-таки китайский быт был не лишен своеобразного уюта. Играли на улицах грязные, но краснощекие ребята. В фанзах старики лежали на теплых каннах, подогреваемых снизу. Стеганые кофты и халаты грели зимой, и вообще, одежда и обувь китайцев были легки и удобны. У разносчика на улице можно было купить за несколько копперов вкусную еду. В приготовлении пищи китайцы были виртуозы. Не говоря уже об обедах из 50—60 блюд для богачей, даже и бедняки получали еду в привлекательном виде, даже груда коричневых, хрустящих кузнечиков выглядела аппетитно.

Может быть, потому и чувствовалась "легкость" в китайцах, что они не знали ответственности за свои поступки. Все, что происходило, было делом добрых или злых богов, духов. Надо было почитать добрых духов, особенно духов умерших предков, которые не теряют связь с живыми и после смерти. Но особенно надо было умилостивить злых богов, иначе они причиняли всяческие неприятности, и поэтому в первую очередь приношения делались им.

Исполнив предписанные обряды, приклеив к дверям дома красную бумагу с иероглифами, запрещающими злому духу проникнуть в жилище, намазав губы детей красной краской или сделав им краской красный кружок на лбу, китаец чувствовал себя в безопасности и мог с легким сердцем предаваться своим занятиям. Каждый шаг жизни освящался традициями, выработанными тысячи лет назад, и ничего нового нельзя было выдумать.

Ничего нельзя себе представить более чуждого марксизму, чем идеология китайца. И если в России коммунизм выродился в уродливый тоталитаризм, то в Китае он, несомненно, принял совершенно своеобразную форму.

Нельзя, конечно, отрицать, что социальная жизнь Китая требовала реформ, что должны были быть уничтожены феодальные отношения между помещиками и крестьянами, что рабочие требовали законодательства, охраняющего их труд, что эксплоатация бедняка должна была быть уничтожена. Но что может подставить марксизм на место тысячелетних традиций и верований, пронизывающих весь уклад жизни обыкновенного китайца?..

Глава 9. Конфликт на КВЖД

Отношения между В. и Борисом окончательно испортились, когда, несмотря на протест В., Борис уволил одного из советских служащих, не исполнившего его распоряжения, и взял на его место эмигранта с китайским паспортом. В. перестали у нас бывать и приглашать нас к себе. Их примеру последовали некоторые наиболее осторожные члены нашего окружения.

— Вы повлияли бы на вашего мужа и удержали его от ссоры с В., — советовала мне м-м Х.

— Разве вы не считаете, что Борис прав? Вы же сами говорили, что уволенный К. никуда не годится.

— Но ведь он кандидат в партию, а В. ответственный советский работник и партиец. Как можно с этим не считаться?!

Я сознавала, что ее совет благоразумен и пробовала говорить с Борисом.

— Не можешь ли ты удержаться от справедливого негодования и наладить отношения с В. Ведь ты знаешь, какой он опасный человек и как много вреда он может нам сделать.

— Я всегда поступал и буду поступать, как я нахожу нужным для пользы вверенного мне дела, — упрямо отвечал Борис. — И не В. меня учить. Справедливость на моей стороне, и мы еще посмотрим, кто кого сломает, — он меня или я его.

— Ты забываешь только одно. В. — партиец, а ты бывший белый офицер. Какие тут могут быть разговоры о справедливости?

— Мы не в СССР. В Китае все равны, независимо от паспорта.

— А если придется вернуться в Союз?

Мои соображения не поколебали Бориса. Хотя я и признавала неблагоразумие его поведения, внутренне я была с ним согласна.

Наша жизнь стала спокойнее и независимее. Прекратились вечеринки и поездки в кабаре. Мы выбирали своих знакомых и бывали там, где нам было интереснее.

Большим утешением в моей жизни была наша дружба с Леной. В Советском Союзе у меня не было ни времени, ни "меня". Ей было 14 лет, когда мы приехали в Харбин, и я боялась, что советское воспитание уже наложило на нее свой отпечаток. Но она быстро приспособилась к новым условиям жизни, хорошо училась, сумела завоевать уважение своих соучеников, и ее выбрали старостой класса. Она была очень строга к себе, носила темные платья с глухими воротничками и не заботилась о своей наружности. Несмотря на это, она была очень хороша, и у нее было много поклонников, которых она держала на почтительном расстоянии. Особо ревностными были два друга, К. и М., ученики ее класса.

По утрам в воскресенье два велосипеда останавливались на углу нашей улицы. Затем проезжали медленно несколько раз мимо нашего дома, стараясь привлечь внимание Лены. Если она показывалась у окна, велосипеды ускоряли темп и проделывали всякие трюки. Наконец Лена выходила к калитке, и мальчики, "случайно" увидев ее, останавливались. Так они долго стояли, разговаривая, но на мое приглашение войти, неизменно отвечали отказом — им надо торопиться домой. Лене больше нравился К., но ни за что на свете она не решилась бы это показать, и из чувства справедливости была особенно внимательна к М. Невидимо для зрителя калитка являлась ареной борьбы сложных чувств: влюбленности, дружбы, самопожертвования — со стороны друзей, долга, чувства справедливости и симпатии — со стороны Лены.

Мальчики уезжали, так и не выяснив, кто же из них ей больше нравится, а Лена возвращалась домой озабоченная.

— Мы обсуждали организацию литературного кружка, — говорила она мне, проходя мимо.

Душевный склад Лены был очень схож с моим, потому нам, вероятно, и было легко вместе. Она, так же как и я в ее годы, была поглощена разрешением неразрешимых вопросов о смысле жизни. Она работала над собой, стараясь быть хорошей и справедливой. Часто она приглашала к себе самых отсталых и некрасивых девочек из своего класса и занималась или просто разговаривала с ними. Внутренняя честность с собой была главным критерием ее поступков. Она много читала и, раз одолев трудности серьезного чтения, полюбила его. Мы с ней вместе ходили на лекции, на концерты и в театр. Когда она стала старше, она принимала участие и в нашем Женском клубе, нередко являясь докладчицей и участницей в постановках. Вскоре у нас стал собираться кружок молодежи, основанный по ее инициативе.

Таня бежала к ней со своими маленькими радостями и горестями, я даже с некоторой завистью смотрела на их дружбу. Разница между девочками была в семь с половиной лет. Таня смотрела на свою старшую сестру как на идеал, слушалась ее больше, чем родителей, и завидовала ее уму и красоте.

— Почему я такая некрасивая? — с горечью спрашивала она, стоя перед зеркалом. — Почему я не такая, как Лена?

"Совершенство" сестры иногда подавляло ее, развивая в ней комплекс неполноценности. Она была в то время в нескладном возрасте — 10 лет.

Таня была живая, избалованная и страшная кокетка. Она с необычайным интересом следила за "романами" сестры и получала "взятки" от ее обожателей.

Как часто дети в одной семье, от одних и тех же родителей, бывают совершенно не похожи. Наследственность объясняет это распределением неодинаковых ген в клетке зародыша, но все же это не перестает быть удивительным. Увлекающаяся, неуравновешенная, всегда во власти неподдающихся контролю эмоций, Таня, повзрослев, пожалуй, больше всего напоминала сестру Бориса, у которой я познакомилась с ним.

Ее душевный склад был совершенно чужд моему, и поэтому мне с ней было так же трудно, как легко с Леной.

Яркий огонь жизни, горевший в ней, сжигал ее нетерпением схватить очередное удовольствие и тянуться за следующим. Отказать ей было невозможно, так настойчиво стремилось к желаемому все ее существо. Если я ей отказывала, не мог устоять Борис, или Лена. Она всегда добивалась своего.

Глядя на нее, я убеждалась, какую малую роль играет воспитание в сравнении с наследственностью. Таня не выходила из-под влияния нашей семьи, у нее перед глазами всегда был пример Лены и мой, и все же она вырастала совсем отличная от нас.

Книга, которая для нас заменяла жизнь, увлекала иной раз больше, чем действительность, не существовала для Тани. Она училась неважно, главным образом потому, что ей было неинтересно сидеть над книгой, когда в это время случалось что-нибудь интересное в доме или на улице. Коммерческое училище ей было не под силу, и я отдала ее в гимназию Оксаковой.

Когда Лена была в 8-ом классе, я взяла освободившееся место преподавательницы в коммерческом училище. У меня

был прекрасно оборудованный кабинет с собственным эпидиоскопом и сторожем Василием, который уже много лет состоял при кабинете и наизусть знал все, там находящееся. Мне нередко приходилось прибегать к его помощи в отыскивании нужного материала.

Коммерческое училище было построено по типу подобных училищ дореволюционного времени, с обширными программами предметов, старыми учебниками и методами преподавания, разделенное на две более или менее враждующих группы: учеников и учителей. Хотя и поощрялись такие нововведения, как старосты классов и совет из учеников, представитель которого иногда присутствовал на педагогических заседаниях, училище все же оставалось хорошей, старой школой. Учеников было свыше тысячи, и создавалось по нескольку параллельных групп. Я преподавала в старших, 7, 8 и 9-х классах. Кореновский "дружеский" метод был неприменим, так как в классах было по 35—40 учеников, и уже по одному тому, что я была учительницей, я попадала во вражеский стан. Все же я не изменила свой метод групповых занятий в седьмых классах, таким образом разрешая вопрос дисциплины — шалунам было некогда проявлять свои клоунские способности. С восьмым классом мне было легко, так как там большинство было моими старыми приятелями по кружку. Мы устраивали большие экскурсии, хотя "для безопасности" директор школы посылал со мной Василия. Ученики научились действовать эпидиоскопом и делали интересные доклады.

Но с моим любимым предметом, биологией, я потерпела неудачу в 9-м классе. Хорошие ученики были так заняты основными, важными для выпускных вкзаменов предметами, что не могли уделять время "второстепенной" биологии. Великовозрастные оболтусы, некоторые хронические второгодники не интересовались ничем. Все же мне удалось организовать небольшую группу "юных биологов", с которыми мы устроили живой уголок в саду училища.

Во дворе нашего дома постепенно организовался целый "зверинец". Один из служащих дороги подарил Борису ручную волчицу, которая воспитывалась у него в доме. Таня с ней играла, как с большой собакой, но стоило какому-нибудь живому существу, особенно кошке, показаться во дворе, как смирная волчица превращалась в хищника. Все наше остальное хозяйство приходилось держать за забором. Пару раз волчица убегала, перепрыгнув забор, но жители соседних улиц знали, что она — наша, и давали нам знать.

Знакомый охотник принес нам пару лисенят. Сначала я держала их дома, несмотря на урон, наносимый моим чулкам и туфлям их острыми зубами. Но ручными они никогда не сделались, и пришлось посадить их в клетку.

В сарайчике жили несколько филинов. Раз как-то к нам в ледник залезли воры. Забрав припасы, в надежде еще чем-нибудь поживиться, они заглянули в сарайчик. Светящиеся в темноте глаза, щелк клювов и шипение филинов показались им нечистой силой, и, бросив свою добычу, воры бежали.

В больших, специально сделанных клетках помещалось несколько маньчжурских удавов. Они были очень красивые, но мало подвижные и глупые создания. Даже кормить их приходилось насильно, проталкивая в пищевод куски мяса достаточно далеко, чтобы они не выплюнули их обратно. Я никогда не могла узнать, на чем основаны сказания о "мудрости" змей.

Знакомый специалист по изучению пресмыкающихся из местного музея принес нам клетку со щитомордниками, более мелкими, чем удавы, но менее безопасными, прося сохранить их на время его отъезда из Харбина. По недосмотру боя, который их кормил, клетка осталась открытой на ночь, и змеи расползлись по двору больницы.

Утром поднялась паника, когда кто-то из служащих чуть не наступил на змею на дорожке. Охота за змеями продолжалась несколько часов, пока все они не были водворены обратно в клетку. А я попала в местную печать как "демоническая дама, обожающая разных змей".

В Маньчжурии было много славных охотников. Тайга изобиловала дикими зверями и птицей. Наиболее привлекательной и опасной была охота на тигров, и наиболее выгодной, так как помимо ценной шкуры, китайцы платили хорошие деньги за внутренности тигра, особенно сердце. Растения и части тела животных являлись главным лекарственным сырьем в китайской медицине. Панты, молодые рога оленей находили особо большой сбыт как тонизирующее, укрепляющее средство, помогающее при многих заболеваниях. Лапа медведя помогала от меланхолии, и т. д.

Всякое лекарство должно было иметь отвратительный вкус, чтобы выгонять злого духа, вызвавшего болезнь.

Богатство и разнообразие маньчжурской природы объясняется тем, что она оставалась свободной от льда, когда огромные ледники спускались с севера по территории Сибири и скатывались с гор Средней Азии. В Маньчжурию, как

в своеобразный Ноев ковчег, сбегались и слетались с севера звери и птицы, с севера, запада и юга, спасаясь от наступающих ледников. Постепенно они приспособились к условиям жизни и дали современные формы маньчжурской фауны.

Лето мы проводили в Маоэршани на даче, вместе с семьей моего сослуживца, у которого была дочь, ровесница Тани. Внизу дачи помещалась биологическая база музея.

Маоэршань было живописное место, с лесистыми холмами, самый высокий из которых назывался Сахарной Головой за свою форму. Он был с высоким и крутым подъемом. Между холмами протекала быстрая холодная речка. Днем мы гуляли и купались, вечером зажигали на веранде сильную лампу, приманивая на свет красавцев махаонов. Между девочками было страшное соревнование — у кого лучше. Я собрала на траве несколько неизвестных мне гусениц и положила в клетку с травой, забыв о них. Через несколько дней масса маленьких серых бабочек слетелась к веранде. На следующий вечер их была целая туча. Я догадалась посмотреть в клетку. Там вывелись толстенькие бескрылые бабочки. Как узнали об их существовании крылатые самцы, откуда прилетели они как раз тогда, когда нужно, ни раньше, ни позже — остается тайной.

В середине лета приехал известный французский ученый и геолог Пэр Лисан. Так как только я одна умела говорить по-французски, то меня попросили встретить его в Харбине и проводить в Маоэршань. Кроме русских, в Маньчжурии работали и иностранные исследователи, главным образом, французы. Католические миссии были влиятельны и богаты, особенно в Тяньцзине, где у них был прекрасный музей. Пэр Лисан был высокий, сухой старик, быстрый и энергичный. Он был автором многотомного труда о геологии и природе Китая. Он был очень интересный собеседник, и время в поезде прошло незаметно. Посреди разговора он вынул молитвенник и погрузился в молчание. Через несколько минут, закончив молитву, он начал прерванный рассказ. Лишний раз я увидела, что наука и вера могут уживаться вместе, не мешая друг другу.

По приезде, едва закусив, он отправился на Сахарную гору. Эта прогулка считалась у нас не легкой. Надо было пройти верст пять до подножия горы, затем круто подниматься в гору. Но Пэр Лисан быстрыми шагами отмерил расстояние, взлетел на вершину, собрал нужный материал и к вечеру выехал в Харбин.

Однажды, вернувшись с прогулки в китайскую деревню, мы нашли маэршаньских дачников взволнованными неприятным событием. Богатый русский торговец был взят со своей дачи хунгузами. Несколько на вид обыкновенных китайцев подошли к веранде, где семейство пило чай. Внезапно у них в руках появились револьверы. Связав веревкой руки ошеломленной жертве, они приказали ему следовать за ними. Ни о каком сопротивлении не могло быть и речи.

Такие похищения были довольно обычным явлением, но главным образом среди богатых китайцев. Хунгузы являлись одной из бытовых черт китайской жизни, с которой власти не пытались бороться. Шайки хунгузов состояли главным образом из беглых солдат, которые дезертировали, захватив с собой оружие. Они жили на сопках, спускаясь вниз для очередного грабежа. Многие деревни предпочитали платить им определенную дань, вместо того, чтобы подвергаться постоянным грабежам, таким образом обеспечивая себя от нападений "чужих" хунгузов. Шайки были хорошо организованы, имели своего "атамана", власть которого признавалась безусловно. Ему отчислялся известный процент прибыли с грабежа, остальное делилось между членами шайки. Система шпионажа была прекрасно организована — целая армия кули, разносчиков, боев служила посредниками и доносчиками. Наметив очередную жертву, хунгузы посылали туда своего агента, который под видом разносчика рыбы или рабочего кули собирал нужные сведения. Часто помогали им и бои. Затем они докладывали результаты своих наблюдений, и налет производился обычно тогда, когда меньше всего его ждали. Заявлять в полицию было бесполезно, так как она получала взятки с хунгузов, и преследования, предпринятые для вида, оканчивались безрезультатно. Торговля велась непосредственно между похитителями и родственниками жертвы. Подбрасывалось письмо с требованием всегда преувеличенной суммы, скажем, в пять тысяч. Родственники предлагали две. Так как похитители были прекрасно осведомлены о финансовом положении похищенного, то они знали, до какой цифры они могут спускать цену, чтобы не продешевить. И на этой сумме они настаивали.

В это время пленник, проведенный обычно с завязанными глазами в становище разбойников, сажался в яму и подвергался всякого рода лишениям и истязанием, в зависимости от продвижения торговли за его жизнь. Его заставляли писать письма, уговаривая согласиться на требования хунгузов.

Иногда для пущей убедительности с письмом посылался кусочек отрезанного у пленника уха. Получив требуемую сумму, избитого, измученного, запуганного человека провожали до ближайшей станции или деревни, откуда он находил дорогу домой.

Трагично закончилось похищение сына богатого владельца отеля. Блестящий молодой человек закончил музыкальное образование в Париже и приехал к отцу. Мы готовились слушать его концерт, как вдруг пришло известие, что он похищен хунгузами. Отец, в отчаянии, готов был заплатить любую сумму, но дело получило слишком большую огласку. Называли в числе похитителей не только китайские, но и русские имена, вмешалось французское консульство, потребовали от полиции решительных действий. Начались поиски. В конце концов нашли тело несчастного юноши, убитого хунгузами.

Иногда хунгузы производили нападения на поезда. Одно из них было описано в Гунбао:

"В 7 ч. утра, вблизи станции Самохвалово, машинист увидел на полотне кучу камней и рельс и остановил поезд. Сейчас же поезд был окружен хунгузами, вооруженными, но в обычных синих халатах. Они бросились в поезд, обыскивая и грабя пассажиров. Многие тут же меняли свою старую одежду и обувь на новую, стащенную с пассажиров. Все одеяла, подушки из спальных вагонов, так же как и посуда из ресторана были унесены в сопки. Из почтового вагона взяли 4000 тысячи рублей и увели с собой 17 пассажиров. Когда хунгузы скрылись в сопках со своей добычей, машинист получил приказание двинуть поезд".

Похищений не было среди ж/д служащих, во всяком случае, среди администрации. Хунгузы считали, очевидно, невыгодным навлекать на себя внимание советчиков. Если случайно служащие подвергались нападениям на маленьких станциях, их быстро отпускали.

В общем, с хунгузами мирились как с неизбежным злом.

Поволновавшись пару дней, успокоились и маоэршаньские дачники и продолжали свою обычную летнюю жизнь.

Излюбленным летним местопребыванием администрации был курорт Чжа-лань-тунь, на устройство и украшение которого было положено немало средств. Было несколько поместительных и удобных двухэтажных домов с теннисными площадками и садами, большой зал-ресторан, в котором

устраивались танцы, площадка для концертов, красивые тропинки для прогулок и верховой езды, лодки и т. п. — все, чтобы дать дачникам возможность повеселиться и показать свои туалеты.

Мы предпочитали ездить в Чжа-лань-тунь на Рождество и Пасху, когда там было мало народу. Зимой река покрывалась прозрачным льдом, и, надев коньки, мы отправлялись на большие прогулки. Таня не отставала от взрослых. Любили мы также кататься на санках и на лошадях. Так приятно было вернуться, надышавшись мороза, в жарко натопленные комнаты. Вечером мы слушали в ресторане концерты Шумана и Бетховена на хорошей виктроле.

На Пасху, забрав с собой куличи, пасху и крашеные яички, мы уходили на целый день в горы. Склоны гор были розовыми от цветущего багульника, весенний воздух веселил и бодрил. Окрестности Чжа-лань-туня были владениями железной дороги и там можно было бродить, не боясь хунгузов.

Два лета мы провели в Халассу. Это была небольшая станция с поселком в несколько домов, в стороне от фешенебельных курортов. Место было чудесное, в предгорьях Хингана, почти нетронутое руками человека. Густые лиственные леса и кустарники покрывали сопки, местами обнажая обрывистые, причудливые скалы, долины расцветали маками, ирисами, пионами, не уступающими по красоте и махровости тем, которые разводились в садах. Полянки по склонам гор голубели от сплошного покрова незабудок. А воздух был как в Швейцарии... Это была чужая земля, со своей собственной флорой и фауной, своей историей, такая далекая от родных воронежских полей и лесов. Но такие же были бело-пушистые облака в небе и так же золотели одуванчики в изумруде трав. Я чуть не вскрикнула от удивления и радости, когда рассмотрела в траве мелкие, похожие на анютины глазки цветочки, которые мы называли Иван да Марья. Такие же росли в Павловском саду и были у меня в волосах, когда я в первый раз встретила Бориса. Мысли мои неудержимо уносились в прошлое...

Борис редко навещал нас. Он был занят проектами постройки дома. Ж/д служащие были тогда охвачены эпидемией покупки земель и постройки домов. Не устоял и Борис. Он купил очень большой участок земли недалеко от Славянского городка. Там планировался новый пригород Сад-Город. Как показывает название, его предполагали засадить садами. Некоторые видные кавежедеки уже построи-

ли красивые дома. Это было самое высокое место, откуда открывался вид на весь Харбин, с шахматной доской улиц Нового города, ж/д станцией, Пристанью и извилистой лентой Сунгари. По другую сторону был простор незастроенных полей, с китайской деревней вдали. Харбинское шоссе, между Старым и Новым Харбином, соединяло нас с городом. Что мне нравилось больше всего, так это группа вековых вязов, которые в прошлом освящали, вероятно, какое-нибудь место китайского культа. Возможно, там была часовенка с изображением какого-нибудь божества. Все это исчезло, остались только вязы. Я не возражала против покупки земли, так как все равно, несмотря на большое жалованье Бориса, все деньги тратились на какие-нибудь затеи. Но я побаивалась дружбы Бориса с инженером Ф., который был прекрасным архитектором с очень дорогими затеями. Опасения мои оправдались, когда в свой приезд в Халассу Борис показал мне в американском журнале картинку коттеджа необычайной архитектуры.

— Тебе нравится? — спросил он.

— Великолепно. Но ведь это должно стоить целое состояние, а нам и так не хватило денег для уплаты за землю.

— О деньгах не беспокойся. Банк дает неограниченный кредит.

— Пока ты — старший врач ж/д больницы.

— Я уходить не собираюсь. Во всяком случае, вопрос постройки уже решен. Инженер Ф. составил план и нашел подрядчика.

На мои вопросы о цене Борис отвечал уклончиво. Я уже по опыту знала, что если Борис на что-то "загорелся", отвлечь его нельзя. Если Борис останется на КВЖД еще несколько лет, — успокаивала я себя, — мы сможем выплатить и за этот дорогой дом.

Но судьба не считалась с нашими расчетами и готовила нам сюрприз. Ж/д служащие, возвратившиеся со станции Маньчжурия, привезли известия о возникшем конфликте между китайскими и советскими пограничными войсками. Стали проходить воинские поезда в сторону Маньчжурии. Распущенные и неряшливые солдаты, без малейшего признака дисциплины, для жителей были не менее страшны, чем хунгузы. Они забирали в деревнях припасы, грабили и бесчинствовали. Я со страхом смотрела на этих "защитников" и решила, что оставаться в Халассу больше нельзя. Мы переехали в Чжа-лань-тунь.

Беспечная курортная жизнь в Чжа-лань-туне не наруша-

лась. Правда, отдыхающим "сановникам" было предложено вернуться в Харбин, но это не мешало их женам развлекаться.

В один прекрасный день распространился слух, что возник конфликт между китайской и советской частями управления дороги. Через несколько дней пришли известия о захвате дороги китайцами. Китайские войска были поставлены на почте и телеграфе в Новом городе и у здания Правления КВЖД. Дело становилось серьезным. Боясь, что железная дорога может быть отрезана от Харбина, дачники стали собираться домой. Я с детьми оставалась, ожидая вестей от Бориса.

Опустевший Чжа-лань-тунь был очень хорош. После сильных дождей река разлилась, затопив низкий берег. Пройдя вверх по реке, мы с Леной бросались в воду, и нас несло быстрым течением к дому. Уходить в горы мы не решались. "Защитники" появились и около Чжа-лань-туня.

Мы пережидали, пока схлынет поток беженцев. Поезда с запада приходили переполненными убегающими с мелких станций семьями служащих.

Вернувшись в Харбин, я нашла положение сильно изменившимся. Исчез спокойный и довольный вид города, все выглядели встревоженными и озабоченными. Никаких определенных распоряжений от начальства служащие не получили, но профессиональные союзы объявили кампанию саботажа и уговаривали служащих в знак протеста бросать работу. Смысл саботажа был таков: оставшись одни, китайцы, не имея достаточно ума и опыта, не в состоянии будут вести дела дороги и мало-помалу приведут все в плачевное состояние. У них не будет другого выхода, как обратиться снова к советским, с просьбой восстановить паритет. И тогда советская часть будет диктовать условия. Поощрялись союзом также всякого рода вредительства, имеющие целью затруднять работу китайцев.

Эта линия поведения была указана Борису председателем союза, но не убедила его. Он искал встречи с управляющим дорогой и прямых инструкций. Если бы он получил приказ оставить работу, он должен был бы это сделать. Но никаких инструкций не последовало. Предоставлено было революционной совести работников КВЖД выбирать свою линию поведения. Для многих принять определенное решение было трудно. Здесь у них было обеспеченное положение, спокойная сытая жизнь, часто — свои дома. Некоторые советские были женаты на эмигрантках, некоторые никогда не были в

СССР, будучи советскими гражданами только по паспорту. Они были совершенно не уверены, какая судьба ждет их там.

Для нас выбор был особенно труден из-за прошлого Бориса и уверенности в том, что В. будет ему вредить. И одна мысль снова вернуться в жилтоварищество, с грязью, шумом и пыхтением примусов приводила меня в отчаяние. Но все же, если бы был определенный приказ от начальства вернуться, мы бы поехали в СССР. Совесть же наша не была революционной и не советовала нам слушаться советов исподтишка.

Когда председатель союза опять пришел к Борису, тот повел его в хирургический барак.

— Вот видите, товарищ, в этом бараке помещаются больные, которых на днях оперировали. А в этом, — указал он на соседний, — те, которые будут прооперированы завтра или послезавтра. Что будет с ними, если я прикажу хирургу оставить работу или оставлю ее сам, приведя в хаос дела больницы? Люди — не машины, которые до поры до времени можно запереть в мастерских. Они требуют немедленной и постоянной заботы. Кроме того, мы, врачи, даем клятву не покидать больного, когда он нуждается в нашей помощи.

Председатель опять заговорил о революционной совести, но решение Бориса было уже принято. Он решил остаться.

То же самое смятение в умах и нерешительность происходили и в Коммерческом училище. Мы не получили никаких указаний от директора, но он сам перестал приходить. За ним последовало и несколько преподавателей. Некоторые родители перестали присылать детей в школу. Большая часть учителей, и я в том числе, считая, что детей надо держать в стороне от политических событий, продолжали занятия.

Вскоре мы узнали, что управляющий и члены правления дороги выехали в Москву в специальном экспрессе, взяв с собой семьи, обстановку, гардероб и запасы продуктов. За ними укатили начальники служб и прочие "сановники", оставив рядовых служащих дожидаться своей очереди.

Шли лихорадочные приготовления к отъезду. Магазины делали обороты по несколько тысяч долларов в день, портные и портнихи были завалены работой. Каждый старался одеться и взять с собой возможно больше запасов.

Некоторые, не особенно жаждущие вернуться на родину, но желающие сохранить советское "лицо", нашли остроумный способ. Они заставили себя арестовать и посадить в китайскую тюрьму в Сумбее. Так м-м X. "арестовала" своего мужа. Она с деловым видом разъезжала по городу, собирая

пожертвования для "бедных заключенных", рассказывала об ужасах китайской тюрьмы, в то время как заключенные вели спокойный образ жизни, ни в чем не нуждаясь, а их "тюремщики" спорили между собой за право их охранять. Никогда они не имели столько "коммишо" (чаевых), хороших папирос и пищи, которую в изобилии доставляли с воли.

Постепенно все желающие выехали из Харбина, и настала тишина. Золотые дни КВЖД кончились. Оставшиеся на КВЖД, получившие название "невозвращенцев" и "конфликтчиков", продолжали работать на своих местах, но все командные должности были заняты китайцами.

И у Бориса в больнице, и у меня в Коммерческом училище работа продолжалась нормально. У нас в училище стало даже как-то приятнее. Ушли наименее способные ученики, остались те, кто действительно хотел работать, не теряя времени. Классы стали меньше и работали дружнее. Мы выбрали директора из старых учителей, распределили между собой предметы, освободившиеся после ухода "возвращенцев", и учебная жизнь пошла, не нарушаясь.

Сравнительно небольшая часть учеников покинула Харбин, большинство просто перестали посещать школу. Возникали постоянные недоразумения, доходящие до драк между "политическими противниками". Дружба К. и М. тоже не выдержала испытания. Друзья оказались во враждебных лагерях и перестали даже здороваться. Теперь только М. провожал Лену домой и нес ее книги, но Лена втайне предпочитала, чтобы это был К. Каким-то путем до нее дошли слухи, что он принимал участие в саботаже, во взрывах ж/д моста и мастерских. Лена не могла не чувствовать известной героики в его поступках, хотя она сама была против саботажа и прекращения занятий.

Китайские администраторы прежде всего роскошно меблировали свои кабинеты мягкой мебелью и коврами, затем поселили в канцеляриях и коридорах своих родственников, так как первый долг китайца заботиться о своих родственниках, как живых, так и умерших. Скоро официальные здания дороги потеряли свой гордый вид и превратились в ульи шумящих и суетящихся китайцев. Полы не подметались, ковры заплевывались.

В кабинет директора ж/д библиотеки аккуратно приходил толстый директор, ложился на диван и сладко засыпал до конца "рабочего" дня. Его прозвали "спящей красавицей". Сначала служащие пробовали обращаться к начальникам за распоряжениями, но не получая таковых, сами делали

так, как находили нужным. Опытные в революционных методах советчики учли правильно. Без умелого руководства работа на дороге шла все хуже и хуже, вместо прибылей стали получаться убытки. Саботажники старались — редкий день не проходил без того, чтобы где-нибудь не произошло крушения или не был разобран мост, или не произошли беспорядки в мастерских и на заводах.

Культурная жизнь КВЖД тоже сходила на нет. Не выписывались ни новые труппы, ни музыканты, ни книги и журналы для библиотеки.

Китайцы показали себя никуда не годными хозяевами дороги и, после того как их войска получили хороший урок от советов, они должны были искать соглашения с Советским Союзом на началах менее выгодных, чем до конфликта.

"Невозвращенцы" приуныли и со страхом ждали перемен в своей судьбе. Они знали, что грех их им не простится.

Остальные торжествовали и с нетерпением ждали приезда "своих". Сумбейцы были освобождены и провозглашены "героями". Солдаты бросали армию, уходили в хунгузы и беспокоили набегами и грабежами.

Учреждения стали освобождаться от важных китайцев, родственников, ковров и мягкой мебели, чиститься и готовиться к встрече новых хозяев.

Стали прибывать поезда с новыми служащими и новой администрацией. Почти никто из старых служащих не вернулся обратно. Вопреки ожиданиям, они не были встречены в Союзе как герои. Вещи у большинства были отобраны, и они сами увидели, что котиковые манто и высокие боты вызывают косые взгляды соседей и презрительное отношение к ним как к "буржуям".

В новых правителях дороги не было и следа блеска и покровительственной барственности прежних сановников КВЖД. Это была простая, деловая советская публика. Немедленно они принялись за работу. Как по волшебству, саботаж прекратился, и работа наладилась. "Невозвращенцев" пока терпели, давая им ясно понять, что вина их не простится и их терпят до поры до времени, до приезда их заместителей.

В Коммерческое училище был назначен новый директор, вернулись не посещавшие его ученики и учителя. Обстановка стала настолько неприятной, что я предпочла уйти.

Против Бориса повелась целая кампания. Советское начальство требовало его увольнения, китайское его отстаива-

ло. В такой напряженной атмосфере Борису удалось продержаться почти год, пока советчики, хорошо изучившие психологию китайцев, не догадались купить их — в случае увольнения Бориса они предложили создать новую должность помощника старшего врача для китайца, и должность санитарного врача, вместо русского, отдать китайцу. Взятка была слишком соблазнительной, и Борису посоветовали уволиться по болезни, что он и сделал.

Только когда мы перестали принадлежать к привилегированному классу кавежедеков, я поняла, как многого мы лишились. Мы должны были оставить удобный дом, не было больше казенных дров и слуг. И в магазинах, хотя улыбки продавцов и остались приветливыми, но как-то чувствовалось, что они предпочитали бы получить с нас наличными. Кредиторы поспешили с требованием уплаты долгов, и по озабоченному виду Бориса я понимала, что их было больше, чем он ожидал. С постройкой дома тоже не все шло гладко. Пользуясь неурядицей во время конфликта, русский подрядчик "смылся", увезя с собой две тысячи рублей, данных ему на покупку материалов. Новый китайский подрядчик тоже честностью не отличался. Цены на материалы страшно выросли. Многие предпочитали выждать с постройкой, но ждать было не в характере Бориса.

Как ни торопил Борис подрядчика с постройкой, прошло несколько месяцев, прежде чем мы смогли туда въехать. Дом был хорош, на мой взгляд даже слишком хорош для наших изменившихся обстоятельств. Он сошел в жизнь с картинки американского журнала, с неровными покатостями крыши, колоннообразными выступами, переходящими в балкончики второго этажа, с огромными окнами и верхним светом, с открытой верандой. Большая двусветная гостиная, кабинет, столовая, зимний сад — все прекрасно отделанные, помещались внизу, пять спален с ванной — наверху. В саду уже посажены были ряды фруктовых деревьев, разбит огород, проведены дорожки, утрамбована площадка для спорта и игр с отделением для солнечных ванн и душа. Летом, в зеленом просторе полей, в тени старых вязов, с открытым горизонтом, пылающим закатными красками, было очень красиво. Но дом оказался не приспособленным для маньчжурской зимы. Холодный сибирский ветер задувал в камин и широкие окна, беспрепятственно проникал в каждую щель, обтекая дом со всех сторон. Невозможно было отопить его. Я часто вздыхала о казенных дровах. Постепенно мы перебрались наверх, оставив низ для парадных случаев, тем более,

что большую часть времени я оставалась в доме одна. Лена поступила на экономическое отделение юридического факультета. Таня ходила в школу.

Положение Бориса было трудное. С советской стороны он не встречал ничего, кроме враждебности, но для эмигрантов он все еще оставался "товарищем из Москвы". После высокого положения, которое он занимал, он не мог взять меньшего, "не теряя лица", что было очень важно в глазах китайцев. Наш дом был слишком далек от города для частной практики. Все же некоторые больные, нуждающиеся в более или менее продолжительном лечении, оставались жить у нас.

Возникла идея использовать дом как небольшой санаторий. Мы и называли его "Санитас". Летом дом наполнялся не только отдыхающими, но и детьми, которых просили взять для отдыха и присмотра родители. У Лены оказался настоящий талант руководителя. Она без конца могла возиться с детьми, выдумывая им игры и развлечения. Они ее обожали, и Таня была очень довольна обществом сверстников и горько плакала, когда им приходило время уезжать домой.

Садовником у нас был китаец по прозвищу "гномик". Он был маленького роста, с загорелой коричневой кожей. Мы никогда не видели его выпрямленным. С первых лучей солнца до последних его склоненная к земле фигура на корточках виднелась то в одном, то в другом месте сада. Как настоящий дух земли, он знал душу цветов и растений. Он копал, сажал, подрезал, поливал. Вместо лопатки ему служил отрощенный загрубевший ноготь мизинца. Он не спрашивал и не слушал никаких указаний, да и языка общего у нас не было. Он разбил клумбы на площадке у веранды, посадил грядки цветов вдоль дорожек и вокруг огорода, меняя растения таким образом, что когда отцветали одни, зацветали другие. Он выращивал особенно вкусные сорта овощей в огороде, особенно томаты, от огромных красных до маленьких желтых, сидящих гроздьями на кустах. На грядках спела клубника, на кустах — сладкая малина, черная и красная смородина и крыжовник. В саду зрели вишни, сливы и яблоки. Где гномик спал и ел, мы не знали. С темнотой он исчезал и с первыми лучами солнца он появлялся в саду. Он не спрашивал о жалованьи, но когда было особенно много гладиолусов и хризантем, он срезал лишние и продавал их на базаре. Один только раз вмешалась я в деятельность гномика. Я достала у знакомых семена васильков и просила его посадить их. Гномик с неодобрением посмотрел на незнакомые ему

семена, но когда васильки зацвели, он принял и их в свое сердце, и полянка перед домом заголубела.

По указанию гномика рабочий китаец стал рыть во дворе колодец и на глубине около 70 футов наткнулся на источник прозрачной и необыкновенно вкусной воды.

Положение с водой было в Харбине весьма неудовлетворительно. Сунгари была мутна от взвешенных в ней частичек лёсса. Городская вода была тоже мутна, жестка и невкусна. Слух о нашей необыкновенной воде скоро распространился, и приезжающие к нам прежде всего просили воды и часто увозили ее с собой. Многие стали приходить к нам с ведрами, приезжать с бочками. У Бориса возникла мысль начать продажу воды на Пристани. Он связался с целым рядом отелей и фирм, которые приветствовали его идею. Так как все, что ни делал Борис, он делал "ан гран", то вскоре сотни бидонов нашей воды появились в городе. Это было хорошее дело, которое, может быть, и помогло бы нам отделаться от самых неотложных долгов, но, к несчастью, около Бориса всегда возникали "приживальщики" — неудачники с идеями, которые умели склонить его в сторону своих интересов. Так один "гений" начал строить сложный электрический лечебный прибор, который стоил Борису много сотен рублей и не привел ни к чему. Один из спецов по производству искусственных минеральных вод склонил Бориса к устройству завода. Выписана была дорогая машина, оплачивался дорогой служащий, но дело с водой совершенно не пошло и съедало не только наши доходы, но заставило делать и новые долги. Думая поправить дела, Борис взял компаньонов, которые нас окончательно разорили.

С деньгами мы все же устроились и встретили Новый год хлопушками и фейерверком.

Зимой в отеле Модерн устраивался большой вечер поэтов. Мы отправились туда вчетвером: Борис, я, Лена и ее ревностный поклонник, молодой поэт, воспевавший ее в неплохих стихах. Настроение у всех было хорошее. Я надела свое лучшее платье, приколола цветы. Гостившая у нас м-м Б. надела мне на голову свой шарф, чтобы не растрепалась прическа, и перекрестила на дорогу. Мы взяли такси и весело поехали. Ехали быстро, так как было уже около 10 часов и улицы были пусты. Последнее, что помню, был шум приближающегося трамвая и потом — пустота... Очнулась я только на третий день в палате Центральной больницы.

Возвращавшийся в депо трамвай пролетел остановку и

врезался на всем ходу в наш автомобиль, который не успел затормозить. Вся сила удара пришлась на мою сторону. Лена отделалась легкими ушибами, Борис и поэт — только испугом, так же как и шофер. Теряя сознание, я закричала: "Лена!" Сама я этого уже не помнила, очевидно, это был крик материнского инстинкта, без всякого участия разума. Все бросились к ней. Лена была в обмороке, но скоро пришла в себя. Оставив поэта около Лены, Борис бросился ко мне, сразу понял, что я в гораздо худшем положении, и вызвал скорую помощь. В больнице дежурный врач сказал, что мне нужна немедленная операция, но Борис не доверял незнакомому врачу оперировать меня и послал за хирургом Р. Р. был прекрасный хирург, но алкоголик и наркоман. Он не смог приехать немедленно, и это, вероятно, спасло мне жизнь. Утром, осмотрев меня, он заявил, что операцию в таком состоянии делать нельзя, надо подождать. Мое состояние было почти безнадежно: сотрясение мозга, внутреннее кровоизлияние, переломы костей во многих местах. Выжила я только благодаря здоровому организму и необыкновенному уходу, которым меня окружили.

Этот случай со мной показал, каким уважением и симпатией пользовался Борис у коллег и сослуживцев. Пять-шесть врачей ежедневно навещали меня, делая все, что было в их силах, чтобы поддержать мою жизнь. Наложили швы, гипсовые повязки, сделали переливание крови.

Я не чувствовала ничего, только время от времени вспыхивал в темноте свет и образ перевернутого автомобиля.

На третий день я пришла в себя, и опять моим первым вопросом было: "Что с Леной?" Лена оказалась около меня, и я удовлетворенно закрыла глаза, чтобы опять погрузиться в небытие.

Я долго не могла вернуться к реальному, земному миру. Моя душа витала в легкой "ангельской" бестелесности, и оттуда жизнь представлялась в совершенно другом аспекте. Заметив слезы на глазах Лены или бледное лицо Бориса, я удивлялась, что они расстроены, когда мне так хорошо. Я не чувствовала никакой боли. Борис из матрацев и подушек устроил мне постель так, чтобы я не уставала лежать все время на спине. Я потом шутила, что я лежу на горбах верблюда. Меня совершенно не беспокоила мысль, останусь ли я жива или, если выживу, то, может быть, навсегда останусь калекой. О себе я не думала. Я тихо лежала, ничего не требуя. Вид пищи казался мне отвратительным. Я могла только выпить немного апельсинового или виноградного сока. Мое тело не

требовало никакой пищи. Я иногда смотрела на свои исхудавшие руки, и они казались мне чужими. Тихая благодать наполняла мою душу. Все вокруг были такие добрые, такие хорошие, что глаза мои наполнялись слезами благодарности. Я беспокоилась о том, чтобы послали цветов докторам, которые меня лечат, забывая о том, что уже зима. Лена приносила мне васильки, которые гномик сохранил под снегом. Глядя на них, я чувствовала себя девочкой в Любомире и вела длинные мысленные беседы с Женей. Однажды ночью я разбудила спящего на кровати рядом Бориса. Мне показалось таким страшно важным решение, которое я приняла, что я решила сейчас же сказать о нем Борису.

— Зачем нам такой большой дом? Отдадим его под приют для бедных детей. Ты подумай, как они будут счастливы, особенно летом, когда вырастут цветы, ягоды и фрукты. А мы можем снять небольшую квартирку в две, три комнаты. Ты согласен, Борис?

Борис погладил меня по стриженой голове.

— Согласен. Мы поговорим об этом днем. А сейчас спи. У тебя ничего не болит?

— Нет, мне очень хорошо. Какой ты добрый...

Умиленная его добротой, я тихо лежала, представляя себе будущий рай для беспризорных детей.

Вероятно, в те дни я была очень близка к смерти, и смерть являлась мне не страшным скелетом, а ласковой, нежной матерью. Но о смерти как таковой я не думала. Мне просто было легко, радостно, бестелесно... Конечно, влияли на мое состояние и наркотики, под которыми меня постоянно держали, чтобы заглушить боль.

По мере того как я поправлялась и начала питаться, прошла и моя "бестелесность" , и мысли приняли более земной характер. Я скоро забыла о приюте для бедных детей. Но пережитое за те недели осталось очень важным для моей души. Оно показало мне, что умирать не страшно.

Через месяц меня на носилках вынесли в машину скорой помощи и перевезли домой, где я пролежала еще три месяца. И дома я не особенно тяготилась долгим лежанием. Постель стала моим домом. Из окна был виден восход солнца, искрился зажженный солнцем снег на полянке, где спали прикрытые заботливой рукой гномика цветы. На площадке сделали каток, куда приходили с коньками Танины подруги, а по праздникам появлялись и взрослые Ленины воздыхатели.

Я смотрела на мир Божий новыми глазами и по-новому

ему радовалась. Удивительна самоисцеляющая сила природы человека. Через три месяца я, пошатываясь, бродила по дому, а через шесть чувствовала себя совсем здоровой.

Последняя наша связь с Советским Союзом порвалась, когда я в очередной раз пошла в советское консульство за паспортами, отданными для пролонгации.

Удивительно, как даже в дышащем жизнью и изобилием Харбине можно было создать такую скучную, сухую, типично советскую атмосферу, какая была в канцелярии консульства. Мрачные коридоры, длинная, пустая приемная с неудобными скамейками без спинок, голые стены — хоть бы одна картина, хоть бы один журнал на столе, чтобы скрасить ожидание. Грубые лица и фигуры служащих.

Получив билетик с номером у неприветливой женщины за столиком, посетители уныло сидели или бродили по коридору. Вызывать не торопились. Женщины за конторкой делали вид, что они заняты, роясь в каких-то бумагах и книгах. Время от времени они исчезали на продолжительное время. Это было знакомое пренебрежение к человеку, унижение чувства его достоинства. Мало-помалу лица посетителей утрачивали уверенность, делались тревожными и сумрачными. Все молчали.

Наконец, после двухчасового ожидания, дошла очередь и до меня.

— В паспортах отказано, — торжествующе громко произнесла женщина со злыми глазами.

Присутствующие насторожились. Я была совершенно не готова к такому ответу.

— Как отказано?..

— Ваши паспорта были посланы в Москву, и отказ в пролонгации пришел оттуда.

— Но почему?

— Это уж вам лучше знать — почему? — к ее злорадному смеху присоединились и ее товарки.

Как оплеванная отошла я от конторки, провожаемая взглядами посетителей. Я чувствовала, что почва уходит из-под моих ног. Я поторопилась выйти и села на ступеньку лестницы. Так вот, что значит остаться без своей страны, без родины. Это значит — висеть в воздухе, без защиты и без опоры. Это значит — никогда больше не иметь возможности вернуться домой, никогда больше не увидеть своих близких. Потрясла меня главным образом неожиданность отказа. Как бы отрицательно мы ни относились к современному режиму,

Россия все же оставалась нашей родиной. Мстительная рука Москвы отрезала нас от нашей страны. Там ошибок не забывали.

— Я уверен, что это дело рук В., — заметил Борис, когда я рассказала ему о случившемся. — Он был волен распространять обо мне какую угодно клевету — меня там не было, чтобы защищаться.

— Что же мы теперь будем делать?

— Попробую достать литовский или латвийский паспорт, если денег хватит. Некоторые это уже сделали, не дожидаясь отказа. Если нет, будем продолжать жить, как мы живем. Никто с нас паспортов здесь не спрашивает. Надо смотреть правде в глаза — так или иначе возвращение в Москву для нас было невозможно без риска для наших жизней. Но всетаки это очень больно и унизительно. Выбросили нас, как негодный хлам. Даже преступников раньше никогда не лишали паспортов. И детей мы обрекли на бездомное существование.

— Лена, если захочет, может хлопотать о самостоятельном паспорте. И не придавай этому такого большого значения. Пока мы в Китае, мы пользуемся такими же правами, как и все.

Лена предпочла разделить общую участь семьи. Так же поступила и я, когда месяца через три меня вызвал советский консул и предложить вернуть мой паспорт, только мне, но не Борису. Я поблагодарила и отказалась.

С новым чувством смотрела я теперь на наш дом и сад, на открывавшуюся с балкона долину Сунгари. Раньше все это казалось временным, ”пока”, но теперь становилось нашим единственным и постоянным прибежищем. Нам, беспаспортным, все пути были заказаны. Оставалось наладить здесь жизнь наиболее удобно и приятно.

Я не могла жаловаться на судьбу. Харбин был культурным городом с разносторонними интересами, и у меня там было свое место, друзья и даже почитатели. Ленины поклонники, не смущаясь расстоянием, провожали ее после лекций домой. Таня росла на просторе. Литературный кружок продолжал собираться. Приходили и ”настоящие” писатели и поэты. Борис выпустил первую книжку своих стихов ”Холодные зори”.

Правда, наше финансовое положение было весьма запутанным, но Борису пока удавалось лавировать между своими кредиторами, и я надеялась, что с его больными и летним домом отдыха нам удастся выправиться.

Прошло то время, когда услужливые ростовщики навязывали нам свои деньги; теперь они требовали гарантий от лиц с верным положением, кавежедеков или финансистов. Найти такое лицо было трудно. Все связи уже были использованы, а к новому году, когда китайцы сводили свои счета, потребовалась порядочная сумма.

— Я думаю обратиться за подписью векселя к Куну, — после долгого размышления сказал Борис. — В свое время я много для него делал.

— Не даст, — лаконично ответила я.

— Все же надо попробовать. Другого выхода нет. Я думаю, будет лучше, если ты пойдешь с векселем сама. Ему не так легко будет отказать тебе, даме, как мне.

Скрепя сердце я пошла.

Кун беспрерывно шел в гору. Во время конфликта он надел китайское платье и занял лучший кабинет с коврами и мягкой мебелью. Когда конфликт кончился и китайский наряд исчез, он сумел убедить новых сослуживцев, что он всегда был защитником русских интересов и что по духу он настоящий "русский".

Куны переехали в большой казенный дом с садом. Дом был полон родственников, которых Кун выписывал из провинций и заставлял работать на себя. Это были рабы, которых он эксплоатировал без малейшего сожаления. Самые бедные работали в саду и в огороде, получая за это горсточку риса. Следующая ступень были работники в доме: повара, бои, кули. Они чистили, скребли, красили, делали починки. У м-м Кун была страсть к перестановке мебели и к перекраске дома. Дом блестел чистотой. На высшей ступени стояли родственники, которые приехали учиться или служить. Им давали комнату и стол, и м-м Кун и дочери безжалостно гоняли их по своим поручениям, отрывая их от занятий, несмотря на то, что они брали с них высокую плату. Любимым занятием Куна было разглагольствовать перед родственниками, как они, люди из глухих провинций, облагодетельствованы тем, что живут в его доме. Часами он мог разглагольствовать о своих добродетелях и заслугах, о своем высоком положении и т. д.

Отношение Кунов к нам было неопределенным. С одной стороны, Борис уволился с дороги и был лишен паспорта, с другой — у нас был собственный прекрасный дом, мы были приняты в лучшем обществе, обо мне писали в газетах...

Куны встретили меня приветливо. М-м Кун сейчас же засыпала меня новостями, главной из которых была та, что

доктор X. разошелся со своей женой ради дансинг-герл из "Фантазии". Возмущение Кунов по этому поводу было беспредельно.

К чаю вышло пять-шесть привилегированных родственников. Указывая на каждого в отдельности, Кун хвалился, что он для него сделал. Вот этого он поместил в техникум, этого — в гимназию (за учение они, конечно, платили сами). Вот этого и этого он устроил в свой департамент (и сам получал их жалованье). Названные родственники вставали и низко кланялись, выражая свою благодарность.

В доме было еще два белых раба, которых к столу не приглашали. Одна была взята из милости после того, как брат ее уехал в СССР и являлась в доме чем-то вроде шутихи для мадам и девочек. Это было несчастное, маленькое, робкое создание, приниженное до такой степени, что готово было благодарить своих мучителей. Другим рабом был учитель музыки девочек. В прошлом это был талантливый молодой человек, окончивший с медалью консерваторию в Перми. Я с ним познакомилась в музее, где он монтировал коллекции бабочек. Узнав, что он очень нуждается, и услышав его прекрасную игру, я пригласила его преподавать музыку Тане. Сначала все шло хорошо, потом он стал просить деньги вперед. Я давала. Он стал манкировать уроками. Наконец пришла ко мне его мать, видная женщина из богатых в прошлом сибирских купчих, и просила не давать сыну деньги, а посылать ей. Выяснилось, что он наркоман. Все, что ни зарабатывает, тратит на героин, а мать живет в ужасающих условиях.

Через некоторое время он пропал совсем. И вот его подобрали Куны, не из милосердия, а из практических соображний — за щепотку опиума, который Кун доставал у родственников бесплатно, девочки получали уроки музыки. Мало-помалу он совсем опустился, и его прогнали из дома. Как-то, открыв на звонок дверь, я увидела стоявшего на крыльце бродяжку в грязном китайском халате, униженно кланявшегося и что-то бормотавшего. Я узнала его только тогда, когда он себя назвал. Грязный и жалкий, он едва держался на ногах. Борис, который к счастью был дома, отвез его в больницу. Через несколько недель он умер.

Тогда, когда я пила чай у Кунов, он был хоть и в унижении, но все еще не потерял человеческого облика. Его заставили выйти и сыграть со старшей девочкой вальс в четыре руки.

Чем дольше я сидела, тем тяжелее мне становилось и тем

безнадежнее представлялась моя миссия. Но все же я не могла уйти, не попытавшись. Борис был бы ужасно разочарован.

Когда кончилось музыкальное представление, я попросила у Куна разрешения поговорить с ним по делу. Он провел меня в кабинет. Услышав мою просьбу, он пришел в негодование:

— Я удивляюсь, как Борису Павловичу могла прийти в голову такая идея. Вы видели, сколько у меня родственников? Первый долг китайца (тут он стал китайцем) заботиться о своих родственниках. Кроме того, я уверен, что денежные расчеты всегда портят отношения между друзьями, а я предпочитаю сохранить дружбу с вами и вашим мужем.

— Это совсем не важно, — сказала я. — Мы легко это устроим. И забудьте, пожалуйста, что я вас просила.

Но я была уверена, что на следующий день ж/д мир Харбина будет знать о наших стесненных обстоятельствах с соответствующими комментариями м-м Кун.

Выручило нас, стыдно сказать, — наводнение.

Наводнение было большим бедствием для Харбина и окрестностей. Низкая долина Сунгари оказалась затопленной на огромном расстоянии. Вода наступала с такой быстротой, что бедные дачники едва успели спастись. Легкие деревянные постройки не могли выдержать ударов мощного потока. Разыгравшаяся водная стихия разрушала их, как карточные домики, уносила заборы, двери и крыши. Иногда целые дома неслись быстрым течением, вертясь в круговоротах и постепенно разрушаясь. Дачники, которые только вчера нежились на песчаных берегах тихой Сунгари, вдруг оказались во власти мутных, мощно наступающих волн, от которых, казалось, не было спасения. Подняв женщин, детей и узлы с вещами на крыши более солидных зданий, мужчины переправлялись, как могли, на другую сторону. Небольшое число счастливцев имело лодки, остальные привязывали себя к доскам и дверям и, отталкиваясь шестами и лопатами, боролись с уносившим их вниз течением. В глубоких местах их спасали выехавшие навстречу лодки.

Помощь была быстро организована, и Сунгари покрылась всевозможными имеющимися в распоряжении жителей лодками, баржами, пароходами, устремившимися в затопленные места. Дачников спасли, но большая часть имущества погибла.

Стало заливать и нижние улицы Пристани. Жители перебирались в верхние этажи, улицы превратились в реки. Скау-

ты и другие организации молодежи развозили на лодках хлеб, молоко, почту, принимали и исполняли поручения "затопленников", брали детей и отвозили их на детские площадки в Новом городе, где за ними смотрели воспитатели.

На время бедствия забылись политические разногласия, и все старались прийти на помощь пострадавшим.

Ко мне пришла одна моя знакомая по музею, работавшая на биологической станции, — мокрая, грязная, с узелком промокших вещей, и просила приютить ее на пару дней. Когда началось наводнение, она была в нескольких верстах от своего дома, пробиралась к нему по все прибывающей воде. В доме вода была уже ей по плечи. Встав на единственное сухое место — шкаф — она ныряла вниз за своими вещами. Их было немного, но это было ее единственное имущество, и потому для нее ценное. Привязав узелок на голову, она отправилась вплавь по направлению к городу. В глубоком месте ее подобрала лодка.

— Я ведь знала, что будет наводнение, только не знала — когда, — говорила она, помывшись и переодевшись в мое платье. — Несколько недель тому назад я наблюдала, что суслики и прочие грызуны оставили свои норки и выкопали новые в высоких частях песчаных холмов. Я писала об этом в газетах, предупреждая о наводнении, но, конечно, никто не обратил внимания.

Эта женщина-биолог была удивительное существо. Внешние удобства ее не привлекали. Она могла жить во всяких условиях, спать на земле, питаться черемшой и чумизой. Никакие препятствия не останавливали ее, если она знала, что может найти интересный материал. Она уходила далеко в сопки. Несколько раз попадала к хунгузам. Взять с нее было нечего, поэтому ее отпускали, даже иной раз показывали, где водятся змеи или ящерицы, которых она искала. Однажды она попала к маньчжурскому охотнику на тигров и прожила с ним в тайге два года, за это время успев приручить маленького тигренка, мать которого стала добычей охотника.

Когда она уходила, я предложила ей деньги.

— Зачем мне деньги? — удивилась она. — С деньгами меня ограбят. Я иду сейчас в китайскую деревню, где могу жить без денег сколько угодно.

Завязав за спину свой узелок, она бодро зашагала.

Другим гостем наводнения был писатель Н. Сам он не пострадал, так как у него не было ни постоянной квартиры, ни вещей, но газета, где он время от времени помещал свои

статьи, временно закрылась, и он остался без заработка. Так как мы были его единственными знакомыми на "сухом" месте, то он и пришел к нам. В прошлом очень богатый человек, воспитанный в полной неприспособленности к постоянному труду, бывший офицер колчаковской армии, он кое-как пробивался в Харбине. Был талантливый писатель и поэт, но кроме случайного заработка в газетах, не имел ничего. Постепенно он опускался, особенно когда пристрастился к героину. Героин губил немало молодых и талантливых людей в Харбине. С людей без нутра и без упора он снимал чувство ответственности за свои поступки, давал им хотя и ложное, и временное, но облегчение.

В комнате Н. всегда был необыкновенный беспорядок. На постель он ложился в ботинках, окурки и пепел валялись на полу, прокуренный воздух отравлял легкие. Н. ничего этого не замечал, как не замечал грязной рубашки и нечищенной обуви.

Он был очень интересный собеседник, с обширными знаниями и прекрасной памятью, и все это губилось в чаду героина.

— Неужели вы не можете бросить курить? — спросила я его. — Ведь на эти деньги вы могли бы себе купить приличный костюм.

— С какой стати мне бросать? — возразил Н. — Это единственное удовольствие, которое я нахожу в жизни, и я не собираюсь лишаться его. А если вы будете мне говорить о том, что я зря трачу свой талант, так кому он нужен? Спроса на него на китайском рынке нет, а из Китая мне никуда ходу нет. У меня не осталось никаких иллюзий и никакой амбиции. И вообще, если бы вместо харбинского наводнения нас постиг всемирный потоп, я бы пальцем не шевельнул, чтобы спасти своего ближнего или самого себя.

Но все же и его сердце оказалось не совсем зачерствелым, и он не остался равнодушен к уму и прелести Лены. Они много разговаривали, он читал ей свои рассказы и очень прислушивался к ее мнению. Посвятил ей несколько стихов, стал даже меньше курить.

Китайское население нашего дома тоже увеличилось. В первые дни наводнения бой исчез и затем появился с парой грязных, униженно кланявшихся стариков.

— Мадама, — заговорил он, вытирая глаза, — моя фанза пропади, моя папа, мама жить негде. Поле, огорода — все пропади. Моя папа, мама со мной живи. Ваша не беспокойся, ма-

дама. Они в большой дом не ходи. Они в саду работай, деньги плати не надо. Ваша не беспокойся.

Старики кланялись и кланялись, приговаривая слова благодарности. Фу-цзя-дан был тоже сильно затоплен наводнением, и все больше и больше китайцев скоплялось в Новом городе. Мало-помалу площади превратились в китайский цыганский табор, с палатками из случайного материала, горящими кострами, сильным духом черемши и сои и сотнями грязных, голых ребят. В стороне от города построили бараки, где разместили часть беженцев, раздавали им пищу и кипяток.

Китай надвинулся на европейскую часть города, и многие старожилы в первый раз ощутили, что они жили не у себя в России. На улицах осаждали прохожих оборванные женщины с детьми, прося милостыню и ползя вслед на коленях, пока не получали несколько копперов. На дворах ютились семьи боев и поваров.

Вместе с грязью и теснотой пришла и холера в бараки. В городе принимались санитарные меры.

Крестьяне затопленной долины были совершенно разорены. Их земляные фанзы не могли выдержать напора воды, поля, огороды были смыты. В несколько часов уничтожились плоды многолетних трудов. И все же по вечерам у костров слышались звуки музыки и смех.

У гномика прибавилось рабочих рук — "папа, мама", — и он безжалостно их эксплоатировал. Когда кончалась работа в саду, он заставлял их достраивать флигель, который мы начали строить во дворе. Получался уютный маленький домик.

— Мадама, — подошел ко мне с таинственным видом бой, — один китайский капитана, шибоко, шибоко большой капитана, хочу большой дома. Его дома вода топи, живи не могу. Шибоко много денег плати.

— И ты хочешь, чтобы мы ему сдали наш дом? — догадалась я.

— Моя тако думай. Капитана живи большой дома, ваша живи маленький дома. Папа, мама неделю его кончай. Моя живи с поваром в кухне, папа, мама живи на дворе.

— Я вижу, ты все уже распределил. На сколько времени капитану нужен дом?

— Вода уходи, его чисти и починяй — три-четыре месяца.

— Сколько он хочет платить?

— Его говори, хороший дом, хорошие люди — двести долларов в месяц. Его сада не ходи. Наша фрукты, овощи много, капитана покупай.

— Я подумаю. Доктор придет, мы поговорим.

— Ваша согласна, капитана моя двадцать долларов плати.

Стало понятно желание боя услужить богатому "капитана". Я считала, что предложение боя выгодно для нас, но боялась, что Борис не согласится. Однако перспектива получить 600—800 долларов в уплату неотложных долгов прельстила и Бориса, и торжествующий бой пошел на следующий день к "капитана" с утвердительным ответом.

Через неделю семейство Сун Бао-чен переехало в наш дом. Они были представители древнего аристократического рода. Грубая работа никогда не касалась их выхоленных рук, так же как их тонкие, цвета слоновой кости лица никогда не были открыты для прямых лучей солнца.

Г-жа Сун, мать, выглядела, как хрупкое растение, засушенное между страницами старой книги. Ее гладкие седые волосы были свернуты в узел на затылке и украшены яркими булавками и бумажными цветами. На ней был длинный халат из тяжелого, дорогого шелка, и на крошечных ножках разноцветные вышитые туфельки. Она вышла из рикши, поддерживаемая двумя прислужницами, и прошла мимо ряда склонившихся в низком поклоне слуг. Ей отведена была наша бывшая столовая, большая комната с окнами в сад.

Г-н Сун, высокий и худой, в чесучовом халате и в очках, принадлежности образованного человека, был достойным носителем древнего славного имени. Он много путешествовал, свободно говорил по-английски, по-французски и по-немецки, окончил несколько высших учебных заведений в Европе, но не изменил своему китайскому платью и образу жизни. Прежде чем войти в дом, он попросил разрешения познакомиться с нами и на прекрасном французском языке выразил благодарность за то, что мы разрешили его недостойной семье поселиться в нашем почтенном доме. Он устроился в кабинете. Его две молодые жены, с модными бубикопфами, в ярких недлинных халатах, весело щебетали, с любопытством оглядываясь вокруг, видимо, довольные, что им удалось избежать затворничества за высокой стеной их дома по такой печальной причине, как наводнение. Им отвели комнату наверху. Там же поместилось и двенадцать слуг. Такое обилие слуг встревожило Бориса и, когда с наступлением темноты они не сделали попытки уйти, он спросил Суна, собирается ли он оставить их всех при себе.

— Слуги? — переспросил Сун. — Все мои сто двадцать слуг остались дома. Здесь со мной только наш личный штат, с которым мы не расстаемся. Моя мать не может показаться без сопровождения ее двух прислужниц. Они девушки из

приличных домов, куплены ею, когда были маленькими, и воспитаны в нашем доме. Моя старая кормилица, так же как и кормилицы моих жен, живут всегда при нас. Старый Чу смотрит за моей любимой птицей, старая Сяо — за драгоценной собакой моей матери. Потом бои, повара и кули — и это все. Не волнуйтесь, они все прекрасно дисциплинированы, и вам не будет от них ни малейшего беспокойства.

Действительно, несмотря на большое количество жителей в нашем доме, мы их почти не видели. Старый Чу выносил позолоченную клетку, вешал ее на куст около дома, чистил и насыпал корм и отправлялся с ней гулять в поле или по улицам, где он встречал других стариков с клетками в руках.

Два раза в день Сяо выводила собачку, крошечное существо с длинной шелковой шерстью, курносым носиком и глазами навыкате. Старые "аммы" выходили только вечером, когда уезжали их господа и, присев на корточки, тихо разговаривали с родителями боя. Каждый день часов около 4-х три рикши, чистокровные "рысаки" с мягкими нарядными тележками, останавливались у калитки, и старая госпожа и ее служанки выезжали в гости или в одно из ее многочисленных имений.

Позже три таких же блестящих рикши увозили г-на Суна и его жен в театр, кино или с визитами. Они возвращались поздно ночью и вставали к полудню.

Центром жизни и деятельности была кухня. С утра торговцы-разносчики собирались у калитки, ведущей в кухню. Приносили рыбу, кур, цыплят, жирных, белых пекинских уток, свинину. Только лучшие продукты покупались для семейства Сун, похуже — для его домочадцев. Деликатесы, такие, как ласточкины гнезда, акульи плавники, трепанги (морские черви), душистые травы и приправы к соусам привозились самим г-ном Суном.

Удивительное изобилие и разнообразие пищи приготовлялось толстым важным поваром и его двумя помощниками. Кулинария была древним, выработанным опытом многих поклений искусством, занимающим почетное место в жизни Китая. Не руководясь ни рецептами, ни поваренными книгами, повар, как настоящий артист, руководствовался только своим опытом и вдохновением, приготовляя сложные соуса и подливы, придающие своеобразный, пикантный вкус пище. Из поколения в поколение передавались поварами секреты настоящей китайской кухни. Особый класс составляли повара, служившие у иностранцев и знавшие также какую-нибудь иностранную кухню: русскую, английскую или фран-

цузскую — гораздо более примитивные, чем китайская. Из одних яиц повар Суна мог приготовить 30 различных блюд. Вполне оценить его искусство мы могли, когда Сун пригласил нас на обед.

Обед состоял по крайней мере из 50-ти блюд. Миска ставилась посредине, и каждый накладывал деревянными палочками себе в мисочку. Я плохо понимала, что я ем, и скоро потеряла счет бесконечно менявшимся кушаньям. Когда подали какой-то сладкий "порридж" и фрукты, я приветствовала их как конец обеда, но это оказалось началом, все предшествовавшее было своего рода закусками.

За сладким последовали крепкие душистые супы, рыбы под густыми, сладковатыми соусами. Прозрачные кружочки, плававшие в супе, оказались ласточкиными гнездами, студенистая масса под темно-коричневым соусом — акульими плавниками. Царицей обеда была золотисто-румяная пекинская утка, которая положительно таяла во рту. В конце обеда я почувствовала, что опьянела от пищи, как от вина. И все же в конце обеда Сун извинился за "бедную" пищу и обещал, что когда переедет в свой дом, пригласит нас на настоящий обед.

Разговор за столом велся хозяином, так как женщины не говорили ни на каком другом языке, кроме китайского.

После обеда Сун пригласил Бориса и меня в свой кабинет, который больше походил на музей, чем на жилую комнату. По стенам стояли низкие, резные, тяжелого дерева кушетки и стулья, низкие столы-полки были заставлены вазами. Часть комнаты была занята книгами, свитками рукописей и картин. Несколько длинных, узких панно, изображавших сцены китайской мифологии, висели на стенах. На некоторых не было ничего, кроме иероглифов.

— Это мои скромные попытки приблизиться к мастерству древнего искусства каллиграфии, — сказал Сун, показывая на одну из картин. — Оно требует большого терпения и времени, но дает художнику не меньше удовлетворения, чем хорошая картина. А эти вазы — наиболее древняя часть коллекции, которая собирается в нашем роду многие сотни лет. Вазы, которые показались мне не представлявшими ничего особенного, были уникумами, стоившими несколько тысяч долларов. Как в каждом настоящем искусстве, только глаз знатока мог отличить действительно ценное.

Кроме каллиграфии Сун занимался переводами с английского и французского на китайский язык. На мой воп-

рос, каково его отношение к европейской культуре, Сун ответил:

— Я не поколонник Европы. Я нахожу ее слишком шумной, беспорядочной, ее культуру — незрелой. Конечно, Китай — одна из немногих стран, которая сохранила свою культуру на протяжении нескольких тысяч лет... Мы были обладателями литературы и искусства уже в то время, когда Европу населяли примитивные племена, которые не знали ничего, кроме борьбы за существование. Наша империя была велика и могущественна, когда Европа раздиралась войнами и междоусобицами. Теперь мы потеряли свое привилегированное политическое положение. Вероятно, мы слишком стары, чтобы поспевать за волнениями и борьбой современных цивилизаций. Наша жизненная сила иссякла за время нашей долгой истории, мы так многого достигли в прошлом, что нас не интересует соперничество с другими странами в настоящем. Мы предпочитаем стоять в стороне, мирно наблюдая течение времени. Вместо того, чтобы бегать за мячом в крикете или футболе, мы гуляем в полях, слушая пение птиц, или сидим у себя в кабинетах, изучая творения наших древних мудрецов.

— Вы говорите, конечно, как представитель аристократии, — заметил Борис, — одного из самых древних родов, но сам народ еще полон жизни и сил. Он еще не имел возможности их проявить.

— Вы правы, — ответил Сун. — Если когда-нибудь мою родину постигнет такое же несчастье, как и вашу, народ покажет свою животную силу. Но это будет концом китайской культуры. Наша культура создавалась в тишине кабинетов людьми, свободными от физического труда, жившими в довольстве и праздности. Отнимите довольство и праздность, дающие возможность сосредоточивать мысль и талант на созерцании красоты природы, раскрытии ее тайн, на постижении созданного великими умами, — и остановится культура. Ничего истинно ценного не может быть создано в поспешности, мозгами, занятыми суетой повседневности.

Жены, две щебечущие экзотические птички, принесли душистый цветочный чай в прозрачном фарфоре. Мы выпили и поблагодарили хозяев за гостеприимство.

Я была очень довольна визитом. Мне давно хотелось познакомиться с настоящими китайцами, а не с грубой фальсификацией в виде г-д Кунов.

Однажды проснувшись ночью, я почувствовала сильный сладковатый запах, вливающийся в открытые окна. Было

похоже на запах мака, но маки уже отцвели. Я встала и, накинув халат, вышла в сад. Запах привел меня к столовой. Я заглянула в полуоткрытое окно. Старая г-жа Сун лежала на низкой кушетке с длинной трубкой слоновой кости во рту. Маленькая лампочка горела у ее ног, комната была полна белого сладковатого дыма. Г-жа Сун курила опиум. Ее глаза были закрыты, на лице — спокойное довольство.

Я обошла дом кругом. В комнате, которую занимали старые "аммы", был свет. Они лежали на цыновках с трубками во рту. Трубки были простые, запах опиума не такой крепкий и душистый, но выражение блаженства на их лицах было то же, что и у их хозяйки.

Меня встревожило это открытие. Я знала, что курение опиума было запрещено законом и за него полагалось серьезное наказание.

— Лю, — позвала я утром боя, — ты знаешь, что в большом доме курят опиум?

— Моя знай, — невозмутимо ответил бой. — Богатый капитана всегда кури опиум, богатый мадама всегда кури.

— Разве ты не знаешь, что это против закона?

— Закона для бедные люди. Для богатые — нету закона. Капитана в суде сами кури опиум.

— А если узнает полиция?

— Полиция в большой дом не ходи. Богатый капитана давай полиция деньги. Полиция покупай опиум.

— А ты знаешь, что старые аммы тоже курят опиум?

— Старая таитаи кури шибко хороший опиум, шибко дорогой. Нехороший она давай амма.

Очевидно, Лю хорошо знал обычаи своей страны. Я успокоилась.

Наше знакомство с Суном продолжалось. В середине августа г-н Сун пригласил нас поехать с ними посмотреть на чун-юан-цзе, торжество в честь усопших.

Четыре лишних первоклассных рикши ждали нас вечером у калитки. На затопленных улицах Фу-цзя-дана вода достигала колен. Когда стало еще глубже, мы перешли с рикш в лодку.

Подъехав к Сунгари, мы увидели феерическую картину. Огромное пространство разлившейся реки было покрыто миниатюрными лодочками из бумаги, вырезанной в форме лотоса, с горящим внутри огоньком. Лодочки грациозно покачивались, отражения огней мерцали в воде. То одна лодочка, то другая опрокидывались набежавшим ветерком или вспыхивали пламенем, но сотни, тысячи новых лодочек выплыва-

ли взамен. Посредине реки показалась большая лодка, наполненная странными картонными фигурами.

— Впереди Гию Ван, король демонов, — пояснил Сун, — Остальные — добрые и злые духи. Они везут священную бумагу и деньги для тех бедных душ, у которых нет счета в небесных банках.

— Почему все лодочки в виде лотосов? — спросила я.

— По этому поводу существует очень поэтическая история. Более двух тысяч лет тому назад жили юноша и девушка, которые очень любили друг друга. Но родители девушки обещали выдать ее за почтенного пожилого человека и запретили ей встречаться с юношей. Девушка отправила ему письмо, прося его встретиться с ней в последний раз на мосту реки Ю-лан. В назначенный час девушка была на мосту, но друга ее не было там. Проходил час за часом, а девушка все ждала, раздираемая желанием видеть своего возлюбленного и страхом перед родительским гневом. Подошел вечер, а она все ждала. Когда стало совсем темно, она поняла, что родители никогда не простят ей такого долгого отсутствия. Отчаявшись дождаться юноши и не видя выхода, она решила умереть. Она сняла платье, повесила его на перила моста и бросилась вниз, в воду. Когда юноша, наконец, пришел и увидел платье девушки, он понял, что случилось. И он последовал за ней. Через несколько дней на том месте, где утонули возлюбленные, выросли и показались из воды два прекрасные лотоса. Жители удивлялись, так как никогда в их реке не росли лотосы. Один из них хотел вырвать цветы, но они не поддавались, как будто кто-то крепко держал их внизу. Тогда он нырнул и нашел тела двух несчастных любовников. В их честь и назван праздник Ю-лан-вей.

В ночь Ю-лан-вей каждый сжигал огонь в память умерших родственников или друзей.

Г-н Сун знал множество легенд и сказаний, которыми пропитан весь быт Китая. Когда мы вернулись домой, он показал нам перевод одного китайского стихотворения на английский. Борис перевел его на русский.

Домик на горе

Так далеко внизу бежит река,
Что кажется она спокойно недвижимой.
Мой домик на горе, на полпути к вершинам,
И надо мной плывут куда-то мимо облака.
Так тихо шелестит в листве прохладный ветер,

Раскрыли лепестки цветы на склонах гор,
Горя и рдея в солнечном закатном свете.

Оно говорило мне о спокойном созерцании природы, об отрешенности от суеты, которые Сун считал непременными условиями творчества.

Я не знаю, что случилось с семьей Сун после того, как пришли к власти коммунисты. Может быть, им удалось выехать за границу. Если же нет, не думаю, чтобы Суна оставили в живых. Гордая голова аристократа, крайнего индивидуалиста и поклонника старой культуры не склонилась бы перед грубой силой коллективизма. Ничто не вызывало в нем такого презрения, как невежество и грубость. Представить себе г-на Суна с лопатой в руках было так же немыслимо, как представить грузчика кули, вычерчивающего затейливые иероглифы. Может быть, старая китайская аристократия дошла до того предела, который называется в истории "упадничеством", может быть, она действительно израсходовала все свои жизненные соки и была обречена на вымирание, как древние культуры Ассирии и Египта. Может быть, есть справедливость в том, что освободились веками угнетаемые силы народа, которые вольют новую жизнь в дряхлое тело. Но старой, тысячелетней китайской культуре без свободы, тишины и досуга пришел конец.

Постепенно Сунгари входила в берега. Освобождались от воды улицы, чистились, скреблись, ремонтировались дома, жители возвращались на старые места. Жизнь входила в норму.

Прожив у нас 4 месяца, семейство Сун вернулось в свое поместье. Мы снова перешли в большой дом, но мне уже не хотелось развешивать по стенам яркие вышивки, которыми я гордилась раньше. В кабинете осталось одно панно с иероглифами, начерченными рукой г-на Суна.

Сун исполнил обещание и прислал нам приглашение на обед и четырех великолепных рикш.

Дом был как феодальный замок, занимал огромную площадь за высокой стеной. С улицы ничего не было видно, кроме стены, и когда открывались ворота, глаз упирался в поставленный перед ними заслон со специальным назначением не пропускать злых духов, которые умеют двигаться только по прямой линии, а обойти кругом не в состоянии. За стеной оказался рай, с цветущими кустами и деревьями, с прудом, в котором плавали пучеглазые, волнисто-плавни-

ковые золотые и красные рыбки, с горбатыми мостиками и беседками. Кроме главного дома, построенного в европейском стиле, выстроились рядами китайские постройки, вмещающие домочадцев и слуг. Сун и птички-жены встретили нас в дверях дома, старая г-жа Сун — в гостиной. Дом был полон редких сокровищ. Одна коллекция ваз занимала два длинных зала. Библиотека находилась в нижнем этаже в нескольких комнатах. Только несколько фигур слоновой кости стояло на полках и несколько картин на стенах, но они были произведениями лучших художников. Только "настоящее" искусство находило доступ в дом Суна. Его опытный глаз безошибочно отвергал все второсортное. В сущности, в этом и состоит культура — в умении распознать настоящее, отличить его от подделки.

Обед был симфонией вкусовых ощущений. Я скоро перестала понимать, что я ем, но это не мешало мне наслаждаться едой. Нельзя было не согласиться с г-ном Суном, что кулинария — великое китайское искусство.

Единственный предмет европейского обихода, который я заметила в доме, была великолепная виктрола. После обеда Сун угостил нас пятой симфонией Чайковского.

Те же быстроногие рикши отвезли нас домой.

Глава 10. Эпоха Та-тун

Япония подкрадывалась к Маньчжурии медленно, хитро и осторожно. Она не хотела прийти как завоевательница, с огнем и мечом, нет, надев личину благожелательности, она играла роль доброго участливого соседа, готового прийти на помощь в затруднениях. Хитрая лиса, она протягивала бархатные лапки дружбы и участия, спрятав до поры до времени острые когти хищника.

Применялась старая маккиавелиевская политика: разделяй и властвуй. Подкупали враждующих генералов и заставляли их драться друг с другом, вызывая неудовольствие насильно забираемых на войну солдат, восстанавливали одну часть населения против другой, создавали всякого рода беспорядки, раздували недовольство властью, которая была бессильна водворить порядок, покровительствовали хунгузам.

Хунгузничество разрослось до невероятных размеров. Оно было постоянной угрозой беззащитному населению, но все же раньше хунгузы соблюдали известную осторожность, живя в сопках и время от времени являясь за очередной жертвой. Под скрытым покровительством Японии хунгузничество превратилось в мощную организацию, прекрасно вооруженную и одетую, угрожающую спокойствию и жизни жителей. Никто не чувствовал себя в безопасности, каждый считал себя потенциальной жертвой, особенно если он обладал имуществом. Боялись выехать за город. За несколько миль от Харбина хунгузы окружали его кольцом, контролируя все пути сообщения. Крестьяне боялись вывозить продукты в город, так как по дороге их грабили и избивали. Цены на продукты подымались, ощущался недостаток в овощах, яйцах и домашней птице.

Все были недовольны, все ворчали и негодовали на слабость и бездействие китайских властей. Провокация японцев была так хорошо скрыта, что обыватели не подозревали, кто был настойщей причиной неустройства и разрухи экономической жизни.

Подкупалась печать. Газеты были полны описаний бес-

порядков и хунгузских бесчинств и давали понять, что истинным другом Маньчжурии была Япония, что только она может вывести страну из создавшегося тяжелого положения.

Японцы заигрывали и с эмиграцией, обещая эмигрантам всякие блага в случае поддержки японской политики. Один из бывших администраторов был приглашен в Токио, и ему был обещан пост губернатора Сибири, конечно, когда она будет под протекторатом Японии.

Советчики молчали, делая вид, что их это не касается, но, вероятно, уже тогда велись тайные дипломатические переговоры о продаже дороги японцам.

Когда кампания провокаций, ложных слухов, запугивания и поощрения недовольства достигла апогея, Япония понемногу стала приоткрывать завесу, скрывавшую ее планы.

"Заря" писала: "Собранием представителей японского населения в Китае была послана военному министру телеграмма с просьбой о присылке войска для водворения нормальной жизни в Маньчжурии". И через несколько дней: "Так как деятельность партизан и хунгузов становится все более угрожающей, то Япония решила принять меры и выслать в Маньчжурию войска для охраны ее жителей от бандитов и хунгузов".

Так явилась Япония, не завоевательницей, но восстановительницей права и порядка.

Я нелегко переживала это смутное время. Наш большой и красивый дом стоял на окраине, вблизи китайской деревни, и легко мог привлечь внимание хунгузов. Бой меня успокаивал:

— Ваша, мадама, не беспокойся, китайски люди знают, у вас шибоко много деньги нету. Хунгуза приходи, поговори, капитана шибоко много долги ести, дом продавай, деньги нету.

Я тревожилась за Таню, которая возвращалась из школы, когда уже темнело. Лена возвращалась поздно, но обычно ее кто-нибудь провожал. Один раз Бориса пригласили к его старому пациенту китайцу, жившему за несколько верст от Харбина. Когда пришел вечер и его все не было, я была уверена, что он попал к хунгузам. Страшные, читанные в газетах истории толпились в мозгу, когда я стояла на шоссе, поджидая его. Мучительно было сознание полной беспомощности — если бы он попал к хунгузам, обратиться за помощью было некуда. Оставалось только ждать.

Борис вернулся поздно ночью. Действительно, хунгузы

их задержали, но отпустили после переговоров и получив взятку, приготовленную на этот случай пациентом.

Итак, сцена была подготовлена: Харбин с нетерпением ждал "благодетелей", которые восстановят прежний мир и довольство, избавителей от постоянных угроз хунгузских жестокостей, от бездействия властей.

Поднялся занавес. Проснувшись утром, мы нашли нашу усадьбу окруженной китайскими солдатами. Послали боя спросить, в чем дело. Борис хотел выйти за калитку, солдаты преградили ему путь винтовками. На площадке перед домом выстраивались войска.

— Его говори — война, — доложил бой, вернувшись с разведки.

— С кем война?

— Его не знает.

— Какие это солдаты? Генерала Чжан Сюе-ляна?

— Его не знаю.

— С кем война? С японцами?

— Его не знаю. Офицера приводи, а солдата не знаю.

К полудню появились офицеры в сопровождении солдат, несших их постели, зонтики, плащи на случай дождя. По команде наша "охрана" присоединилась к стоящим на площадке, и все были выведены дальше в поле. Прошло еще несколько часов. Мы услышали шум приближавшихся аэропланов и взрывы бомб. Из окна верхнего этажа нам была видна вся картина боя. Солдаты отстреливались, но их винтовки не могли причинить никакого вреда кружившимся над их головами аэропланам. Трудно было придумать более нелепую тактику, как вывести солдат в открытое поле и поставить их беззащитными под обстрел аэропланов. Большинство солдат, вероятно, никогда раньше не видело аэропланов, и, подняв головы вверх, наблюдали за ними с любопытством. Но когда с аэропланов начался пулеметный огонь и посыпались бомбы, они испугались, попадали на землю, стараясь спрятаться друг за другом. Офицеры командовали встать и стрелять.

— Шибоко плохой яйца птица бросай, — заметил стоящий с нами бой, — шибоко много умирай.

Несколько бомб разорвалось совсем близко от нашего забора. Хотя я и сознавала, что безопаснее было бы не стоять у окна, а спуститься в подвальный этаж, смотреть было так интересно, что мое предложение не встретило поддержки со стороны Бориса и детей.

Увидев, что им не оказывается никакого сопротивления, аэропланы спускались все ниже и расстреливали солдат из пулеметов.

— Какое безобразие! — возмутился Борис. — Отчего их не уведут под прикрытие?

— Отчего они не бегут? Отчего дают себя убивать? — со страданием в голосе воскликнула Лена.

И они побежали. Казалось, что первыми повернули назад офицеры, за ними носильщики с одеялами, а затем помчалось и все испуганное стадо солдат, расстреливаемое снизившимися вдогонку аэропланами. Они бежали изо всех сил, запыхавшись, едва переводя дыхание, бросая винтовки и мешки, срывая на бегу солдатскую форму. Многие прибежали в деревню, откуда через некоторое время появились как обыкновенные синехалатные китайские кули. Увидав поле опустевшим, аэропланы ретировались.

Война кончилась. Кому надо было инсценировать эту пародию на войну, какую цель она преследовала, когда почва для бескровного вступления Японии была так тщательно подготовлена, — осталось невыясненным. Погибло несколько сот бедных, ни в чем не повинных людей, и это все.

Под вечер, подойдя к окну, я заметила на горизонте черную, медленно приближавшуюся линию.

— Японская кавалерия, — высказал свое предположение Борис.

Действительно, в бинокль вскоре можно было рассмотреть фигуры всадников. Не дойдя до нашего дома, они свернули на Старо-Харбинское шоссе.

Весть о приходе японцев быстро облетела город. Им была устроена торжественная, даже трогательная встреча. Выстроившись вдоль шоссе, публика махала платками и шапками, кричала "банзай!" и "ура!". Все же маленькие японцы на больших лошадях вызывали нелестные замечания: "Настоящие макаки"... На площади Нового города, где они остановились, многие бросились к ним с выражениями радости, помогали им слезть с коней, целовали их и даже лошадей. Каменные лица японцев не выражали ничего.

На следующий день был устроен на площади парад, где Япония демонстрировала мощь своего оружия. Проезжали броневики и танки, артиллерия, кавалерия и проходила пехота. Многочисленные зрители выражали свой восторг.

Прошло немало времени, прежде чем жители поняли истинную природу "спасителей".

Первое время они казались безобидными "макаками".

Они расхаживали по городу небольшими группами, заходили в магазины и рестораны, хвалили русскую водку, посещали без приглашения частные дома, где они настаивали, чтобы кто-нибудь из обитателей снялся вместе с ними, они улыбались, кланялись и благодарили.

Наш красивый дом привлекал много незваных посетителей, и много дюжин фотографий было сделано с него, главным образом, с участием Тани, которая любила сниматься.

Хунгузы исчезли как по мановению волшебной палочки, продукты появились в изобилии, дешевые японские товары наводнили магазины. Эмигранты, поверившие в благожелательность японцев, были окрылены надеждами на лучшее будущее. Под японским представительством росли и множились всякие комитеты, комиссии и подкомиссии, расцветали слухи, проекты и ожидания.

Советчики хранили загадочное молчание и строгий нейтралитет. Советские представители обменялись визитами с японскими командирами, и работа на дороге продолжалась так, как будто ничего не случилось.

Многие китайские торговцы и администраторы были готовы сотрудничать с Японией.

Г-н Кун разглагольствовал в кругу своей семьи о дружбе с великой Японией, а г-жа Кун заказала себе и девочкам японские кимоно.

Каждый день поезда привозили новых и новых японских пассажиров с женами, детьми и имуществом. Поразительна была быстрота, с которой росло японское население. Скоро многие улицы Пристани выглядели так, как будто они находились в Японии, с красочными кимоно женщин, постукиванием деревянной обуви по тротуарам, шумливыми большеголовыми ребятишками и выставками японских товаров. Скоро оказалось недостаточно домов для новых поселенцев.

Реквизиция частных домов была первым отрезвляющим эмигрантов событием. С вежливой улыбкой и поклонами владельцы извещались, что их дом нужен для такого-то военного или чиновника и что через неделю-две они должны его освободить. Возмущенные и огорченные хозяева дома пытались протестовать, но оказалось, что им некуда направить свой протест. Многочисленные комиссии и подкомиссии все были в руках японцев и действовали по их инструкциям, так же как и пресса и суд... Не оставалось другого выхода, как освобождать дома к назначенному сроку и ютиться в комнатах или у родственников. Затем русские торговцы обнаружи-

ли, что они не могут найти сбыта своим товарам. Они были не в состоянии конкурировать с дешевыми японскими товарами, которые, освобожденные от пошлин, наводняли рынок. Продержавшись в убыток себе некоторое время, они были вынуждены продавать свои магазины японцам, которые покупали охотно. В короткое время много домов, магазинов, фабрик, заводов переменили своих русских хозяев на японских.

Безработица сильно возрастала. На каждое предложение быстро отвечал дешевый и исполнительный японский труд, и, конечно, японский хозяин предпочитал японского служащего.

Эмигрантам было предложено взять паспорта в особом бюро, где сидели японские служащие, обладавшие исчерпывающими сведениями о каждом, подающем заявление.

Жалование русских служащих в учреждениях было понижено и сравнено с жалованием японских. Они стали протестовать, доказывая, что русский стандарт жизни значительно выше, что они тратят больше на жилище, одежду и пищу, и им было указано, что то, что хорошо для японцев, должно быть достаточно хорошо и для русских.

— Вы приглашаете к себе гостей, — заметил один из чиновников, — и кормите их обедом. Ваши друзья могут покушать у себя дома. Ходить в гости — очень плохая привычка. Лучше сидите дома и работайте, и заставьте вашу жену работать, и детей, тогда у вас будет достаточно денег.

Острые когти хищника показались из-под бархатных лапок, особенно в отношении китайцев. В деревнях, лежавших в стороне от железной дороги, японское влияние чувствовалось слабо. Произошло несколько случаев, когда китайские крестьяне, не понимая, что происходит, оказали неповиновение новой власти. Расправа была жестокой. Не разбирая, кто прав, кто виноват, японские войска уничтожали целые деревни, грабили жителей, сжигали их дома. Испуганные крестьяне бросали свои поля и переселялись с семьями на юг или поближе к городу, где они могли затеряться в толпе других китайцев.

В один прекрасный день "папа, мама" нашего боя опять оказались в нашем дворе. Они были полны зловещих историй о неслыханно жестокой расправе японцев с мирным населением. При упоминании о японцах лица их искажались ненавистью, и они выражали свое презрение плевком в сторону Японии.

Соседняя с нами деревня тоже подверглась нападению, и

многие жители были расстреляны за хранение оружия, оставленного убегавшими от аэропланов солдатами.

"Добрососедские" отношения быстро портились, уступая место неприкрытой ненависти с обеих сторон. Истинная физиономия Японии, завоевателя и агрессора, была раскрыта, и японцы не пытались больше надеть маску доброжелательства. Открытая война в Маньчжурии была не под силу китайцам, но стоило только японскому разъезду оторваться от главных частей, оказаться вдали от железной дороги или населенных центров, как он уничтожался китайцами. Многие видные китайцы покидали свои дома и уезжали на юг (в том числе и семейство Сун).

В марте 1932 года Маньчжурия была объявлена независимым государством и переименована в Маньчжуго. Принц Пу-и, который специально для этого случая хранился в Японии, был провозглашен императором, под покровительством великой страны Восходящего Солнца (и в полной ей покорности). С большой помпой было провозглашено наступление новой эры Та-тун, Великого Союза.

С этого дня все жители Маньчжурии делались гражданами Маньчжуго, а приезжающие вновь китайцы рассматривались как иностранцы.

В поле, недалеко от нашего дома, стали строить аэродром. Вскоре наша тихая равнина наполнилась шумом пропеллеров прилетавших и отлетавших аэропланов. Площадь была окружена колючей проволокой с расставленными часовыми. Наша тихая улица оказалась на пути к памятнику убитых японских шпионов, сохранившемуся со времени русско-японской войны. Этот памятник сделался своего рода святыней для японцев, и вновь приезжающие считали своим долгом поехать поклониться ему. Ходили слухи, что туда будет проведено широкое шоссе, по краям которого будут разбиты парки и общественные площадки. Были люди, которые уже видели новые планы с улицами, расширенными путем снесения домов, и нашего в том числе. Все это звучало тревожно.

Положение наше ухудшилось, когда мы увидели себя окруженными проволочными заборами, с калитками на большом промежутке друг от друга, которые запирались на ночь. Такие заборы были поставлены в нескольких пригородах, создавая чрезвычайное неудобство для жителей, отделяя их от города, магазинов и рынков.

Жизнь для русского населения Харбина делалась все бо-

лее и более трудной. Эмигрантам теперь было ясно, как ловко провела их хиртая лиса Япония, — они увидели себя совершенно бесправными, зависящими от милости строгого хозяина. Особенно недовольны были те, чьи дома были реквизированы японцами.

Не избежали этой участи и мы.

Пришел к нам военный японец и на ломаном русском объяснил, что его начальник видел карточку нашего дома. Дом ему понравился, и начальник хочет жить в нем.

Это звучало так, как будто мы должны были быть очень польщены выбором, и он ожидал от нас низких поклонов благодарности.

— Это значит, что он хочет реквизировать наш дом? — сухо спросила я, не делая попытки улыбнуться.

Офицер объяснил, что его начальник — очень большой самурай, что ему нужен большой и красивый дом, и никто в доме не должен жить, кроме него.

— Мы построили этот дом для себя, разбили площадки и сад. Мы не имели в виду его сдавать. Куда же мы должны уйти?

Это японца не интересовало. Все, что ему надо было сделать, это уведомить нас, что начальник переедет через две недели, и к этому времени дом должен быть освобожден.

Я знала, что возражать бесполезно. Нам надо было переселяться во флигель.

— Могло быть хуже, — утешала я Бориса. — К нам могли поместить целую роту солдат, тогда ничего не осталось бы от дома и сада. Этот начальник будет жить один, со своими слугами, которые должны будут поддерживать порядок в доме. Офицер сказал, что он будет платить сто иен в месяц. Да и интересно посмотреть, что из себя представляет японский самурай.

Нишимура-сан был плотный, небольшого роста, с большой круглой головой и большими очками в роговой оправе. Он не кланялся и не улыбался. Его лицо было строго и неподвижно, он держался с достоинством. По-видимому, он не ожидал найти посторонних людей во дворе, посмотрел с неудовольствием, но ничего не сказал. Он поселился в большом доме один, его трое слуг заняли комнаты наверху. Готовили в чистой кухне при доме, совершенно не смешиваясь с нашими людьми.

Каждое утро блестящий новый автомобиль увозил его на службу и привозил домой около четырех часов. Вечером он никогда не уезжал из дома, и никто его не посещал. Свет

поздно горел у него в кабинете. Иногда, переменив форму на тяжелого шелка кимоно и деревянные сандалии, он вечером выходил в сад, гулял взад и вперед по главной дорожке. Если ему случалось встретить кого-нибудь из нас, он вежливо здоровался, но не делал попыток к более близкому знакомству.

У нас было такое чувство, будто это не мы, а он хозяин дома, его присутствие странно подавляло нас всех, и мы чувствовали себя свободно только тогда, когда блестящий автомобиль увозил его со двора. Бой отправил "папу, маму" в соседнюю деревню, даже гномик появлялся только после отъезда самурая и исчезал перед его приездом.

Офицер, который сопровождал Нишимура-сан в поездках, рассказал нам, что в семье Нишимура было десять харакири. Его дед, генерал, покончил с собой после одной неудачной битвы, его дядя и тетя не могли пережить смерть любимого императора, и т. д. И сам Нишимура не поколебался бы пожертвовать своей жизнью, если бы император или интересы Японии этого потребовали. Он был большой воин и патриот, который не знал страха смерти.

Проверить эти сведения было невозможно, так как сам самурай молчал.

Нишимура был символ, далекий, непроницаемый, без малейшего интереса к окружающему. Невозможно было себе представить, чтобы Нишимура проявил какие-нибудь чувства, — улыбнулся бы, например. Ближнего для него не существовало, все были дальние. Даже служа Японии, он отдавал силы не народу, а Стране, символу.

С приближением зимы Нишимура не выразил намерения оставить наш дом. Надо было приспосабливать наш летний домик к маньчжурскому холоду. Поставили печку, вставили двойные рамы, постелили на пол теплый войлок, но пронзительный сибирский ветер, обдувая беспрепятственно домик со всех сторон, проникал сквозь тонкие стены, находил лазейки через каждую щелочку. Приходилось и дома не снимать пальто, а ночью спать в теплых вещах. Но самураю было тепло. Тонны угля подвозились по первому требованию, и центральное отопление не переставало работать ни днем, ни ночью. Ему, конечно, не приходило в голову, что хозяева дома мерзли рядом с ним в легкой деревянной постройке. Прекратив прогулки по саду и не встречая никого из нас, он совершенно забыл о нашем существовании.

Все большее количество домов реквизировалось в нашем округе. Среди зимы жители выселялись без малейшего

участия к их дальнейшей судьбе. Согласно японской политике, создавались условия, невозможные для жизни, понуждающие русское население покидать город.

О, как горько жалели теперь эмигранты о прежней слабой и снисходительной китайской власти. Канули в лету розовые мечты и надежды на будущее, обещанное японцами. "Спасители" зажали их в ежовые рукавицы. Никто даже не смел протестовать и жаловаться на явные беззакония, так как закон оказался всецело в японских руках. Оставалось лишь бессильно роптать на свою судьбу, да и то негромко — расплодились доносчики, подхалимы, которые всякими способами, в том числе и доносами, старались заслужить расположение сильных мира сего, т. е. японцев. Лучшая, уважающая себя часть эмигрантов, становилась антияпонской (секретно, конечно).

Та же политика "выживания" применялась и к советской части КВЖД. Возникали постоянные конфликты с китайской частью дороги, где китайцы выполняли роль марионеток, управляемых Японией. Японцы улучшили дороги и в обход КВЖД построили параллельную железную дорогу, куда и направляли свое движение и грузы. КВЖД оказалась фактически под бойкотом и терпела огромные убытки. Эксплоатация дороги становилась невыгодной, и решено было продать ее Японии.

Во второй раз Харбин стал свидетелем того, как советчики собирались домой, но на этот раз сборы были гораздо более скромные, чем во время конфликта. Они знали по опыту, что предметы роскоши будут отбираться на границе и брали полезные, практичные вещи. Администрация позаботилась вывезти ценное оборудование мастерских и Политехникума.

И чувства, с которыми эмигранты провожали советчиков, были совсем иные, чем в первый раз. Тогда они радовались их отъезду и надеялись снова сделаться господами положения, теперь они были подавлены и грустны. Хоть и советские, все же они были свои, русские, они поддерживали русский престиж в глазах японцев. Оставленные на милость победителя, который не знал милости, эмигранты горько сознавали свою беспомощность.

Многие грустно смотрели вслед отходившим поездам. Если бы и они могли уехать! Но пути на родину им были заказаны. Надо было искать других путей. Все были уверены, что рано или поздно "благодетели" выживут их, и Харбин перестанет быть русской столицей Маньчжурии.

После отъезда советских воцарились уныние и безнадежность. Лица японцев казались особо суровыми, сердца — каменными, постукивание деревянных сандалий по тротуарам — особенно резким. Разговоры шли только на одну тему: Харбину пришел конец, надо уезжать, пока не поздно. Покупались чемоданы, карты и атласы, обсуждались Америка, Австралия, Бразилия, Аргентина, отыскивались давно забытые родственники и знакомые, писались письма и ожидались ответы. Большинство беженцев не решались сразу пуститься в далекое плавание и оседали на больших промежуточных станциях: Тяньцзин, Шанхай, Гонконг.

Борис не поддавался общему настроению.

— Мы никуда не поедем, — говорил он. — Я не брошу своего дома и сада.

Но судьба-Япония судила иначе. Однажды утром почтальон принес письмо, в котором извещалось, что в соответствии с новым планом города дорога и сквер должны быть проложены как раз на месте нашего дома, и поэтому дом предназначается к разрушению.

— Этого не может быть, — воскликнул Борис. — Только идиот не может понять, что гораздо проще отодвинуть дорогу на несколько ярдов — места сколько угодно, — чем разрушать новый красивый дом.

— Ты забываешь, что они умеют думать только по прямой линии, — заметила я.

— Я так скоро не сдамся. Мы еще повоюем.

Он оделся и ушел. Но у него еще не было опыта отношений с японскими учреждениями. Все они имели одинаково мрачный, нежилой, запущенный вид. За конторками сидели одинаковые широкоголовые, коротконогие чиновники с непроницаемыми, каменными лицами. Борис обратился к одному из них. Тот взял письмо, прочитал, вынул толстую регистрационную книгу, долго перелистывал, ничего не нашел и, подавая письмо обратно, сказал:

— Нас это не касацца.

На вопрос, кого это касается, он неопределенно махнул рукой в направлении следующей комнаты. Там повторилось то же самое. Пробродив несколько часов по лабиринту комнат, Борис оказался у конторки номер один. Тот же чиновник с тем же каменным лицом смотрел на него так, как будто он его никогда не видел. Борис понял, что круг завершился и делать ему тут больше нечего, что он не встретит ни понимания, ни участия. Они были как люди с другой планеты; хотя их телесная оболочка была подобна его, их разум, душа

были совершенно особы, непонятны, непроницаемы для него. Никогда не найти с ними общей почвы, общих интересов. Его индивидуальность, его желания и тревоги были им глубоко безразличны, и они не сделают шага навстречу ему.

Выйдя на улицу, Борис раздумывал, что ему делать дальше. Он еще оставался должен банку около двух тысяч долларов. У него возникла надежда, что так как банку невыгодно терять эти деньги, он может присоединиться к его ходатайству о сохранении дома. Но когда он изложил свои соображения директору, тот покачал головой.

— Бесполезно протестовать против постановлений японского правительства. Ничто не заставит их переменить своего решения. Мы предпочитаем понести убытки.

Когда Борис рассказывал мне о своих неудачных попытках, он прибавил:

— У меня есть последний шанс — Нишимура. Я на него очень надеюсь. Одного его слова достаточно, чтобы изменить направление дороги.

Я была уверена, что это слово не будет сказано, но молчала. Я страдала за Бориса больше, чем за всех нас, оставшихся без крова. Для него наш дом был не просто дом, это была его гордость, его удовлетворенное честолюбие, доказательство его способности завоевать принадлежащее ему место в жизни, реабилитация его в глазах недругов. Потеря дома воспринималась им как личная неудача, как вызов его самоуважению и гордости.

Вечером Борис пошел в большой дом и попросил слугу доложить о нем господину.

В доме было тепло, но комнаты выглядели холодными, нежилыми, как будто одно присутствие Нишимуры заморозило их и переменило их душу — они теперь принадлежали ему, а не Борису. Даже собственный кабинет показался Борису чужим. В нем не было ничего, кроме стола и стульев, большого портрета императора в дорогой раме, портретов военных героев и под ними — тяжелого меча, который при случае мог послужить Нишимуре для харакири.

Сидящий за столом под портретами Нишимура выглядел таким же неодушевленным, как один из них. Он вежливо встал, приветствуя Бориса, спросил его о здоровье, о здоровьи его семьи.

Было трудно, очень трудно говорить Нишимуре о своих личных делах. Но раз начав, Борис рассказал ему всю историю дома: как он увидел в американском журнале коттедж, который пленил его, как он долго искал подходящее для

постройки место и как был доволен, найдя его здесь, под старинными вязами, в просторе полей; как конфликт на КВЖД смешал все его планы и расчеты; как подрядчик сбежал с тремя тысячами, данными на материал; какие многочисленные препятствия приходилось ему преодолевать после увольнения с дороги; как ему пришлось влезать в долги, не будучи в состоянии выплатить их к сроку; как тяжело ему приходилось работать, пока, наконец, его усилия не увенчались успехом. И теперь, когда он мог с уверенностью смотреть в будущее, считая себя и семью обеспеченными доходами с дома, он получил извещение, что дом предназначен к сносу из-за проведения новой дороги.

— Ведь прокладка дороги на несколько ярдов вправо не причинит ущерба плану и сохранит ценное имущество, — убеждал Борис. — Я надеюсь, что вы разделяете мое мнение и поможете мне убедить соответствующие власти, хотя бы под предлогом, что вы не желаете оставлять дома, который для вас удобен.

Борис говорил горячо, он сам увлекся своим рассказом. Он не рассчитал одного: Нишимура был лишен воображения. Он слышал слова, но не видел картин, которые как живые вставали перед Борисом. Когда рассказ был кончен, наступило молчание.

— Император Пу-и даровал гражданство всем живущим в Маньчжуго. Наш великий император милостиво взял Маньчжуго под свое высокое покровительство. Мы все должны одинаково заботиться о благополучии и процветании нашего государства. Новый план города — очень хороший план.

Он вынул из папки сложенный вчетверо лист и разложил его на столе.

— Вот здесь пройдет прямая дорога от Старо-Харбинского шоссе к памятнику наших героев. Все, что на ее пути, должно быть убрано. А ваш сад будет использован как часть сквера для народных гуляний с площадками для детских игр. — Последнюю фразу он произнес так, как будто она должна была доставить Борису особенное удовольствие.

Помолчав, Нишимура прибавил:

— Я очень сожалею, но я ничего не могу для вас сделать.

Больше говорить было не о чем. Борис встал. Нишимура проводил его до дверей и низко поклонился. Пройдя молчаливые комнаты, которые больше не признавали его за хозяина, Борис вышел во двор. Он чувствовал себя не в силах сразу идти домой, он должен был сначала успокоиться и вышел через калитку в поле. Была мягкая, звездная ночь, с обе-

щанием весны в легком ветерке. "Недели через две надо начинать вскапывать грядки для посева", — машинально подумал Борис и тут же остановил себя. Больше не будет ни грядок, ни сада, ни дома. Большеголовые японские ребятишки будут бегать в его саду, женщины в кимоно постукивать деревянной обувью по его земле.

На душе у Бориса было очень горько. Последняя карта была бита. Больше идти было некуда, оставалось только покориться. Погруженный в печальные думы, он не заметил, как перешел границу аэродрома. Резкий окрик остановил его. Из темноты выросла фигура японского солдата. Борис попробовал повернуть назад, но солдат загородил дорогу винтовкой, продолжая кричать пронзительным высоким голосом. Ничего не оставалось, как стоять, выслушивая непонятные потоки брани. Несколько раз японец приблизил к нему винтовку, как бы собираясь выстрелить. Борис сознавал, что солдат вправе его убить, не отвечая за это по закону. Он стал низко кланяться, приговаривая: "Муси-муси, сайонара, алигато" — все, что он мог извлечь из своего скудного японского лексикона. Наконец, накричавшись вдоволь, солдат толкнул его прикладом в спину и отпустил.

В это время мы с волнением и нетерпением ждали Бориса дома. Когда прошло два часа, а он все не возвращался, я послала боя спросить у японских слуг, там ли он.

— Капитана уходи больше часа назад, — доложил бой.

Я страшно встревожилась. Куда ушел Борис? Что могло с ним случиться? Я знала, каким страшным ударом был для него отказ Нишимуры. Мы с Леной вышли за калитку и ходили взад и вперед по дороге, вглядываясь в темноту. Беспокойство мое все росло. Вдруг Лена остановилась.

— Мама, ты слышишь, кто-то свистит? Это папа! — и она бросилась ему навстречу.

Если бы я услышала голос ангела с неба, он не так обрадовал бы меня, как этот свист. Он говорил не только о том, что Борис жив, но и о том, что он в бодром духе.

Потом, рассказывая дома о разговоре с Нишимурой и встрече с солдатом, Борис сказал:

— Тот факт, что я должен был стоять перед ним, униженно кланяясь, что МОЯ жизнь зависела от произвола этого макаки, имел для меня огромное значение. Мне стало ясно как день, что жизнь здесь больше невозможна, что прошлое умерло, что мы чужие в этой стране. Любовь к дому, и саду умерли в моей душе. Как отрезало. Мне стала безразлична их дальнейшая судьба.

И прибавил:

— Надо уезжать. Подумаем — куда.

Приняв решение, Борис успокоился, и уже не оглядывался назад. Мы, как и прочие, обзавелись картами и чемоданами и обсуждали планы поездки.

С тяжелым сердцем расставалась я с Харбином, с мечтой о спокойной жизни и тихой старости в своей благоустроенной усадьбе.

Оказавшись, помимо своей воли, людьми без паспорта, мы должны были влиться в общую волну беженства и катиться, куда она нас понесет. Получив за дом десятую часть того, что он нам стоил, мы собрались ехать в Тяньцзин, первый этап беженства, и там ждать, как разовьются дальше события.

Глава 11. Унесенные ветром

В Тяньцзине мы сняли двухэтажный дом на Британской концессии. Внизу помещалась лечебница, наверху — наша квартира, а в просторном чердачном этаже — аттике — расположились девочки. Около Лены быстро образовался кружок молодежи, и много чудесных часов провели они там, читая, споря, готовясь к постановке спектаклей, а иногда и просто шаля. "Аттик" остался для них лучшим воспоминанием на всю жизнь.

В Тяньцзин переселилось много харбинцев, и моя жизнь шла приблизительно по тому же образцу, что и в Харбине: с лекциями, организацией женского клуба и проч., но в более скромных размерах. Культурными силами Тяньцзин не был богат.

Очень недоставало природы, красивых окрестностей. Город стоял на равнине у канала, соединяющего его с морем. На другой стороне канала находилась часть русской концессии со зданием бывшего консульства и большим тенистым парком.

По другую сторону города, в конце Британской концессии, был разбит прекрасный парк Country Club, открытый только для членов клуба. Очень мало русских было в их числе.

Несмотря на то, что численно русские преобладали, привилегированным положением, как в Харбине, они не пользовались. Англичане были господствующей национальностью, им принадлежали лучшие фирмы и магазины, и официальным языком был английский.

Город был разделен на концессии. Лучшей, центральной была английская, где помещались магазины, конторы, приемные врачей и юристов. Общение с Китаем было более тесное, чем в Харбине. Многие богатые китайцы жили на концессиях, многие служащие в банках и конторах были прекрасно образованные китайцы, и, главное, сообщение было на рикшах. У Бориса оказалось много китайских пациентов.

Летом наступали фу-тяны, периоды страшной жары, когда неподвижный, насыщенный влагой воздух висел над горо-

дом днем и ночью. Было трудно дышать, при малейшем усилии люди покрывались потом, вентиляторы не умолкали, перемешивая все тот же застоявшийся воздух. Раздетые китайские кули и прислуга спали вповалку на мостовых и тротуарах.

По совету знакомых я с девочками поехала в Западные горы, верстах в тридцати от Пекина, где в китайском монастыре можно было снять помещение под дачу.

Монастырь Во-Фу-Ссы стоял на пригорке, окруженный древней облупившейся стеной. Ворота в чисто китайском стиле — кирпично-красные, с чешуйчатой зеленой крышей, увенчанные золотым гребнем и перевитые драконами — вели в первый двор. Там мутно-зеленое озеро с перекинутым посредине горбатым мостом и стаями золотых, красных, пятнистых рыбок с выпученными глазами и мягко стелющейся вуалью плавников.

В первом храме — толстый Будда. Столько земного, утробного блаженства в лоснящемся лице, со складками жира на подбородке, в огромном животе, в довольной улыбке, как будто он, переваривая пищу, отдыхает после Лукуллова обеда, проведенного в веселом обществе. Только в лукаво прищуренных глазах и высоком изломе бровей остались черты его индусского родоначальника. Толстяка охраняли четыре воинственных стража, попиравших ногами жалких уродливых человечков. Четыре стража олицетворяли четыре стороны света и четыре сезона. Черный — север и осень, красный — юг и весну, голубой — восток и лето, белый — запад и зиму.

Во втором дворе помещался собственно монастырь с общей всем монастырям атмосферой отрешенности от мира, ослепительной чистотой, клумбами цветов и благовонными запахами курений. В саду стояла поддержанная подпорками пара глубоких старцев — деревьев Ро-Лю, которые давали, по преданию, плоды Вечной жизни. Там же, водруженные на спины черепах, стояли высокие каменные таблицы, восхваляющие красоты и объясняющие значение монастыря. В храме, где происходили моления, — Будда, со звездой-алмазом во лбу, в синей чалме, значительно более индусски "божественный", чем толстяк первого храма. Перед Буддой жертвенник с приношениями, искусственными цветами, гонгами, курительными свечами.

По бокам храма стояли мертвенные, бесцветные фигуры Бодисатв (учеников), а позади Будды — окутанная зелеными облаками богиня милосердия Куань Юнь простирала несколь-

ко пар рук навстречу страдающему человечеству.

Главной святыней монастыря был храм Спящего Будды, откуда и название Во-Фу-Ссы. На фоне золотых стен и синего купола потолка лежала огромная бронзовая статуя Будды, одетого в красную хламиду, с босыми ногами. На полу и на полках — длинный ряд туфель с загнутыми вверх носками, приносимых молящимися на тот случай, если Будда захочет встать и посмотреть, что делается в мире.

Покой, царивший в стенах монастыря, говорил о том, что здесь ничего не случается, ничего не меняется. Десять веков назад эти стены и храмы видели то же самое, что и сейчас. Те же обряды, те же, хоть и меняющиеся, но остающиеся неизменным типажом, простые лица монахов, то же гнусавое, протяжное пение, та же условно-ритмичная механичность движений, только уменьшались толпы верующих и оскудевала монастырская казна, что заставляло монахов искать побочных доходов в виде сдачи помещений частным лицам. Но привходящие элементы, более или менее длительно пребывающие случайные посетители не оставляли по себе никакого следа в монастырских стенах.

Дачные помещения располагались по бокам монастыря в виде замкнутых стенами двориков с двумя симметричными постройками по краям, типично китайскими, с черепичной, загнутой по краям крышей, украшенной мифическими уродливыми фигурками, с открытой верандой на деревянных резных колонках. Две прохладные комнаты были разделены резной перегородкой. Там стояли табуретки, диванчики и столики — все низенькие, из резного, темно-коричневого, тяжелого дерева.

По утрам монастырский слуга наполнял чан студеной прозрачной водой, появлялись разносчики с продуктами. Готовили мы на мангалах.

За монастырем протекал быстрый холодный ручей. Тропинка вдоль крутого берега вела к его истоку. Там в пещере когда-то жил отшельник монах. Красивое это было место, с лугами душистых цветов и трав, уходящими все выше в гору, с нетронутым миром насекомых и птиц, — мирное и приветливое. Вкусно было пить выходящую из земных глубин чистую воду. Идя вверх по ручью, мы находили в его русле ямки с водой, доходящей до пояса. Дух захватывало, когда погружались в холодную воду, но зато как приятно было потом растянуться на солнце на плоских камнях.

В монастыре и окрестных домах жило несколько русских семейств, и мы часто отправлялись вместе на осликах

или рикшах на дальние прогулки. Самая интересная была в монастырь Пи-Юн-Ссы (Храм лазоревых облаков), который стал свидетелем умирания древнего буддистского культа.

Монастырь был построен в 1366 году. С тех пор он много раз реставрировался и украшался императорами, не жалевшими средств для приумножения его великолепия. Его стены вмещали огромные толпы молящихся, принимали императоров и вельмож. Жертвенники ломились от богатых приношений. Не угасая, курились благовонные свечи. Лучшие художники и скульпторы приглашались для украшения храма, о чем свидетельствовали сохранившиеся барельефы высокой художественной ценности. Старые монастыри процветали, когда им покровительствовали императоры и мандарины. Новое правительство Китая не было заинтересовано в сохранении старого культа, оно не думало о поддержке никому не нужных храмов и оставляло их разрушаться, покрываться пылью и паутиной. Пи-Юн-Ссы являл собой печальную картину заброшенности и разрушения. Старые боги, больше ненужные, безжалостно попирались, предавались забвению — поломанные, побитые, выброшенные идолы. Кое-где они еще стояли с остатками позолоты, в лоскутьях когда-то драгоценных тканей.

Несмотря на печать запустения и заброшенности, Пи-Юн-Ссы все же был прекрасен по своему местоположению и несравненным памятникам искусства. За воротами открывалась широкая, высокая лестница, ведущая к храмам. Можно было нанять удобное плетеное кресло, укрепленное на длинных бамбуках, которое несли на плечах кули. В первом дворе знакомая по Во-Фу-Ссы картина — пруд с золотыми рыбками, добродушный толстяк Будда, охраняемый четырьмя стражами. Потом, через ряд двориков с полуразрушенными храмами и остатками былого искусства, мы подошли к самой высокой части монастыря, Марбль Ступа, месту бывшей гробницы Сун Ят-сена. По широкой лестнице с бесконечным числом ступеней мы поднялись наверх. Вид был изумительный — на все четыре стороны открывалась широкая, прекрасная долина.

Спутники мои устали и остались внизу, а мы с Леной решили посмотреть, что находится в стоящем в стороне ветхом сарае.

Грязный привратник, получив на чай, лениво открыл двери в длинную, мрачную, сырую галерею, где в несколько продольных и поперечных рядов стояли статуи Будды и его учеников. Неожиданно для себя мы оказались среди совершенных произведений искусства, в храме пятисот Будд.

Каждый, казалось, жил своей жизнью, имел свою отличную позу, свое выражение лица. Среди типичных китайских обликов вдруг попадались курчавые волосы и широкие носы негритянского типа, длинные усы и широкие черепа монголов, горбатые иудейские носы. Выделялся особенно свирепый, краснокожий, большеглазый, обожествленный китайцами Марко Поло.

Лена отстала, а я, потеряв направление, блуждала среди множества странных — желтых, красных, черных — фигур, местами поломанных, покривившихся, с облезшей краской, одетых в старинные, обветшавшие до лохмотьев наряды. Жуткое чувство охватило меня: я — одна, живая и чужая, среди мертвецов. Но они и не мертвецы — так естественны позы, столько выразительности в жестах, столько жизни в глазах. Чем дольше я смотрела, тем больше замечала что-то общее в разнообразных выражениях лиц. Они все смеялись, одни сдержанно, едва раздвинув губы, другие, открыв рты и как бы колыхаясь от смеха. 500 пар глаз, раскосых, продолговатых, узких, подмигивающих, откровенно смеющихся смотрели на меня, словно хотели сказать, что они все до одного познали истину, нашли в познании покой и блаженство. И меня, не нашедшую, не познавшую, смертную среди бессмертных, они приглашали смеяться вместе с собой. "Познай истину и ты будешь вечно блажен и радостен". Я переводила глаза с одной фигуры на другую — все, все знали, кроме меня. Все улыбались понимающей дружелюбной улыбкой. "Познай, и будешь счастлив". Вглядываясь в такие непохожие, но освещенные общим внутренним светом лица, я в первый раз поняла, что познание истины — не тяжкий подвиг, не суровый аскетизм христианства, а блаженная легкость, радость, неиссякаемый источник веселья.

Лена прервала мои размышления.

— Ужасно, ужасно отдать на гибель и разрушение такие сокровища! Смотри, над той группой крыша совсем провалилась, хоть бы передвинули их в другое место.

— Да, их надо бы перевезти в музей. Но никто этого не сделает — денег нет, и никто этим больше не интересуется.

Мы присоединились к отдохнувшей группе и направились домой. Рассказывать о своем впечатлении от Храма 500 Будд мне не хотелось.

Гуляя в горах, мы несколько раз наталкивались на совершенно разрушенные храмы. Лишь пруды с золотыми рыбками оживляли печальную картину умершего культа, но и они со временем обречены были на вымирание.

В то лето у Лены начался роман. Развязный молодой человек, получивший воспитание в Америке, не был ни умен, ни красив, но он подошел к Лене не как к идеалу, издали, а с американской свободой нравов, как к нормальной 22-летней девушке. И Ленина реакция была нормальной. Более опытная или более легкомысленная девушка не придала бы, вероятно, особого значения его ухаживанию, но Лена, с ее прямотой и честностью к себе, считала, что поцеловавшись, нужно выходить замуж. Роман продолжался все лето и в городе завершился свадьбой.

Время показало, что все вышло к лучшему. В Америке Лена получила возможность развития всех своих способностей и их признания. С мужем она разошлась и встретила другого, более соответствующего ее душевному и умственному складу.

После отъезда Лены мы осиротели. Я лишилась друга, Таня — руководства, особенно нужного в ее переходном возрасте. Она привыкла бежать со всеми своими радостями и горестями к Лене. Между Таней и мной стоял барьер материнского авторитета, который мы обе не умели перешагнуть.

В политической атмосфере Тяньцзина также произошла перемена. Не довольствуясь завоеванием Маньчжурии, Япония двинула свои войска в Китай. Китай защищался, но его недисциплинированные, плохо организованные войска были бессильны остановить или даже значительно задержать сильную японскую армию.

Тяньцзин был отдан без боя, и немедленно японцы принялись хозяйничать. Британская, Французская и Итальянская концессии остались более или менее самостоятельными, но на бывшей Русской концессии японцы чувствовали себя полными хозяевами. На границах ее были поставлены заставы, охраняемые японскими караулами. У проходящих спрашивали паспорта, причины посещения, и, в зависимости от произвола охранника, пропуска давались или нет. Китайцев задерживали часами.

"Белых перчаток" в отношении к эмигрантам не было. Был дан приказ всем русским явиться на собрание на площади, где японский офицер на приличном русском языке внушал нам, что мы должны подчиняться японской власти и исполнять все постановления, и что для связи с японской администрацией будет организован комитет, который будет выдавать паспорта.

Антикоммунистический комитет, или, как он стал вско-

ре называться, ”Белый дом”, составился не из эмигрантов, пользовавшихся доверием и уважением, а из лиц, наименее популярных среди эмигрантов, но усерднее других выслуживавшихся перед хозяевами японцами.

Провозгласив себя верховной властью, ”Белый дом” стал наводить порядки. Объявлена была всеобщая регистрация с целью выяснения, кто достоин эмигрантского паспорта.

Мы были уверены, что нам, как и в Харбине, в паспортах будет отказано, но, к счастью, секретарь комитета был пациентом Бориса, и, благодаря его влиянию, паспорта мы получили.

Удивительно, как скоро ”Белый дом” встал на путь советского ГПУ. В приказе от 12 ноября 1937 года говорилось:

”Новый путь российской эмиграции должен быть абсолютно честен и лоялен власти северного Китая (т. е. Японии), и на своем идейном пути эмигранты обязаны отрешиться от личных интересов и хорошей или дурной чувствительности в отношениях друг друга, ставя в основу факты и лица -- без какого-либо забрала.

Комитет приступает к очистке эмигрантских рядов от скрытых коммунистов, им сочувствующих и им помогающих, также как и от элементов, принадлежащих к уголовной категории, выполняя эти задачи строго, но справедливо.

В проводимой работе держать строго установленный центром курс, связанный с властью (Японией) и, обсуждая жизненные положения, решать их способами, отрицающими излишнюю социалистическую и демократическую болтовню, освящая их фактами и полной беспристрастностью”.

Слог приказов ясно говорил о малой культурности наших правителей. Особо цветистые приказы издавались по Культурно-воспитательному отделу.

Приказ от 18 ноября: ”Работа Культурно-воспитательного отдела является обнимающей все стороны эмигрантской жизни, каковая должна сойти с мертвых мест на широкий антикоммунистический шлях, на котором везде имеются пункты, где ведется частичная культурно-воспитательная работа, которая при помощи Культурно-воспитательного отдела должна связывать свои ручьи с течением общей антикоммунистической реки. Начальник отдела должен принять все меры, чтобы связать воедино все культурно-воспитательные течения и предоставляя каждому свое русло, помогать им, чтобы они шли в одно антикоммунистическое море”.

”Белый дом” взялся за дело круто. Обложил эмигран-

тов постоянными налогами и, кроме того, обкладывал их неожиданными поборами по разным случаям. Были случаи, когда "непокорных" держали в подвалах, были пропажи и убийства. Вскоре для рядового обывателя "Белый дом" сделался так же страшен, как для совдепа Лубянка. Эмигранты опутывались обязательными постановлениями и приказами. Податься было некуда.

Вероятно, среди руководящих были истинные патриоты, верившие в то, что они делают великое дело, работая на освобождение родины от коммунизма, но то, что вся их работа шла с одобрения и под руководством Японии, заставляло сомневаться даже и в их искренности. Майор Таки, как хозяин, открывал торжественные собрания и произносил речи, он делал смотр войскам на парадах, был почетным гостем на балах. Эмигрантские правители демонстрировали не только послушание, но и подобострастие.

Военный отдел Антикоммунистического комитета основывался на принципе, что все чины Императорской и Белой армии находятся лишь в отпуску, но отнюдь не освобождены из воинских рядов, поэтому они всегда должны быть готовы к выполнению своего долга перед родиной. Военный отдел произвел регистрацию всех эмигрантов, подлежащих военному учету и подразделил их по родам оружия, чинам и званиям. Был сформирован волонтерский отряд из молодых людей призывного возраста, охранная рота, пехотный и казачий полки, организованы скауты и спортсмены-соколы.

Экономический отдел открыл Российское кредитное товарищество, куда эмигрантам энергично "советовали" вносить свои деньги, устроили кооператив. Выдавали товары по книжкам, которые могли получить только зарегистрированные эмигранты.

Культурно-просветительный отдел зорко следил за тем, чтобы эмигранты не сбивались с пути антикоммунизма, установленного комитетом. Предупреждение: "Комитет, четко указав, что население СССР не является верноподданными последнего и только принуждено носить позорное звание советского гражданина, в отношении советских подданных за границей определяет их как добровольных слуг коммунистического СССР, красных агентов, коммунистический элемент. И не разрешает эмигрантам не только иметь деловые отношения с советскими подданными за границей, но и вообще иметь с ними какое-нибудь знакомство. Советский подданный за границей — это в миниатюре Сталин, Ягода, Берия, Литвинов, и что может быть общего между ними и граждани-

ном России, кроме обоюдной ненависти. С этой точки зрения необходимо довести до сведения эмиграции, что "Русская парикмахерская" на Козинс Род является советским предприятием, так как владелец ее — добровольный советский подданный, жена также, а сын даже был арестован за "чубаровщину".

Непослушным грозили изъятием паспортов и выселением из Тяньцзина.

У меня было недоразумение с Культурно-воспитательным отделом. Я подготавливала тургеневский вечер с кружком молодежи, оставшимся мне в наследство от Лены. За три дня до вечера меня вызвали в "Белый дом" — значит, грозила какая-то неприятность. Здание было красиво, но комнаты так же пусты и уныли, как в любом советском учреждении. Заведующий отделом принял меня несколько смущенно:

— Вы, мадам, конечно, высококультурная личность. Мы ничего не имеем против, что вы лекции читаете и вечера устраиваете. Но узнав о предполагающемся спектакле и проверив участников, мы узнали, что там есть и советские, и эмигрантские дети. Такое смешение недопустимо.

— Они все учащиеся местных учебных заведений, у них и паспортов еще нет. Наша работа не имеет никакой политической окраски. Мы изучаем русских классиков, и это одинаково делают и в советских, и в эмигрантских школах.

— Паспортов нет у детей, но они есть у родителей. И это вы должны принимать во внимание, прежде чем допускать кого-либо в ваш кружок, — возразил заведующий.

— Я не могу исключать из кружка молодежь, которая уже несколько лет в нем участвует, любит и ценит его, только потому, что у их родителей советский паспорт, — стояла я на своем. — Единственное, что я могу обещать, это не касаться политики в кружке.

Видя мое упорство, заведующий стал сдаваться.

— Я не касаюсь вашей работы в кружке, но я настаиваю, чтобы в вечере не участвовали вместе советские и эмигрантские дети.

Мне пришлось уступить.

— Я выясню, кого больше в числе участников. Но вечер все-таки состоится, — прибавила я.

Было ясно, что "Белый дом" хотел сорвать вечер, но мы решили во что бы то ни стало провести его.

Оказалось только двое детей с родителями-эмигрантами, в том числе моя Таня. Их спешно пришлось заменить совет-

скими. После усиленных репитиций и волнений вечер успешно прошел в назначенный день, хотя мне и не пришлось им руководить за кулисами, а только наблюдать, сидя среди зрителей.

Я ждала неприятностей, но ничего не последовало.

Мы, как и большинство бывших советских, были выделены в группу "аполитичных". Мы были не "настоящими" эмигрантами, доверия не заслуживали, но зато пользовались относительной свободой. Требовался публичный отказ, путем объявления в газетах, от советского подданства и просьба о принятии в эмигрантское. Газеты пестрели подобного рода "литературой", и заявления принимали все более и более прагматический характер. Вот одно из них:

"Автоматически ввергнутый в советский свистопляс, я был свидетелем и большевистского скудоумия, и большевистской наглости. Непередаваемо чувство освобождения, захватившее меня по приезде в Тяньцзин, непередаваем восторг расставания с советским паспортом. Я имею все основания ненавидеть советский строй, и с этой моей великой ненавистью прошу принять меня в ваши славные ряды бойцов за здоровые национальные идеи. Заверяю, что впредь ничего общего с советской властью иметь не буду, и звание российского эмигранта буду носить достойным образом".

"Комитет был милостив ко мне, принял во внимание мое искреннее раскаяние и разрешил принять меня в эмигрантское состояние. Обещаю ревностно соблюдать все обязанности и быть во всем примерным эмигрантом" — заявляет другое.

При заявлении подавалась анкета, почти копия советской, с теми же вопросами: что делали и где служили до 1914 года и до 1917 года? Кто из родных состоял или состоит в советском подданстве, были ли в советском подданстве и с какого времени, и что побудило взять таковое? И т. д.

Нам было не по дороге с "ура-патриотами" "Белого дома", так же как и с коммунистами Москвы. И те, и другие были лишь узурпаторы имени русского народа, пользующиеся этим именем для своих целей, навязывающие другим свою идеологию.

Мы исполняли обязательные постановления, в виде паспортов, денежных поборов и проч., но стояли в стороне от общественной жизни эмигрантов, не посещали вечеров и балов, в изобилии устраивавшихся Женским отделом комитета.

Общественная и культурная жизнь советских и "аполитичных" граждан концетрировалась вокруг еврейского

клуба "Кунст". Там происходили лекции, доклады и вечера. Там кружок молодежи поставил "Суд над Анной Карениной" и затем "Суд над Митей Карамазовым". Возражений от Культурно-просветительного отдела не последовало, несмотря на смешанный состав участников. Женский клуб устроил торжественный пушкинский вечер к столетию смерти поэта.

Было несколько частных очагов культуры, таких, как школа Барташева, где одно время училась Таня и я преподавала французский язык, или литературные вечера у милой и гостеприимной г-жи Стил.

Таня, как вылупившаяся из куколки прелестная бабочка, порхала от избытка радости жизни, танцевала на балах, флиртовала, пробуя вновь открытую силу женского обаяния на каждом. И редко кто оставался неопаленным, хотя бы слегка, горячим блеском темных очей. Я сначала относилась серьезно к появлявшимся в нашем доме молодым людям. Но не успевала я узнать, кто они такие, как они исчезали и появлялись новые жертвы. Таня не любила читать, неважно училась, жизнь захватывала ее, мертвецы ее не интересовали.

— Таня, — говорила я ей, — ведь нельзя же прожить всю жизнь, порхая. Ты должна учиться, обогащать свой ум и душу чтением, опытом других, великих, людей. Нельзя жить пустотой.

Но только она садилась за книгу, кто-нибудь приходил или звонил телефон, и книга оставалась раскрытой все на той же странице.

— Надо бы выгонять этих мальчишек, — жаловалась я Борису, — они ничего не дают ей делать.

— Не поможет, — философски отвечал он, — закроешь дверь, влезут в окно. Они же не делают ничего дурного... Уж очень она хороша, — прибавил он, помолчав.

Таня была его любимицей.

Борис был очень занят. Пациенты, кажется, были единственным слоем населения, где не было политического различия. Лечились и советские, и эмигранты, и китайцы. У него появилось новое увлечение — марки, и он просиживал ночи за коллекциями и каталогами.

По мере того, как крепче сжимался победоносный японский кулак, росла и наша тревога за будущее. Правда, отдав русское население под надзор "Белого дома", японцы им особенно не занималось. Их внимание было обращено, главным образом, на преследование англичан. Сочувствующие державы, которые выступили с протестами против поведения Японии, видя ее силу, мало-помалу ретировались и советова-

ли покориться. Всем было совершенно ясно, что остановить Японию можно только вооруженной силой. А кто мог воевать?.. И гордая Англия проглатывала обиды, — покушения на жизнь ее граждан, реквизицию и уничтожение имущества, и убытки, убытки... А так как благосостояние всего города и многих русских зависело от английских фирм, то все тревожились за свою судьбу.

Шанхай был взят японцами, ожидался большой бой под Нанкином, который укреплялся и запасался припасами на случай осады. Но японские войска быстро прорвались в город, и последняя надежда отстоять свое право на жизнь у китайцев рухнула.

Нам стало ясно, что с японцами жить нельзя. Нужно было пресмыкаться перед ними, как делал "Белый дом", или уезжать. Опять пошли разговоры об Америке, Австралии, Бразилии... Скоро выяснилось, что Америка, куда мы больше всего стремились, была для нас недоступна: за нас троих нужно было предъявить 18 тысяч долларов, которые должны были оставаться нетронутыми в течение пяти лет. Такой суммы у нас не было. Лена тоже не могла нам помочь, так как еще не получила гражданства. Борис решил послать заявление с просьбой о визе в Австралию.

— Почему в Австралию? — недоумевала я. — На край света? И ведь мы ничего о ней не знаем.

— Узнаем в Британском консульстве, когда получим визу. А что на край света — это хорошо. Бежать дальше будет некуда.

Визу мы получили довольно скоро, но сведения об Австралии в Британском консульстве были скудные, так же как и в учебниках географии. Узнали адрес одних знакомых, которые уехали в Сидней два года назад. Ответ от них был весьма неблагоприятный: зарабатывают хорошо только рабочие, особенно специалисты в какой-нибудь отрасли. Интеллигентный труд применения не находит, особенно труд иностранцев, которые не совсем хорошо знают язык. Русские работают или на фермах, или на фабриках, моют посуду в ресторанах и т. п. Доктора права на практику не имеют. На меня письмо произвело удручающее впечатление, но Борис отнесся к нему легко — раз он принял определенное решение, препятствия его не останавливали.

— Я уверен, что все это не так страшно, — подбадривал он меня. — Да и выхода другого нет: в Бразилии, в Аргентине, говорят, еще хуже.

Мы начали учить английский язык. При знании двух ино-

странных языков он мне давался сравнительно легко за исключением произношения. У Бориса же было мало времени для занятий.

Ликвидировать имущество было чрезвычайно трудно: все продавали, никто не хотел покупать. Дома, мебель, ковры шли за бесценок.

Объявление Второй мировой войны заставило нас торопиться с отъездом. Пароходы в Австралию вообще были редки, а теперь рейсы грозили прекратиться совсем.

Мне было очень горько расставаться с Китаем. Здесь мы нашли свое место и признание. Были люди, с которыми нас связывали общие интересы. Была обеспеченная жизнь, известное общественное положение, прислуга, которая делала всю работу по дому, оставляя много времени для занятий тем, что мне было интересно. Я успела напечатать две книги: ''От 18 до 40'' и ''Повесть об одной матери''. Последнюю печатала эмигрантская типография с одобрения начальства. Корректуры приносили мне в последние дни перед отъездом, а книгу, еще не сброшюрованную, принесли на вокзал. И все это я должна была оставить и мыть посуду в ресторане... Да есть ли там еще рестораны, на краю света?..

Сборы были долгие. Имея лишь скудные сведения о стране, куда мы ехали, мы брали много ненужных вещей. В нашем багаже было 52 места, из которых по крайней мере половина оказалась потом ненужной. Сборы постоянно прерывались — то к нам заходил кто-нибудь прощаться, то нас приглашали в гости.

Женский клуб устроил мне торжественный прощальный обед с адресом, речами и подарками. Прощанье с молодежью было еще более трогательным.

Я уезжала с тяжелым сердцем, будущее казалось окрашенным в самые мрачные тона. Таня тоже ходила грустная, переживая разлуку с очередным героем.

В Гонконге, ожидая отправки, провели две недели. Ленина подруга, которая пригласила нас остановиться у нее, жила в Колуне, густо населенном разноплеменной, разноязычной, разноликой толпой жителей. Все — под отеческим, но строгим оком Британии. Порядок охранялся маскарадными воинами-индусами с точеными смуглыми профилями, черносливами глаз в сливках белков, с жемчугом зубов и затейливо повязанными тюрбанами.

Был китайский праздник: неумолкаемые звоны гонгов, барабанов, пронзительной музыки китайских инструментов; нескончаемые процессии с полотнищами разноцвет-

ных знамен, с идолоподобными насурмленными "красавицами" на носилках, плясунами и фиглярами и неизменным царем празднества — драконом, — мишура вперемешку с коренной грязью зрителей и неутомимых участников процессий.

Ни днем, ни ночью не умолкал город. Клякали деревянные подошвы, звякали маджанные кости, в китайские музыкальные ритмы вливалась музыка из ресторанов и притонов. Каждый старался развлекаться изо всех сил.

Гонконг, красавец город, в горах, на берегу глубоко вдающегося в сушу залива, — главный административный, деловой, коммерческий центр, с красивыми зданиями, прекрасными ресторанами и отелями, напоминал кусочек Европы. Его главное очарование — близость гор. Несколько минут на трамвае вверх, и город пропадал. Обступали высокие вечнозеленые растения, цветущие кустарники и деревья, горные дорожки уводили в чащу, с площадок открывался чудесный вид.

Мы с Таней проехали в университет, где учились несколько знакомых по Харбину молодых людей. Таня скоро нашла старых друзей и получила приглашение на бал. Так как длинного платья у нее не было, то она нарядилась в мое, черное с золотом, и была в восторге, что выглядела старше своих семнадцати лет. После бала появился хвост поклонников, и каждый день наполнился развлечениями. Таня была разочарована, что так быстро появился наш пароход.

"Нанкин" был для океанского небольшим — семь с половиной тысяч тонн, старый, но чистый — скребли каждый винтик, каждую кнопку. Ввиду военного времени мы ночью шли с потушенными огнями и, к огорчению Тани, никаких развлечений не полагалось. Китайцы набили нижнюю палубу, у нас же пассажиров было немного. За нашим столом сидела семья шотландцев: муж, жена и десятилетний сын. Они ехали в Австралию в отпуск, но о стране тоже ничего не знали. Муж был бравый полицейский, без признаков культуры, но и без претензий, с завидным аппетитом — не пропускал ни одного блюда. Он громко смеялся собственным шуткам, которые мы, увы, не понимали. Жена была недурна и не так проста, как муж. Она ходила в удобных спортивных брюках и блузках, любила петь шотландские песни. Я ей аккомпанировала. Наше знакомство сводилось к музыке и дружелюбным улыбкам. Я была очень обескуражена тем, что не понимала их английского, и на мои, тщательно приготовленные

фразы, я постоянно слышала: "I beg your pardon?" Значит, и они меня не понимали.

Кроме шотландской семьи был еще пассажир, которого мы прозвали Man about world — настоящий космополит, везде бывал, все видел и знал. Главным его интересом были кабаре и дансинги. Занимался он, вероятно, какими-нибудь темными делами. Показал нам фотокарточки одной харбинской танцовщицы: "Это моя невеста". Я легко могла себе представить, какие сказки он рассказывал доверчивой, глупенькой девочке и как на зависть подругам она хвалилась, что у нее жених, богатый англичанин. По всей вероятности, никогда больше она его и не видела. Он был к нам очень внимателен, на Таню облизывался, как кот на сало, но вел себя корректно. Учил ее палубным играм, вечерами выносил на палубу виктролу, и они танцевали. Я ему не доверяла: в глазах и в мягких движениях притаился хищник, — и не оставляла Таню с ним одну.

Я пользовалась случаем узнать подробнее о жизни в Австралии и была довольна, что мы понимали друг друга.

Первые дни море было сравнительно тихо, и мы проводили дни на палубе, любуясь морем и островами, иногда настолько близкими, что можно было рассмотреть пальмовые леса, густые заросли тропических растений, хижины и лодки. Потом закачало. Океанская волна, серьезная, напористая, как будто и не так высока, но поднять голову с подушки не дает. В голове тупая боль и противная, ватная пустота. Жизнь как будто остановилась — не то явь, не то сон. Я открыла, что лучше всего лежать без движения, вытянувшись, сросшись с постелью, поднимаясь и опускаясь с волной. Как только пробовала подняться, клубок противной тошноты подступал и выворачивал усталый от надсады желудок.

Хворали только мы с Таней. Борис наслаждался жизнью, без стеснения изъясняясь на малопонятном для англичан языке.

Шотландская семья была жизнерадостна, гуляла, купалась, ела с отменным аппетитом, не желая терять ни одного дня долгожданного отпуска.

Молоденькие, загорелые, франтоватые моряки-офицеры не были обременены службой и проводили большую часть дня в бассейне или в палубных играх. Приглашали Таню, но ей удавалось лишь ненадолго пересилить себя. Наш purseur, который был особенно настойчиво внимателен к ней, стучал вечером в дверь каюты, приглашая ее гулять. Она поднима-

лась на минуту и снова ложилась, досадуя на себя. Надо сказать, что я была довольна, что прогулки не состоялись.

В воскресенье капитан обедал за нашим столом, и все прочувствовали эту честь, кроме нас с Таней — мы обедали или, вернее, ничего не ели у себя в каюте.

Проходили дни. Мерно потряхивая, небрежно поплевывая черным дымком в ясное небо, пробивал себе дорогу наш пароходишко, железная букашечка в голубой беспредельности. Паслись ветром белые барашки по волнистому полю. Проплывали мимо острова, вулканические и коралловые — густо заросшие, ярко зеленые пятна. Выпархивали из волн летучие рыбки, сверкали на солнце и падали вглубь. Вдруг опустился на перила кингфишер с потрепанными, помятыми крылышками, полетал вокруг и исчез. "Скоро будем в Рабуле", — сообщил Man about world, который там покидал пароход.

Мы остановились в виду острова, не подходя к берегу, и были окружены туземными лодками, продающими кокосовые орехи и тропические фрукты. Лодки были вырублены из одного куска дерева и удерживались в равновесии добавочной частью из продольного и поперечных бревен. Сидящие в них существа, негритянского типа, с шерстисто-курчавыми волосами, широкими приплюснутыми носами, с трубками в зубах, оказались женщинами. Моряки звали их всех Мэри. У одной из таких свирепо-добродушных Мэри мы купили связку бананов, огромных, сладко-мучнистых, и кокосовые орехи, которые нам не понравились.

Высокие горы лезли вверх почти от самого берега. Один вулкан был еще свеж от недавнего извержения — голый, исполосованный лавой. Рощи кокосовых пальм напоминали издали леса Мезозоя. Примитивные туземные жилища из пальмовых ветвей и листьев стояли на сваях у самой воды.

Пристали в глубокой бухте. Man about world, который на лодке раньше выехал на берег, встретил нас на пристани, угостил мороженым и прохладительными напитками в аптеке на американский манер, нанял автомобиль и часа четыре возил нас по острову. Собственно, города не было. Разбросанные сараеобразные постройки, окруженные крытыми верандами, расползлись в ширину, — лишь бы уловить ветерок, прохладу, защитить от неумолимого тропического солнца. На многие мили тянулись рощи кокосовых пальм, стройных, чешуйчатоствольных, с веерами перистых листьев на вершинах, с подвешенными грудами коричневых крупных орехов. Для нашей забавы Man about world за мелкую монету послал

чернокожего на вершину пальмы достать орехи. Тот, надев на ноги соломенную перевязку и обхватывая ствол попеременно обеими руками и ногами, быстро вскарабкался наверх. Маленький, ловкий как обезьяна человек был в восторге от того, что мы взяли себе только один из сброшенных им орехов, оставив остальные ему. Подошла его жена с ребенком, подвязанным грязной тряпкой и сосущим черную отвисшую грудь. Другой маленький цеплялся за подол юбки. Она также выразила удовольствие и благодарность за оставленные орехи.

За плантациями наступали джунгли: манговые деревья с глянцевитыми, темно-зелеными листьями, высочайшие туи, мимозы с гроздьями красных и желтых цветов. Розовые, желтые, красные большие цветы покрывали кусты и деревья. Деревья были перевиты сплошной сетью лиан. Непролазная тропическая чаща, устланная на земле папоротниками и нежнозелеными травами. Джунгли — это борьба за существование, за каждую пядь земли, за каждый луч солнца. Тянутся вверх деревья, стараясь перегнать друг друга, карабкаясь все выше и выше. Гибнут непоспевающие, душатся лианами.

Под пальмами недалеко от пристани неподвижно сидели туземцы — одни темно-коричневые, другие совершенно черные, как наваксенные. Они были не так отталкивающе безобразны, как их женщины, и не лишены кокетства. У многих лица были раскрашены и волосы обесцвечены перекисью водорода сплошь или полосами. Вокруг бедер они были опоясаны яркими кусками материи. Лица не выражали ни любопытства, ни интереса к происходящему вокруг. Вероятно, эта пассивная неподвижность выработалась как приспособление к климату. Вся природа как будто замерла в парном, душном безветрии.

Это была экзотика, те "райские острова", о которых романтически мечталось в юности, но вблизи они выглядели не так заманчиво. Было душно, парно и, несмотря на обилие растительной жизни, мертво, неподвижно, и жить здесь не хотелось бы.

Man about world подвез нас к пристани и попрощался сердечно, с долгим взглядом в сторону Тани.

Чем ближе подходил пароход к Австралии, тем больше качало. В Брисбене в первый раз вступили на австралийскую землю. Стояли целый день. У нас были из Тяньцзина посылки для двух русских, и мы отправились их разыскивать и заодно посмотреть город. Шотландская семья присоединилась к нам, и мы взяли автомобиль в центр города. Брисбен оказался

большим городом с прекрасными магазинами, изобиловавшими всякого рода товарами, с красивыми витринами, хорошо одетыми женщинами. За центром тянулись пригороды со стандартными деревянными домами "на ножках" для прохлады, в тихих, чистых, уютных улицах. Мы долго путались в этих улочках, разыскивая нужный нам адрес. Приветливые жители приходили на помощь, иногда не ожидая вопроса с нашей стороны, видя, что мы в затруднении.

Наш первый шаг на австралийской земле оказался ложным: разыскиваемый нами человек оказался видным коммунистом, известным властям, и впоследствии знакомство с ним ставилось нам в вину. Несмотря на свой коммунизм, он имел собственный дом и пару автомобилей. Его толстая жена, австралийка, угостила нас малосъедобным обедом, во время которого муж, к нашему неудовольствию, разглагольствовал о преимуществах советского строя перед капиталистическим. Затем он отвез нас на пароход и получил свою посылку в таможне, куда ее передал Борис. Благодарности за посылку коммунист не выразил, наоборот, поносил приславшего ее брата как "несознательного" капиталиста — у того была небольшая фабрика консервов.

Самая неприятная часть путешествия оказалась между Брисбеном и Сиднеем. Дул серьезный, напористый ветер, подымая волну. Было холодно, пасмурно. Мы достали уложенные было пальто.

— Возвращается ветер на круги своя, — говорил Борис. — Шубы в Тяньцзине, пальто в Гонконге, летние платья в Рабуле, пальто в Брисбене, в Сиднее, вероятно, будут опять шубы.

В Брисбене подсел к нам старичок австралиец. Он был очень заботлив и мил. В редкие минуты, когда я выходила на палубу, усаживал меня в кресло в том месте, где по его мнению меньше качало, закрывал мне ноги своим пледом, был очень разговорчив, но понимала я его плохо. Это был опять какой-то новый "акающий" английский язык. Борису он обещал познакомить его с целым рядом влиятельных лиц, помочь ему добиться практики и т. д. Мы тогда еще не знали, как поверхностна была австралийская любезность, как далеки обещания от исполнения.

Чем ближе к Сиднею, тем беспокойнее становилось у меня на душе. Неизвестность подавляла, обескураживало плохое понимание языка. Сказывалась и усталость от длинного морского путешествия и качки.

Перед Сиднеем вызвали нас всех для проверки докумен-

тов. Демократического вида чиновники в потрепанных костюмах без тени официальной надменности задавали обычные вопросы. Тут же и пошучивали, и ободряли, и желали "good luck". Старичок вышел в подтяжках и подмигнул нам: тоже, мол, власть...

Я облегченно вздохнула, когда нас отпустили, но это было еще не все. В Сиднее, когда большинство пассажиров вышло, вместе с прочими и наш старичок, Бориса опять вызвали, на этот раз для более подробных разговоров. Дело касалось его политических убеждений. Были получены сведения, что он в Брисбене видался с коммунистом. Почему? Не привез ли он ему каких-нибудь известий из Китая? Плохое знание языка мешало Борису убедить чиновников достаточно красноречиво в своей непричастности к коммунизму. Все же часа через два нас отпустили. В это время я страшно волновалась, что дама, которая по просьбе ее брата из Тяньцзина, должна была нас встретить, не дождется и уйдет, и мы останемся одни, беспомощные, в этом чужом, казавшемся неприветливым городе.

Велико было мое облегчение, когда по выходе с пристани к нам подошли две русские женщины. Одна из них предлагала нам комнаты у себя...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Приехав в Австралию в 1939 году, еще до начала второй мировой войны, мой отец получил право работать физиотерапевтом, моя семнадцатилетняя сестра, у которой были "золотые руки" устроилась на фабрику женского белья вышивальщицей, а мать занималась домашним хозяйством. Через некоторое время заработки отца настолько увеличились, что сестра оставила работу на фабрике и поступила в Сиднейский университет, семья переехала из меблированных комнат в дом. Однако, несмотря на то, что работа физиотерапевтом вполне обеспечивала материальное благополучие семьи, отец решил поступить на медицинский факультет, чтобы добиться права работать по своей специальности. Для человека в 63 года это было героическое решение, особенно потому, что английский язык отец знал плохо и ему было трудно слушать лекции на "австралийском" английском. Для экзаменов же ему приходилось заучивать почти наизусть тексты учебников! По вечерам он продолжал принимать пациентов. Так продолжалось 4 года, но перед самыми выпускными экзаменами здоровье отца сдало и получение диплома пришлось отложить на несколько лет.

На семейном совете было решено переехать из Сиднея в "деревню", где отец смог бы восстановить свое здоровье. При помощи новых австралийских друзей они нашли совершенно необыкновенное имение в двух часах езды от Сиднея. Оно было расположено на холмистом берегу океана в маленьком городке Тируль, где когда-то находились каменноугольные копи. Дом был построен для управляющего этих копей трудом немецких военнопленных во время первой мировой войны, и поэтому все в нем было сделано прочно и добротно. С огромной террасы открывался прекрасный вид на океанское побережье, рядом была расположена теннисная площадка, а два акра земли, приобретенные вместе с домом, были не просто участком земли, а искусно разбитым садом, с причудливыми японскими мостиками, беседками, мощеными дорожками, великолепным разнообразием цветников. Имение находилось в полном запустении, и его уже несколько лет безуспешно пытались продать, ибо время было военное и ни один благоразумный австралиец не хотел брать на

себя такую обузу, прекрасно понимая, какой нечеловеческий труд потребуется, чтобы привести дом и сад в надлежащий вид. Мои родители купили это имение не задумываясь!

Хотя их окружала совсем чужая природа: эвкалипты, тропические цветы и растения, а по утрам их будили гортанными криками странные птицы, — все же это переносило их в родную стихию потерянного русского прошлого — свой дом, своя земля, свое место под солнцем...

На ремонт дома очень быстро ушли все накопленные деньги, моей сестре пришлось бросить занятия в университете, но отец, со свойственной ему изобретательностью, решил открыть в имении Дом отдыха для выздоравливающих больных, которым он мог бы обеспечить медицинский надзор, или просто для горожан, желавших пожить в деревне. Мать превратилась в повариху, сестра — в горничную, и очень скоро от клиентов не было отбою! Способствовало их успеху еще и то, что для развлечения гостей мать сочиняла капустники или короткие пьески, которые тут же исполнялись самими гостями, а моя сестра устраивала танцы. Она была очень красива, одно время даже мечтала о карьере танцовщицы и за ней всегда тянулся хвост поклонников и воздыхателей.

Конечно, все это дело требовало огромных физических усилий и непрерывного труда, так что когда отец почувствовал, что он готов вернуться к занятиям и сдать свои последние экзамены, родители закрыли Дом отдыха. Мой отец сдал экзамены, в 75 лет стал наконец членом австралийского Королевского медицинского общества и посвятил себя всецело врачебной деятельности, добившись к концу жизни и материального благополучия, и известности благодаря своим новым методам лечения астмы. Моя сестра вышла замуж за русского эмигранта, сына известного в Харбине юриста Миленко, но продолжала жить с родителями в Тируле. Ее сына воспитывала моя мать, он вырос на русских сказках о Бабе Яге, засыпал под казачьи колыбельные песни... Он, конечно, совершенный австралиец, увлекается крикетом и футболом, но он говорит по-русски и дочь свою назвал Лара-Наташа!

Моя сестра всегда была верным другом и помощницей матери, особенно в последние годы, когда здоровье не позволяло ей больше заниматься общественной деятельностью. Сестра легко вошла в австралийскую жизнь, завела себе друзей и открыла собственное дело, которое через некоторое время поставило ее на ноги. Теперь она живет в своем огром-

ном доме, где тоже с веранды виден океан, а в саду разбиты радующие ее сердце цветники...

Для матери с закрытием Дома отдыха наступил наконец долгожданный "отдых на снопах тяжелых". Она стала активным членом международного Женского клуба, где никогда не забывала напомнить своим австралийским друзьям о великих деятелях русской культуры. У нее был круг приятельниц, с которыми она ездила на лекции и концерты и которых приглашала к себе на чай. Наконец появился досуг для чтения — моя мать следила за всеми новинками и эмигрантской, и советской, и европейской литературы. Она опять начала писать: перевела на английский язык свой роман, который, к сожалению, не был принят к печати австралийскими издательствами, возможно потому, что не соответствовал "духу времени" — СССР был "союзником", а книга матери была явно антисоветской.

В 1961 году, за год до своей смерти, мать написала эту автобиографию. Совершенно необъяснимым образом рукопись была потеряна и только в 1986 году случайно найдена мной среди бумаг отца, пересланных мне после его смерти из Австралии. Я благодарю Бога за данную мне возможность напечатать эту книгу, ибо лучшего наследства мать не могла бы нам оставить.

Елена Якобсон



1. В Алапаевске. Зина стоит в центре



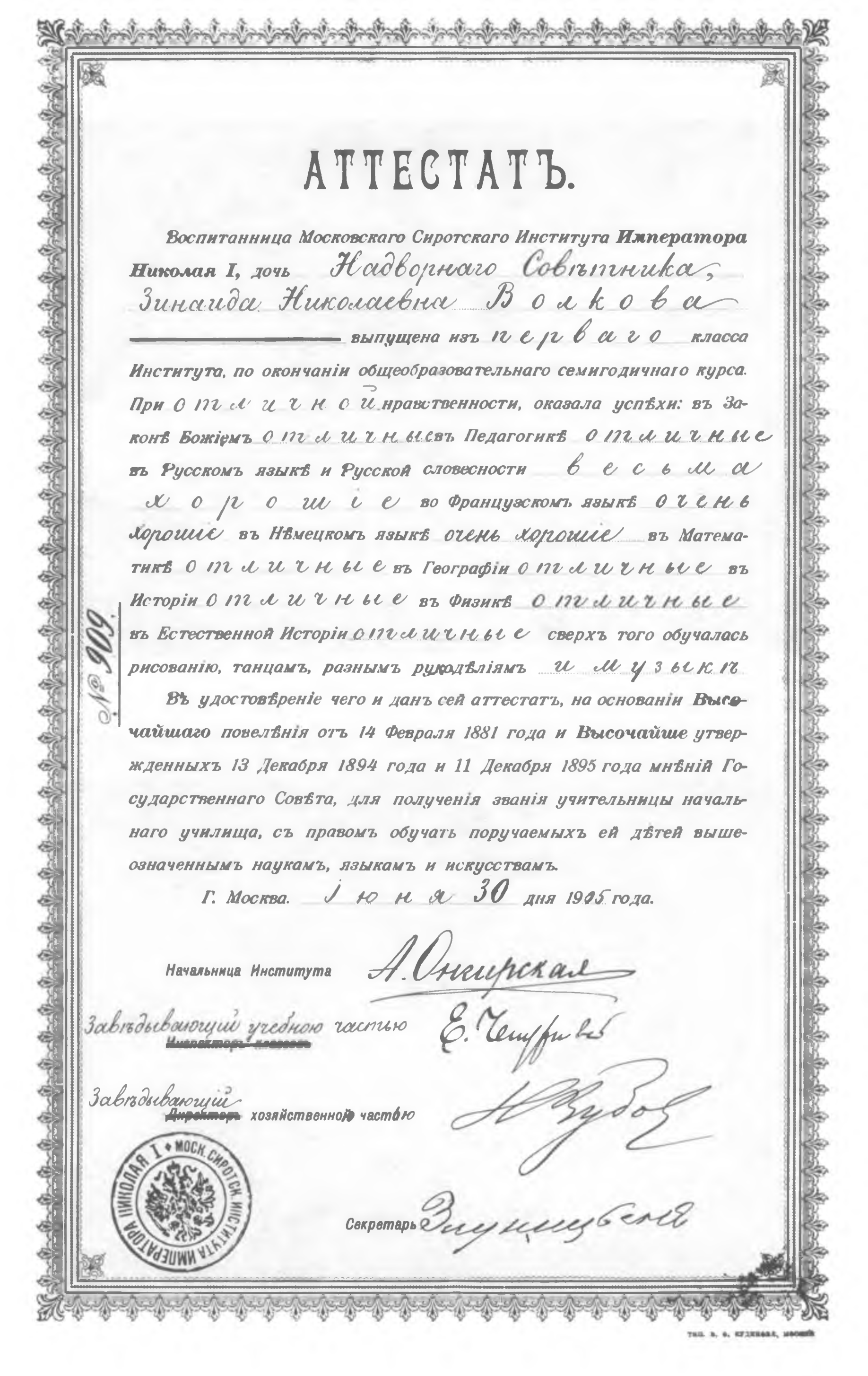
2. Институтка

3. Под "эскортом" Колиных сестер

4. Пикник под Воронежем, 1900 г. Крайняя слева – Зина



5. Зина с Женей Вольф в Любомире



АТТЕСТАТЪ.

Воспитанница Московскаго Сиротскаго Института **Императора Николая I**, дочь *Надворнаго Совѣтника,* *Зинаида Николаевна Волкова* ______ выпущена изъ *перваго* класса Института, по окончаніи общеобразовательнаго семигодичнаго курса. При *отличной* нравственности, оказала успѣхи: въ Законѣ Божіемъ *отличные* въ Педагогикѣ *отличные* въ Русскомъ языкѣ и Русской словесности *весьма хорошіе* во Французскомъ языкѣ *очень хорошіе* въ Нѣмецкомъ языкѣ *очень хорошіе* въ Математикѣ *отличные* въ Географіи *отличные* въ Исторіи *отличные* въ Физикѣ *отличные* въ Естественной Исторіи *отличные* сверхъ того обучалась рисованію, танцамъ, разнымъ рукодѣліямъ *и музыки*

№ 909.

Въ удостовѣреніе чего и данъ сей аттестатъ, на основаніи **Высочайшаго** повелѣнія отъ 14 Февраля 1881 года и **Высочайше** утвержденныхъ 13 Декабря 1894 года и 11 Декабря 1895 года мнѣній Государственнаго Совѣта, для полученія званія учительницы начальнаго училища, съ правомъ обучать поручаемыхъ ей дѣтей вышеозначенным наукамъ, языкамъ и искусствамъ.

Г. Москва. *Іюня 30* дня 19*05* года.

Начальница Института *[illegible]*

Завѣдывающій учебною частью ~~Инспекторъ классовъ~~ *[illegible]*

Завѣдывающій ~~Директоръ~~ хозяйственною частью *[illegible]*

МОСК. СИРОТСК. ИНСТИТУТА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I

Секретарь *[illegible]*

6. Аттестат, полученный Зиной по окончании Николаевского института.



7. Курсистка



8. Молодожены Ася и Виктор. Китай, 1913 г.



9. Няня ''из черничек'' с маленькой Леной на руках

10. С коллегами-учителями в гимназии станицы Кореновской. 1916 г.



11. З. Жемчужная с дочкой Леной в Кореновской. Канун революции



12. Семья Жемчужных перед отъездом из России



13. Паспортная фотография З. Жемчужной



14. Последний снимок в России. Сидят (слева направо): Зинаида с младшей дочкой Таней (Ниной), Ася и "Лапушка". Стоят (слева направо): Борис (Александр) Жемчужный, двое сыновей Аси, приятель Бориса, Лена и Асин муж Виктор



15. Русская часть Харбина со Свято-Николаевским собором. 1930-е



16. Китайская часть Харбина. 1930-е годы



17. Катание на "Толкай-толкай" по замерзшей Сунгари. (Фото из коллекции Н. С. Мошаровой)



18. Харбин, 1930-е годы



19. Празднование Нового Года

20. Китайский "ресторан" в Харбине



21. Обед уличного торговца



22. Нищенка-китаянка

23. На китайском базаре



24. Уличная сценка



25. Музыкант



26. Дом-мечта, выстроенный по американскому проекту
в пригороде Харбина



27. В монастырском саду. Китай, 1936 г.



28. Монах-китаец



29. Веселый бог





30, 31. Воинственные стражи Будды



32. Будда в храме



33. Спящий Будда



34. Компания русских дачников отправляется на прогулку



35. На ступенях Храма лазоревых облаков






36–39. В Храме пятисот Будд



40. Свадьба Лены Жемчужной и Абрама Бейтса. Китай, 1937 г.

41. Лена перед отъездом в Америку



42. Жемчужные с младшей дочерью
перед отъездом в Австралию



43. З. Н. Жемчужная с Таней (Ниной) в Гайд-парке. Сидней, август 1940 г. На обороте надпись по-английски: "День назад я получила мою первую зарплату"



44. В австралийском имении "Массандра", под Сиднеем. Конец 1940-х



45. З. Жемчужная с Таней (Ниной) рассматривают семейный альбом. 1950-е годы



46. Семья Жемчужных в саду "Массандры". 1960 год

47. Осиротевшие Борис (Александр), Елена и Таня (Нина) Жемчужные смотрят на фотографию матери. 1962 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ





Счастливое детство на Урале, в семье заводского врача; студенческие годы в Москве; работа в школе в кубанской станице; страшные годы революции и гражданской войны, бесчинства красных, белых, зеленых; тягостная жизнь под большевиками, когда семье бывшего белого офицера любое неосторожное слово грозило гибелью; затем Харбин, служба на Китайской восточной железной дороге (КВЖД), наконец — твердое решение не возвращаться в Советскую Россию. И дальше — Тяньцзин, Сидней, Тируль. Путь, которым прошли тысячи русских изгнанников и беглецов, описан ЗИНАИДОЙ ЖЕМЧУЖНОЙ (1887—1961) с тем соединением простоты, правдивости и литературного мастерства, которое дается только человеку, выросшему в атмосфере высокой культуры, накопленной поколениями интеллигентов. Книгу покойной писательницы (в этом году исполняется 100 лет со дня ее рождения) подготовила к изданию ее дочь, профессор Университета Джорджа Вашингтона, Е. А. Якобсон.

$14.00

ISBN 0-938920-88-X